

1987

ПРИКЛЮЧЕНИЯ



ПРИКЛЮЧЕНИЯ

1987

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1987



МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1987

ББК 84Р7-4
П 75

Приключения, 1987 : Сборник / Сост. и пре-
П 75 дисл. С. Плеханова. — М. : Мол. гвардия, 1987. —
352 с., ил. — (Стрела).

1 р. 30 к. 100 000 экз.

Традиционный сборник остросюжетных произведений со-
ветских писателей.

П $\frac{4702010000-284}{078(02) - 87}$ 185 — 87

ББК 84Р7-4

© Издательство «Молодая гвардия», 1987 г.

Поиск правды, наказание порока, торжество справедливости — мы знаем, что фабула очередного приключенческого произведения, которое мы берем в руки, совпадет с этой схемой. Но эта уверенность ничуть не отравляет предвкушение встречи с любимым жанром.

Борьба между добром и злом — одна из вечных тем литературы. В приключенческих книгах их противостояние является основным фоном действия, и без учета этого обстоятельства вообще трудно понять огромную популярность остросюжетного повествования.

Впрочем, общие соображения не в состоянии объяснить популярность одних сочинений и неуспех других. Приключенческая литература живет по тем же законам, что и произведения иных жанров, те же художественные достоинства приносят ей признание читателей — словесное мастерство, точная лепка характеров, четкое сюжетное построение.

Но самое главное — чуткость писателя в отношении глубинных социальных процессов, его умение отозваться на те вопросы, которые занимают современников. В этом плане успех приключенческого произведения, детектива прямо зависит от его соответствия жизненной правде, от проникновения автора в суть общественных отношений.

Спектр приключенческого жанра весьма широк — это и военные приключения, и психологический детектив, и милицейская повесть, и историческое повествование. Именно эту особенность учел составитель традиционного молодогвардейского сборника «Приключения-87» — в нем представлены произведения известных мастеров, работающих в своеобразной творческой манере, имеющих собственный почерк.

Владимир Соколовский тяготеет к историческим сюжетам, к остродраматическим ситуациям. Новая повесть его «Мурашов» посвящена работе советской разведки в годы Великой Отечественной войны. Полная трагизма судьба главного героя этого произведения, собственной смертью доказывающего высоту вдохновляющей его

идеи, заставляет вспомнить лучшие страницы советской военной прозы.

Андрис Колбергс, широко известный автор психологических детективов, на этот раз предстает перед читателем в непривычном амплуа. Повесть «Обстоятельства, которые сильнее людей» можно определить как иронический детектив: мишенью писателя становятся такие негативные явления в работе правоохранительных органов, как формализм, стремление приукрасить действительное положение вещей.

Лирические новеллы Валерия Гусева, объединенные одним героем — сельским участковым, показывают будничную работу милиции во всех деталях, подчас забавных, подчас трагических. Образ, парисованный с мягким юмором, воплощает лучшие черты народного характера: совестливость, участливость, самоотверженность.

Михаил Черненко и Станислав Родионов — представители классического детектива, владеющие секретом занимательности, хорошо знающие право и процессуальную практику.

Детектив, посвященный расследованию преступления, — зеркало морально-правовых понятий эпохи, он с особой наглядностью отражает социальную природу общества.

Советская остросюжетная литература, как правило, показывает работу правоохранительного коллектива. Следовательно всегда предстает как полпред закона и государства, охраняющих общественную гармонию. А преступник — как явление аномальное, не отражающее сути наших социальных отношений.

Преступник и следователь, вступающие в поединок, представляют два мировоззрения, две жизненные философии. Отсюда важная черта современного приключенческого жанра: положительные герои размышляют, ищут моральную подоплеку преступления. Случается и так: следователь умозрительно «вычисляет» преступника подобно тому, как астроном путем математических выкладок определяет положение невидимой планеты. Образ человека, которого ищет герой-детектив психологического романа, «программируется» во всей сложности, непредсказуемости, алогичности.

Зло многолико, но «идейная» база его однозначна — в этом неизбежность его поражения. Когда жизнь убеждает людей во всеисильности добра, общественная атмосфера очищается от тяжелого чада лжи. Когда книга утверждает в нашем сознании идею неотвратимости правосудия, она тоже работает на Добро.

Сергей Плеханов

МУРАШОВ

ПОВЕСТЬ

1

До войны здесь стоял огромный щит с рекламой бегов. По зеленому, вытоптанному в круге полю неслись кони. Крайний — гнедой, он прямо вырывался со щита: мощная, широкая грудь, изогнутая в напряжении шея, оскаленная морда... Здорово! Видно, художник любил лошадей.

Когда шли бои, неподалеку упал снаряд, щит повалился на землю и сильно обгорел. А стоял он у самой городской границы и будто отгораживал крайние строения от сколоченных на скорую руку хижин, землянок, что грудились за окраиной. Теперь от них остались только ямы, в одной из таких ям и ютился Мурашов. Немцы дважды выжигали дощатые лачуги и землянки, якобы из санитарных соображений; выжигались попутно и жившие тут люди: цыганские семьи, раненые, другие отставшие в отступлении красноармейцы, бродяги и темный люд из неуспевшей эвакуироваться тюрьмы. Особенно много погибло в первый раз. Обезумевшие, залитые огнем, люди рвались к огнеметным командам, и солдаты — те, кто пожалостливее, — достреливали их. Во второй раз сгорело уже меньше.

Все это рассказал Мурашову старый цыган — теперь в обгоревших ямах жил только он со своей оплывшей, горбатой от горя женой да пятилетним внучком. И сам Мурашов — капитан из армейского разведотдела. Но он-то обитал здесь считанные дни, и ничто не связывало его с этой выжженной землей, а у старика погиб тут весь табор — на его глазах. С женой и внуком он ушел тогда утром в город, и, вернувшись, они увидели с небольшого пригорка оцепление и огнеметы... Когда цыган рассказывал это, его потерянное в бороде

лицо словно совсем исчезало — только источались слезы из-под зажмуренных век. «Надо идти в степь!» — говорил Мурашов. «Нет, нет, — качал головой старик и прижимал к себе курчавого внука. — Михай остался последним в моем роду, я не могу умереть с ним в степи. Миха, Миха, чавэлэ...» Капитан удивился: что случилось со старым бродягой — он стал бояться открытой земли? В степи и правда было опасно — где там, на продуваемой со всех сторон равнине, спрятаться от неутомимо шныряющих жандармов и патрулей? Над Бессарабией навис фронт, власти ожесточены и напуганы до предела, ловят и стреляют, наивно рассчитывая тем самым оттянуть неизбежное... Мурашов сам еле ушел от патрулей, пытаясь пробраться к фронту.

Цыган со старухой вырыли землянку, обложили свод ее обгорелым, натащенным с руин кирпичом, наносили дерн на крышу; однако в войну любое, даже и самое крепкое жилье не бывает надежно, а уж земляночка-то эта — совсем чепуха, не более чем вид... Дед словно не понимал этого, все укреплял и укреплял ее. Когда появился Мурашов, старик стал приходить вечерами к его яме, делился жмыхами, которые воровал для семьи на румынской конюшне. Солдаты-румыны наверняка догадывались об этом, однако не гнали старика, не жаловались на него офицерам: за то, что он знал лошадей, помогал кузнецу, за кусок того же жмыха или мамалыги мыл животных, чистил конюшню, чинил упряжь и бегал к лавочнику по поручениям. По сути, он и кормил весь свой почти разрушенный род. «Миха, Миха, чавэлэ...» Старуха уползала с утра гадать и просить милостыню — это тоже было весьма опасно, могли в любую минуту задержать и утащить в префектуру, оттуда дорога вела в приземистый каменный дом — местную тюрьму, а дальше — лишь к Ямам, пустому и мрачному месту километрах в двух от города. Там раньше добывали глину и делали кирпичи, а теперь — расстреливали людей, ненужных фашистской власти или, по ее мнению, не имеющих права на существование. Так что у цыганки не было бы в этом случае ни единого шанса выжить. Подавали ей мало, приносила она сущую чепуху, однако каждый день, словно на работу, бабка ходила и ходила на люди — сказывалась, видно, и многолетняя привычка, и натура, и потребность хоть как-то подпитать сознание иллюзией старой, довоенной жизни. Пока деда с бабкой не было, мальчишка их оставался в раз-

валинах один. Из города к нему наведывались иногда сверстники, модавские ребятишки — тогда они играли вместе, бегали по выжженным пригоркам. Но приходили отцы и матери, отыскивали ребят, били их, цыганенка, тащили детей домой, подальше от страшного места. Мальчик опять оставался один, плакал где-нибудь в ямке или тихо играл с тряпкой, деревяшкой, воображая их игрушками.

Это — некая жизнь, протекавшая в те дни перед глазами капитана Мурашова. Такая тихая, полуреальная, под знаком смерти. Нет фронта, нет плена. А гибель все равно ходит по пятам за человеком. Однажды солдат застрелит деда за украденный жмых. Уведут бабу в приземистый дом. Мальчишку... Конечно, огнеметных команд теперь в городе не было, они давно ушли со своими частями, но во всякий момент могло прийти кому-нибудь в голову устроить здесь обыкновенную облаву. Сам Мурашов вырыл на этот случай надежную небольшую нору с тщательно обработанным входом, чтобы укрываться там при появлении жандармов, других охранных отрядов, просто чужих людей. И дни свои проводил либо в норе, либо рядом с нею, не отдаляясь больше чем на пять-шесть метров. Он и цыганенка пытался приучить сидеть тихо рядом, пока не понял: это бесполезное дело. Тот и пяти минут не мог провести в одной позе: гримасничал, дергался, лопотал, вдруг вскакивал и убегал. Присутствие чужого взрослого будоражило его. И вот появившись здесь вооруженные люди, оцепи они этот изрытый, испепеленный пустырь — мальчику не уйти от них. Заметят, вытащат откуда угодно. Солдаты — те могут просто пристрелить мимоходом, и это будет для мальчика еще не худший вариант. Местные стражники уволочут с собой для допроса. А потом все равно сдадут в тюрьму, в жестко фильтрующие руки уполномоченных гестапо. Те уж позаботятся, чтобы цыганенок не остался в живых. Причем каждый стражник в отдельности может не испытывать к Михаю, маленькому чавэлэ, последней надежде древнего рода, никакой неприязни. И, встретив где-нибудь, не обратить внимания, может быть, даже сунуть кусок сухаря или кукурузный початок. Блюстители порядка были здесь в большинстве своем ленивые, брюзгливые, с толстыми щеками, любили поговорить о лошадях, о нравах, навести страху на рынке. Однако одно дело, когда человек несет службу в одиночку и действует по своему

усмотрению. Стоит же нескольким таким служителям соединиться вместе для выполнения какого-то приказа, задания, и характер каждого из них в отдельности как бы перестает существовать, он уже не имеет значения. Есть только Идея, которой они служат, в данном случае — Порядок. И люди, объединившиеся для лихих целей, не знают уже ни добра, ни милости. Задержавший цыганенка стражник, как бы ни любил он детишек, уже не отпустит его: он на виду у других полицейских, и Порядок висит над всеми, безжалостный. Нарушившему его открыто — своему, чужому ли — надлежит принять мучительную гибель в его медленных челюстях.

Об этом, да и еще о многом другом думал капитан Павел Мурашов, лежа в яме среди развалин и поглядывая кругом. Дерганный, привыкший на фронте быстро работать мозг гнал и гнал новые ситуации, варианты поведения...

Допросив цыганенка и вызвав от него о неясном человеке, живущем в развалинах, жандармы соберутся снова и поплетутся обратно, на новую облаву. Возьмут Михая, он покажет им нору. В промежутке между их уходом и возвращением Мурашову надо будет уйти. Куда? Этому городку он чужой, совсем чужой, там его никто не ждет и не примет. На улицах, в людных местах торчать неизвестному в городе человеку тоже нельзя — засекут и доложат куда следует. Ладно, допустим, он найдет укромное безопасное место где-нибудь в заброшенном подвале. Хотя... Откуда может взяться заброшенный подвал? Молдаване, здешний народ, дорожат землей, она у них впустую не пропадает.

Значит — только в степь. А там — да куда бы он ни ушел — шанс ускользнуть от наводнивших степь патрулей ничтожно мал. Кроме них, есть и сельские стражники, или те же крестьяне — тоже ведь попадают разные...

2

Ни одна из явок, полученных им в разведотделе, не была уже рабочей, действующей. Он оказался один — на чужой земле, среди чужих людей. Когда Мурашов уходил с последнего адреса, от дома учительницы Аурики Гуцу, провожаемый мрачным взглядом ее сожителя, он уже еле помнил себя. Тесный каленый обруч стянул голову, в глаза словно сыпанули песку. И люди

удивленно глядели ему вслед — приземистому, машущему в такт шагу руками, быстро идущему мимо дядьке. В бараньей шапке, свитке, рубашке не первой свежести, на ногах — пыльные постолы, сам чернявый, с круто вьющимся волосом, — он ничем внешне не отличался от них, но больно уж дик был его вид. Ну и мало ли что могло случиться с человеком! Может быть, его обокрали, или вручили негодный товар, или заболела лошадь...

Приказ был поставлен четко, конкретно, боевая задача для группы капитана Мурашова — сбор и передача данных о местности, характеристика населенных пунктов в полосе наступления армии, их оборонное значение, гарнизоны, вооружение — уяснена, отработана на нужных уровнях. И вот так получилось... Начальник разведотдела подполковник Лялин на последнем инструктаже задал Мурашову и радисту Грише Кочневу обычный вопрос: «Ну, что мы еще не обговорили? Если остались напоследок какие-то неясности — прошу!» Гриша пожал плечами, глянул на капитана: спрашивайте, мол, у старшего, я величина маленькая. «Ну что, комбат, я слушаю тебя». Мурашов повел головой, словно выворачивая шею из гимнастерки, поднялся. «О чем еще говорить, товарищ подполковник? Приказ отдан, и его надо выполнять, так я понимаю». — «Ну, комбат...» — каким-то неопределенным голосом произнес начальник разведотдела. Комбат так комбат. Для Мурашова, вчерашнего фронтового командира батальона, ничего обидного в этом слове не было. Хотя он и понял, что хотел сказать Лялин: «Да, браток, не получается из тебя разведчика, каким ты был окопником, таким и остался». — «Что ж, ребята... — подполковник приблизился, пожал обоим руки, обнял. — Паша, Гриша, давайте. Если даже и остались какие-то претензии, что теперь говорить о них? Только учти, Паша, — там все может оказаться очень непросто. Явки ведь старые, еще довоенные. А других людей, которых можно было бы использовать для разведки на этом направлении, у нас нет. Может, и были, да расхватали, пока нашу армию сюда перебрасывали. Штаб трясет данные, а нам и сказать нечего. Так что надежды на вас большие, действуйте. На первый взгляд, вприкидку, городок, который мы определили как базовый для резидентуры, — тихий, достаточно захолустный, без сколько-нибудь мощного и постоянного воинского контингента. Следовательно, по

идее, гестапо и контрразведка тоже должны там работать вполсилы. Но тут-то и может быть опасность. Тут-то и опасность...»

«В чем, товарищ подполковник?» — спросил Гриша. «Вот даже затрудняюсь сказать. На меня, как на разведчика, эти городки всегда непростое впечатление производят. В большом городе легче. Там везде, ко всему можно примениться, почувствовать себя своим, потеряться. А тут... все вроде как на ладони, и все не твое. И каждый может так за штаны ухватить, что не только без них, а и без шкуры останешься. Так что ушки держите на макушке. Ну, и если что — по обстановке смотрите, действуйте, тут рецепта на любой случай быть не может. Если уж подопрет и почувствуете, что до фронта не дотопать, пытайтесь выходить на линию Ниспорены — Бобейка — Котовск — Молешты — Чимишлия, этот район мы контролируем, ищите партизан, может, повезет... Но я на вас надеюсь, повторяю!..» Он толкнул дверь, выходя из одиноко стоящей в роще мазанки, где жили разведчики. Следом вышел майор Перетятько, отвечавший за операцию. Скоро майор вернулся, потер бритый затылок, хохотнул: «Братцы, братцы... Была мне теперь от Лялина добра бучечка... А я шо могу сделать? У меня больше нет никого. Да и Павлик с Гришей нас не подведут, все сделают так, как положено...» — «Что значит — не подведут? — бледнея, спросил Мурашов. — Ты не уверен в нас, так надо понимать? И подполковник тоже? Тогда уж лучше не посылайте. Ну, Гавря, товарищ майор, не ожидал я от тебя...»

Гриша тоже насупился, заморгал, отвернулся. «Да что-о вы! — закричал Перетятько, всплескивая руками. — Ведь совсем не в том, не в том смысле, перестаньте! О Грише вообще разговору нет, он и радист, и разведчик проверенный. А в твоей, Паша, личной храбрости и командирском умении только дурак усомнится. Разве ж о том разговор? Лялин видишь что толкует: дескать, вообще Мурашов никакой не тыловой разведчик, не был им и никогда не будет. Нет гибкости, приспособляемости, того, сего... А я его убеждаю: ни в чем сейчас нельзя быть уверенным. Может быть, у него как раз все пойдет отлично. Иной ведь дурак дураком смотрится (Мурашов усмехнулся: «Ну, спасибо, товарищ майор»), а в деле показывает себя лучшим образом. Лялин послушал, послушал меня, потом и говорит: «Может быть,

и твоя, Перетятко, правда», — сел в машину и уехал. Что ты, разве в твоей храбрости кто-то сомнение поимел? Вернешься — мы тебя на курсы пошлем, вообще классного разведчика из тебя сделаем, Паша!» — «Ну, это уж положим. Все равно уйду обратно, на батальон. Да хоть на роту, только на передок». — «Так мы тебя и отпустили... ха-ха... Ладно, дело сделано, что теперь толковать, давайте закусим немного...»

3

Эх, майор Гавря, майор Гавря! Где-то ты теперь! Вот уж, наверно, пилит начальство твою толстую шею. Вышла тебе судьба пострадать безвинно. А впрочем, что спрашивать с тебя строго? — кандидатурой Мурашова занимался и утверждал ее штаб армии, Перетятко подключился позже и ничего уже не мог изменить, если бы даже очень захотел.

Но все это осталось там — далекое, недоступное, почти забытое... Здесь же — кротовье существование, выжженная земля на магале — окраине захолустного молдавского городишки. Пропал Гриша, исчез неизвестно куда. Не действует ни одна из явок. Конечно, сказались три года оккупации. Война, неволя...

Красивая была здесь земля! Тот год, что Мурашов провел в Бессарабии после училища, так и остался самым счастливым из всех, что прошли между рождением и сегодняшним бытием. Все тогда было у него: и жена, и служба, которая нравилась. Теперь, при воспоминании о том времени, казалось: и хатки были наряднее, и пышнее деревья, и небо голубее, и село, где стоял их гарнизон, выглядело чище, красивее этого городка. Наверно, просто другими глазами смотрел на все. И думал, что так все и должно быть, и будет всегда. Но странно: на что-то тогда обращал внимание, а что-то так и проходило мимо глаз, сердца, ума. Гриша, когда вместе готовились к выброске, как-то спросил:

— Товарищ капитан, а молдаванки красивые?

Мурашов наклонил к плечу голову, подумал и ответил:

— Не помню, знаешь... А что тебе за интерес до того?

— Да так, стихи одни вспомнил. Там про бессарабские степи, и дальше —

«Твоя, твоя!» — мне пела Мариула
Перед костром
В покинутых шатрах...

— Хм, Мариула! Мария — это есть, да. Еще Мариуца, помню... И откуда ты взял, что она молдаванка? Перед костром, в шатрах... Молдаване в шатрах не живут, они народ оседлый, обстоятельный. Цыганка скорей, их там много. Только почему шатры покинутые, вот вопрос. Кто их покинул, почему? Шатер — это, брат Гриша, богатство. Шатры, кто-то их покинул, цыганка туда забралась с другом, поет: «Твоя, твоя!..» Забываешь ты себе голову разной чушью.

— Так красивые все-таки или нет? — не унимался Гриша.

Мурашов разозлился:

— Сказал — не помню! Женатый я тогда уже был, понимаешь? Не заглядывался на других баб, не имел такой привычки. Жену любил. И давай кончим об этом. Перед делом надо о деле думать, а не об разной лирике.

Они склонились над картой; однако спустя некоторое время капитан поднял голову, хмыкнул:

— А ты знаешь, встречаются которые и ничего... Тощенькие, гибкие, такие голосистые, проворные... Голоса сильные. Конечно, там песне есть где разгуляться. В общем, не соскучишься, молодой!

Сидели, сидели, что-то кумекали. А вот теперь Мурашов остался один. Задание не выполнено, Гриши нет, идти домой — как уйдешь? Ну даже если страшно повезет, проскочишь степь — а дальше? Линия фронта на той же открытой местности, вдобавок многозшелонная, с тылами. Ее никак не минуешь. С рацией еще можно было бы договориться о лазейке, чтобы на каком-то участке задействовали артиллерию, пулеметы, прикрыли, и главное — обеспечили прием. А то логическим завершением всех тягот тылового разведчика может стать пуля со своей стороны.

Идти, по совету Лялина, к линии Котовск — Ниспорены? Тоже неблизко, тоже опасно. Мало ли какие люди ходят сейчас по дорогам и без дорог, ищут партизан? И если бы их легко можно было найти, давно бы не было самих этих отрядов...

Короче, шансов пройти к своим почти нет. Почти. Все-таки один процент удачи или десятые, сотые его доли всегда искрят в голове, даже самой рассудительной: и не удивительно, ведь человек верит, иначе ему

невозможно! Иной раз появляется даже уверенность — вот он встанет сейчас и пойдет, и пройдет все, и уцелеет, останется живым. Есть сила, зоркие глаза, гибкое тело, привыкшая к лишениям душа, жесткий военный характер. Надо, надо идти! Не лежать же здесь всю оставшуюся войну. Да хоть до прихода своих — и то стыдно ждать, сложа руки. Ведь ты не в плену, не нуждаешься в освобождении.

С другой стороны — ну, двинешься обратно. С чем? Ради чего рисковать погибнуть от пули полупьяного жандарма? Сколько людей приложило силы, чтобы он оказался здесь! Хотя, конечно, никакой трибунал ему не грозит, сделано все, что от него зависело, а то, что они с Гришей не могли встретиться после выброски, не может быть поставлено в вину: ночь была, как чернила.

4

Когда Мурашов понял, что остался один, без связей и без радиста, он попытался уйти к фронту. Все понятно: обстановки в степи он не мог знать, вдобавок поначалу, подогретый страхом и растерянностью, в такой ситуации сильнее всего оказывается в человеке инстинкт. Тем страшным днем капитана вынесло к выходу из городка, на окраину его, — впрочем, не к выжженным руинам, ставшим впоследствии его пристанищем, а к дороге, ведущей в Ямы, место расстрелов и погребений. Мурашов не знал, что творится иногда на исходе ночи в глиняных горах и оврагах. За последним огородом он повалился в жесткую траву, снял свитку, закрыл ею голову и сразу уснул. Сказались и бессонная ночь и пережитое потрясение, и потребность отдыха перед дорогой.

Проснулся он в быстро свалившейся на землю южной темноте. Ночь была в отличие от предыдущей лунная. Свет мертво обливал бывшие глиняные разработки, смотрелись они как дикие, нелепые развалины больших нечеловеческих построек. За ними катилась к горизонту и во все стороны отсвечивающая степь. И ни шума, ни ветерка. Будто умер, погиб весь мир, оставив после себя только степь и Ямы.

«Однако, надо идти!»

Обогнув потревоженную некогда, изрытую людьми землю, Мурашов вышел на открытое пространство. Прошагав совсем немного, вдруг увидал замерцавший

вдали огонек. Он становился ярче, потом донесся треск мотора, и Мурашов понял: прямо на него откуда-то издалека едет мотоцикл. Пригнувшись, он бросился бежать в степь. Тогда рядом с фарой замигал еще один яркий огонек, отчетливое «ду-ду-ду» перебило звук мотора: стреляли из тяжелого мотоциклетного пулемета. Мурашов ничком упал на землю и, словно ящерица, быстро пополз перпендикулярно движению машины, стараясь держаться дальше от травяных кустов, вообще от видных, выступающих на поверхности укрытий. Наполз на маленькое углубление в земле, вжался в него. Мотоцикл встал метрах в сорока сбоку, пулемет дал очередь. «Ду-ду-ду!» — сердито грохотало оружие. Пули скакали от почвы вверх и золотыми шмелями неслись дальше — там терялись, падали под силой тяготения и, видно, шипели в увлажненной росой траве, отдыхая после злобного, опасного своего полета. Затихали навечно.

Мотоцикл взревел снова, заездил кругами. Затем пулеметчик спрыгнул с машины, побежал по траве, осматривая ее. Один раз прошел метрах в семи от Мурашова. Тот еле поборол желание выстрелить в него из пистолета.

— Ну что там, Ион? — донеслось от машины.

— Я никого не вижу, домнуле* унтер-офицер. Как та мышь. Была — и нету.

— Может быть, мы его проехали?

— Затрудняюсь сказать. Открытое место скрадывает расстояние ночью, можно ошибиться и в сто, и в двести метров.

— Ладно, садись. Поедем дальше и посмотрим еще.

— Может, он где-то здесь и слушает нас?

— Тогда ты нашел бы его по запаху. Он сейчас воюющий со страху. — Водитель захохотал, и пулеметчик посмеялся ему вслед. — Все-таки никак не выводятся эти бродяги. А ведь ты мог его и уложить насмерть, Ион? Тогда он мертвый.

— Нет, я знаю, когда попадаю.

— А, черт с ним! Пусть бредет в город и молится своему богу. Или идет в степь. Далеко ему все равно не уйти.

Пулеметчик подбежал к мотоциклу, бухнулся в коляску. Машина взвыла, трогаясь, и умчалась вдаль.

* Господин (рум.).

Мурашов после того, как они уехали, полчаса еще лежал на месте, опоминаясь и обдумывая положение. Вот так! Не пройдешь, не проедешь. Предыдущая ночь, когда их выбрасывали, была темная, легкий Як-6 протарахтел маленькими моторами далеко на запад, огибая место прыжка, а затем нешумно скользил с большой высоты, чтобы не засечь себя и не дать врагу повода для тревоги. После прыжка им предстояло встретиться, закопать парашюты, надежно спрятать снаряжение, рацию и идти на места явок. Имелся и вариант: если попадется надежное укрытие, Гриша остается там и ждет Мурашова, тот отправляется в город один. Приходилось быть осторожным: радист не знал по-молдавски.

Сам капитан приземлился удачно, на утоптанном пыльном плато, видно, овечьем выгоне, покружил по нему, вглядываясь, вслушиваясь в темноту, даже крикнул несколько раз и помигал фонариком. Гриша не откликался, не подходил, не давал знака. Тогда Мурашов двинулся в путь один. Он пересек выгон в южном направлении, на конце его закопал саперной лопаткой парашют, прошел по меже большое кукурузное поле — и к началу рассвета был уже на окраине городка. На счастье, ему удалось избежать патрулей. Только мысли об исчезнувшем радисте не давали покоя.

5

Мурашов, командир стрелкового батальона, кадровый офицер довоенной выпечки, попал в армейскую разведку случайно, без всяких собственных на то намерений. Армия, в которой он находился, воевала на Ленинградском фронте, в местности лесистой, холмистой, болотистой, изборозженной речками, довольно густо населенной. После прорыва блокады ее отвели в тыл, пополнили, доукомплектовали, отвезли эшелонами на новое направление, определили задачу. И первый вопрос, который встал перед командованием, — отсутствие данных о местности, лежащей в полосе вероятного наступления. Только аэросъемка. Однако она не дает точных данных даже о рельефе, не говоря уж о дислокации, численности, вооружении противника. За то недолгое время, когда Бессарабия находилась в составе Советского Союза, проверить огромную работу по топографической съемке местности оказалось, разумеется, не-

возможно. Старые карты были больших масштабов, очень приблизительные. В Красную Армию бессарабцев не брали — страна долго находилась под пятой королевской Румынии, среди мобилизованных могли оказаться всякие люди. Конечно, искали людей из подлежащих освобождению районов, однако если и находили — что они могли сказать? Попробуй угадай, что теперь происходит в местах, давно тобой покинутых. Основные источники сведений — партизанские отряды — базировались главным образом в кедровых, лесистых местах.

В сложившейся обстановке разведотделы армий, управления фронтов делали что могли: формировали группы, готовили отдельных агентов, засылали их самолетом, проводили через войска. Кто-то уходил и пропал вообще, иные перед гибелью или перед тем, как быть схваченными, успевали передать одну-две-три шифровки, кто-то, сломившись, вступал в хитрую и сложную радиоигру по разработкам опытейших мастеров абвера, кому-то Удавалось оседать прочно, давать точную, конкретную, по-настоящему нужную информацию... И все-таки обстановку нельзя было назвать обычной — поиск разведданных, нащупывание противника шли необыкновенно тяжело, с буксовкой и потерями. Хоть по первичным данным и не казалась эта местность особенно сложной в стратегическом и географическом отношениях. Была линия фронта — как обычно, многоэшелонная, отлично укрепленная, — однако брали и не такие. Среди войск много румын, самих бессарабцев. В степи то хутора, то села в виноградниках, густые кусты по берегам речушек. Преврати любое из этих сел в мощнейший очаг обороны — все равно для наступающей, катящейся в едином порыве на запад армии он не станет серьезным препятствием: потерзает, потерзает она его, обтечет — и дальше, а остальное додолбят штурмовики и бомбардировщики; завершит же все маршевый батальон из резерва, с приданной батареей небольших пушчонок.

И все равно перед наступлением врага надо прощупать, знать, кто и что стоит перед тобой, где придется идти. Потому что огромную страну надо еще пройти, пройти с боями. Пройти быстрее, с наименьшими потерями, с наибольшим успехом, ибо от этого зависит и жизнь людей, и судьба самой армии, судьба ее корпусов, дивизий, полков, множества поддерживающих и

обеспечивающих частей. Огромный, отлаженный механизм, чудовищные массы народа приходят в движение — и идут, сметая все, или гибнут, рассеиваются в страхе и панике. И нет командира, какого бы ранга он ни был, который не нервничал бы перед наступлением, не терзал беспрерывно разведку: сведений! сведений!

Каждому, от командующего фронтом до ротного, взводного, страшно наступать вслепую — боязнь неизвестности, больших потерь, невыполнения боевого приказа.

6

Давно затих стук мотоциклетного мотора, лишь столб света от его фары продолжал двигаться за горизонтом. Процокал невядалеке копытами парный конный патруль. Мурашов пополз обратно. Когда уставал, делал короткие пробежки и снова падал на землю. Пошел, называется... Куда? Через всю страну. Только затем, чтобы появиться в разведотделе, глянуть в глаза Лялину, сказать: не обессудьте, ничего я не сделал и радиста потерял... Какое ему дело до того, как тебе было трудно, какие перенес опасности, чтобы вернуться? И не надо храбриться, как храбрился до вылета: ну подумаешь, мол, если не получится, это не моя работа, отправляйте обратно на передовую, буду там снова делать то, к чему привык! Батальон, должность комбата отодвинулись далеко, стали какими-то не очень реальными даже, как и вся фронтовая обстановка: стреляют там, бомбят, могут убить каждый момент — это да, однако в блиндаже можно стоять в полный рост и говорить во весь голос; ординарец сообразит поесть; есть люди, компания которых тебе приятна, и с ними можно всегда пообщаться. Ты не один...

По сложной кривой, далеко обогнув глиняные разработки, Мурашов под утро выбрался к городу — как раз туда, к тем развалинам, где ютилась семья старого цыгана. Затаился и пролежал целый день в какой-то яме. Одурь, голод, жажда сморили его. Особенно мучила жажда. Из ямы виднелась близкая окраина, там возле дома стоял колодец, однако Мурашов не мог почему-то заставить себя пойти к нему и напиться. Окликнул возившегося в черной земле цыганенка, испугав его; мальчишка убежал, а капитан снова осел на дно бывшей землянки. Сидел, вытянув ноги, привалился к

стенке. Потом кто-то завозился рядом, и крошечное, остренькое смуглое лицо показалось сверху. Мальчик что-то гортанно сказал на чудном молдавско-цыганском диалекте — Мурашов не разобрал смысла слов и прохрипел по-молдавски: «Пить! Принеси воды...» Цыганенок принес воды в черепашке; Мурашов выпил и слабо улыбнулся. Мальчик исчез. Вечером, когда вернулись дед с бабкой, он привел их к яме, в которой сидел Мурашов. Бабка охала, причитала, видно, боялась пришельца, больше всего, что он дезертир или бежавший преступник, что его станут искать и потревожат их непрочное существование. По ее словам, обращенным к мужу, капитан понял: она уговаривает деда скорее убить его и закопать, чтобы избежать беды. Старик колебался; затем, оттолкнув старую цыганку, полез в яму. Ощупал свитку Мурашова, оценил лежащую рядом баранью шапку. Капитан подобрался, решив про себя так: если дед замахнется или бросится на него, он вцепится ему в шею и задушит. Силу своих рук и пальцев он знал, из них не вырваться даже молодому, здоровому. Вода, принесенная днем цыганенком, сильно подбодрила его.

Дед сидел на корточках и внимательно разглядывал незнакомого, чужого человека, склоняя голову то к одному, то к другому плечу. Вынул из кармана цветную тряпку, размотал, достал оттуда кукурузного хлеба, отломил немного и протянул Мурашову. Тот взял, стал жевать, стараясь не торопиться. Старик чуть усмехнулся, спросил:

— Румын?

— Нег. Молдаванин.

— Иди туда. — Цыган указал на город. — Иди туда, в степь. Зачем здесь быть? Мы не знаем, кто ты. Здесь никто не живет. Ни плохой, ни хороший. Только я, моя жена и внук. Мы бедные цыгане, а ты уходи отсюда.

— Мне некуда идти, мош*. В городе у меня никого нет, а в степи сразу поймают или убьют. Нет пропуска, понимаешь? Я работал в имении, у боярина, на виноградной давилльне. Стал кашлять, приехал доктор, сказал, что начинается туберкулез, мне нельзя работать с продуктами, и меня выгнали из экономии. Я живу недалеко от Вулканешт, в селе.

* Мош — дед (молд.).

— Это дальняя дорога! — покачал головой дед. — Туда надо долго добираться. Ты что, заболел? Почему пришел сюда?

— Сегодня меня задержали в степи стражники, отобрали деньги, справку о болезни и пропуск. Как же я пойду дальше?

— Иди в город, к префекту. Там сделают запрос в экономию и в твоё село. Когда придут ответы, тебе дадут другой документ и другой пропуск.

— А куда задержат как бродягу? Думаешь, они станут долго разбираться? Стражники, что задержали меня, предупредили, чтобы я не вздумал на них жаловаться. Сказали: если увидим в городе — берегись.

На самом деле у Мурашова были при себе и деньги, и справки о болезни, и пропуск на проход от прифронтовой полосы почти через всю Молдавию, к месту прежнего жительства. Все было заполнено и проштемпелевано префектурой и военными властями — по добытым разведкой образцам. Про деньги цыгану не стоило говорить: мало ли какие думы могут возникнуть в голове у старика! Справка о болезни могла еще пригодиться, а вот пропуск... Идти по нему можно было только в глубь территории от своих войск — а значит, что от него толку, когда надо в обратную сторону. Но обратный путь заданием не предусматривался: Мурашову, установив связь с явками, надлежало осесть в надёжном месте, наладить сбор информации и отправлять ее через Гришину рацию. Такова была суть. Такова была...

— Что же ты станешь делать? — сипло трубил старый цыган. — Здесь нельзя жить, это наше место, а ты опасный человек. Как-то здесь ночевали недолго два венгра, а потом их поймали в городе и повесили на базаре. А если бы поймали здесь? Тогда задержали бы и увели в тюрьму и меня, и мою семью.

— Трусись, мош. Неужели никто не знает, что вы тут живете? Нет, не верю.

— Знает полицейский надзиратель и не трогает, и не дает трогать другим. Иногда он просит что-нибудь сделать у него в доме, старуха моет полы, помогает в саду.

— Только-то? Может, еще чем-нибудь помогаешь?

Цыган сгорбился, начал раскуривать трубку. «Постукивает старичина, — подумал Мурашов. — Крутит-

ся, видать, по разным местам, а после доносит. Спасается по-своему. И тех венгров не без его участия похватали».

И тут в голову внезапно ударила горькая мысль: ведь у него нет ненависти к старому двуличному цыгану, готовому предать всех и вся, лишь бы только выжил он и его семья. На фронте он смотрел бы на деда совсем другими глазами. А вот теперь не стреляют, не рвутся кругом снаряды, тихое небо висит сверху — и не поднимается рука на этого человека. Сидит, слушает его. Видно, тут другой мир, он перевернулся, как в песочных часах. Все по-другому. Нет жесткой разницы, преграды между добрым и злым, плохим и хорошим, белым и черным, как на передовой. Попробуй скажи, что плохо, что хорошо, когда ты сидишь и жрешь мамалыгу, полученную из рук цыгана, на совести у которого наверняка не одна подло загубленная жизнь, а сам ты, находясь здесь, не сделал ничего для исполнения своей солдатской задачи.

— Ты меня, мош, не закладывай, — сказал он, — я тихий. И ты учти: если меня возьмут, тебя не станет в тот же день. Пожалей своих, мош.

7

Летом 1938 года с заставы на западной границе, где Мурашов проходил срочную службу, отправили его поступать в пограничное училище. Он прожил в летнем лагере около недели, когда его вызвал вдруг начальник приемной комиссии.

— Слушай, помкомвзвод, — сказал он. — Ты знаешь, куда поступаешь?

— Так точно, знаю. В пограничное училище.

— Да-да. У нас особые требования. А у тебя, — он стукнул пальцем по папке, — тетка репрессирована. Почему не сообщил сразу? На заставе об этом знают?

— У нас спрашивали о таких родственниках. Я все сказал. И мне ответили, что это не препятствие. Ведь вы неправильно сейчас сказали: это мужа у тетки арестовали, инженера-конструктора. А тетка с ребятами живет, где и жила. Мается, конечно... Муж тетки — довольно ведь дальняя родня, верно?

— Хмм... Ты сам с ними поддерживал отношения?

— Ну, чтобы уж близко — не скажу...

Мурашов и правда редко ходил в гости к тетке Симе — стеснялся худой одежды, чувствовал себя чужим в чинной, благообразной, ухоженной обстановке Дома специалистов после барачных шума и вольницы. Тетка тоже редко бывала у них, снисходительно жалела сестру, мать Мурашова, за ее тяжелую жизнь с лихованием, не чурающимся рюмочки мурашовским отцом. А сам отец вообще не бывал в инженерской семье никогда. «А-а, родня... дерьмо!» — говорил он.

— Так вот, помкомвзвод: ты в наше училище не подходишь. У нас особые требования, понимаешь?

Мурашов подумал, вздохнул, развел руками:

— Ну, что делать? Хоть в городе побывал, на других людей глянул, отвлекся немножко. А все-таки без своих ребят скучно. Поеду обратно на заставу, буду дослуживать. Я ведь, товарищ полковой комиссар, не очень-то и просился. Приехал из отряда командир, спрашивает: «Не желаешь учиться на командира-пограничника? Ты из рабочих, комсомолец, старослужащий, помкомвзвод — подходишь по всем статьям». Что же, думаю, не поехать. А статьи-то, оказывается, вовсе и не все... Ну, не получилось — беды особенной нет. На гражданке тоже люди нужны.

— Конечно, нужны... Только найдешь ли ты там дело по себе? У тебя ведь девять классов — значит, до института еще год учиться надо. А обратно на завод идти — что же с таким образованием кувалдой-то махать? Ты ведь кузнец?

— Я работал на механическом молоте, там кувалдами не машут. Но вообще я собирался на лекальщика учиться, мне один из них говорил, что у меня в пальцах чутье есть.

— А если в техникум?

— Что я там, с мальчишками? Да и кормить-одевать меня некому, так что будем считать — отучился...

— Что-то ни то ни се у тебя, — гнул свое комиссар. — Почему девять классов? Ни семь, ни десять. Запалу не хватило, что ли?

— Мать за уши тащила, — нехотя объяснил Мурашов. — У нее в семье все образованные. А у меня в девятом классе уж борода росла. Считайте, девяти в школу пошел да два года сидел в шестом. Девятнадцать лет, а я все в штанах с заплатами бегаю! Сверстники-то мои работали давно, одевались...

— Но-но! — прозвучал строгий голос. — Мать тебе добра хотела, а ты, понимаешь... Не кончил, значит? А причина, все-таки?

— Да отец наш опять забуробил, нашел какую-то... Матери тогда не до меня стало, я и ушел потихоньку из школы. Когда на завод устроился, только тогда ей сказал.

— Ладно, с этим ясно. Как я понял... жгучего, скажем так, стремления стать командиром-пограничником у тебя нет?

— Жгучего нет, товарищ полковой комиссар. На границе ведь служба тяжелая. Иной раз и день и ночь на ногах. Разрешите идти, собираться?

— Нет, Мурашов, погоди. А если бы поступил к нам — учился бы, служил честно?

— Конечно. Кому-то ведь и на границе служить надо. Это служба почетная. И зарплата подходящая.

— Отлично отвечаешь. Отлично. Только — не могу я тебя в наше училище принять, вот какая беда!

«Ну, не можешь и не можешь, какого хрена тогда кашу-то по тарелке мазать?» — раздраженно подумал Мурашов и сказал снова:

— Так разрешите идти?

— И отпустить так просто не могу... Вот характеристика твоя, подписанная командиром отряда Апенченко. Мы с твоим Апенченко в Средней Азии вместе служили, можешь передать ему при встрече привет от Колбенева. Так вот что тут сказано: «Выносливый, исполнительный, не чурающийся никакого труда красноармеец. Среди подчиненных пользуется заслуженным авторитетом. Меры строгости по отношению к ним применяет справедливо, основным методом воздействия считает личный пример. В боевой обстановке смел, инициативен...» Видишь, что тут написано? А я Апенченко верю, он словами не бросается. И плохого красноармейца не пошлет учиться на командира. Только лучшего из лучших. И что же теперь из этого выходит?

— Что выходит, товарищ полковой комиссар?

— Ты не дергайся, встань как следует. У меня тоже время дорогое, если толкую с тобой — значит, есть причины... Вот, выходит так, что ты хороший красноармеец. Хороший ты красноармеец, помкомвзвод?

— Себя хвалить вроде как не положено... Но так,

если рассудить, красноармеец я неплохой. Крупно не наказывали, а благодарностей имею целых четыре.

— Да, вот еще: «Имеет склонность и способности к изучению языков». Это откуда?

— У нас на заставе кружок по испанскому языку организовали. Жена политрука вела, она в институте его учила. Так я с ней через два месяца почти свободно толковал. Как-то быстро получилось.

— Подходишь ты нам по многим пунктам. А вот одного пунктика не хватает, и все, баста! Но что я думаю про тебя, помкомвзвод: жалко будет, если армия потеряет такого солдата. Образование, служба за плечами... будь он неладен, этот шурин, или кто он тебе! Уйдешь на гражданку, потеряешься там... можно ли это допустить? Да и перед Апенченко, старым дружком своим, я вроде как виноват окажусь: что такое, послал сюда хорошего парня, а я обратно отфутболиваю... Давай попробуем сделать так: здесь у нас есть еще военно-инженерное, попросту — саперное училище. Там требования не такие высокие. Я звонил туда, у нас с заместителем отношения хорошие, говорил о тебе. Они не возражают. Ты парень рабочий, металл, говоришь, аж пальцами чувствуешь... тоже ведь твое место, а? Давай соглашайся, и мы перешлем туда документы.

— Так ведь это совсем другие войска, можно ли? — засомневался Мурашов.

— Это я все сделаю, улажу, а как — не твоя забота, понял? Твое дело — только принять решение.

На хмуроватом мурашовском лице напряженно заблестели глаза; помолчав, он хмыкнул, махнул рукой:

— Что ж, если так — видать, не уйти мне от учебы да армии...

Пуститься бы вскачь на сильном и быстром коне! Доскакать без остановки аж до самого штаба своего полка, кинуть повод уздечки первому солдату: «Привяжи!» — и спуститься в блиндаж по крутым ступенькам. «Капитан Мурашов прибыл для дальнейшего прохождения службы!» Его, поди-ка, никто уже и не ждет. С того самого времени, как отозвали в распоряжение штаба армии. Сначала с ним разговаривали у начальника разведки дивизии майор и подполковник, от них

он ушел обратно в батальон, а через день приказ: быстренько собираться — и в путь-дорожку, будьте любезны! Наверняка нашлись и такие, что завидовали: мол, штаб армии — это тебе не передовая! Сюда бы их. Не передовая...

Скоротав в яме, в земле, первую ночь, Мурашов отправился на городской базар. Потолкался там среди торгующих семечками и жареной кукурузой крикливых баб, среди пахнущих лошадьми, ружейным маслом и дешевым табаком румынских солдат, немногих крестьян из ближних сел. Несмотря на шум, оживление, базар был по-военному скуден. Сухие шкуры, мамалыжный хлеб, папироски, вино, бараньи шапки, всякая рвань... И народ здесь, видимо, шляется — и продавцы, и покупатели — более или менее здешний, известный друг другу. Поедешь ли далеко с товаром без острой, крайней необходимости в лихое время! Мурашова засекли сразу: уже минут через десять после того как он появился на рынке, к нему подошел рослый полицейский и потянул в укромное место. Долго глядел предъявленные бумажки — Мурашов даже засомневался, грамотный ли он, потом бесконечно выпрашивал подробности: кто, откуда и почему. «Ну, и что тебе здесь надо?» — спросил напоследок стражник. «Нездоровится. Надо перед дорогой хлеба, сала купить...» Мурашов стал кашлять, и детина отпрянул брезгливо. «Заразных велено в префектуру...» — пробубнил он. Мурашов дал ему сто лей. «Больше чтобы я тебя здесь не видел», — сказал полицейский, отходя.

Капитан купил хлеб, соли, шматок шпика, две бутылки виноградной водки. Вернувшись в свое пристанище, он поел и стал ждать цыгана. Тот вернулся под вечер, и не один: рядом коlobком катился рыжеусый лысоватый мужичок в темно-синей полицейской форме: штаны навывпуск, петлицы на отложном воротнике, лычки на плечах. Это оказался местный надзиратель, покровитель цыганской семьи. Повторилась сцена с чтением справок, расспросами. Голос у надзирателя был высокий, почти писклявый. «Немедленно уходи! — орал он. — Вон с моего участка!» Мурашов кашлял, надрывался, умолял подождать хоть немного, покуда ему не станет легче. «В префектуру! В префектуру!» — визжал полицейский, покуда Мурашов не приник к его уху и не стал говорить что-то тихо и внушительно. Зашуршали деньги. Потом капитан метнулся в свою яму,

вытащил из лежащего на дне ее мешка бутылку с водкой, затряс ею: «Я прошу, я прошу, домнуле офицер!» Надзиратель подтопал к нему толстыми ногами, вырвал бутылку, сунул себе за пазуху и пошел прочь, важно переваливаясь. Другую бутылку Мурашов распил с испуганным, насторожившимся цыганом. Тот недоумевал: ведь чужак говорил вначале, что деньги у него отобрали в степи, где же он взял их сегодня — на водку, хлеб, подкуп домнуле надзирателя? Наверно, он хитрый человек. А может быть, крупный и удачливый вор. Тогда он, живя рядом, может помочь и их, цыган, существованию. А он, дед, поможет ему в его делах. Поможет, а потом донесет на него домнуле. И тот даст хлеба и сала для него, бабки и маленького Михая — надежды рода.

Так — бок о бок — прожили они несколько суток. Мурашов выкопал укрытие на случай внезапной облавы, подобрал плошку для еды. По вечерам цыган приползал к нему, они выбирались на небольшой холмик, жевали остатки раздобытой за день пищи и молчали или тихо разговаривали. Луна, если она была, высвечивала их костистые горбоносые лица, дующий низом ветер уносил в сторону степи рваный дым от стариковой трубки. Бегали, попискивая, мыши. Старик вздыхал, он казался вечерами очень старым. «Мне семьдесят седьмой год, — ворчал он. — Война, молодым нет места на свете, а я никак не могу умереть. Михай, Михай, чавэлэ...» — сипел он о спящем рядом с бабкой внуке. «Еще живи, мош, — посмеивался над ним Мурашов. — Вон сколько в тебе силы: целый день на ногах да на жаре — это ведь надо выдержать, не шутка!» — «Видишь? — дед горделиво сжимал кулак. — Когда-то я убивал им лошадь. В целом таборе не было цыгана сильнее меня. Меня любили и румынки, и венгерки, и молдаванки. Я украл и продал много коней, и никто не мог догнать меня и убить. Я только два раза сидел в тюрьме. А теперь табора нет, и Михай даже не знает толком, как заседлать впервые степную лошадь. Он способный, живой мальчик. Но кто, где ему покажет, научит?»

Капитан Мурашов сидел рядом и вполуха слушал скрипотню старого цыгана. Ему самому было двадцать девять лет, а отцу полгода назад, зимою, исполнилось бы пятьдесят семь, если бы не помер в день своего рождения прямо за станком, от мгновенного сер-

дечного паралича, вызванного усталостью и дистрофией.

Цыган хвастался своей прошлой жизнью; по его рассказам выходило, что не было на свете преступления, какое он не совершал. Но поскольку делалось это просто, на виду, обыденно, даже с удалью, то и само понятие преступного как-то терялось, смывалось. Мало ли чего не бывает в степи, при вольной жизни и вольных нравах! — так следовало понимать слова старика. Впрочем, может быть, все и было гораздо страшнее, чем он говорит. Да даже наверняка так.

9

В гражданской, далекой жизни самого Мурашова существовал период, когда он был близок к блатным. Вначале он просто дружил со своими сверстниками — товарищами по бараку, где жил, улице, где бегал, школе, где учился. Это уже после, годам к пятнадцати, ребята начали резко делиться на группы, и стало более или менее понятно, что кого ждет. Что этот, например, будет заводским рабочим, этот собирается идти в техникум, этот — в аэроклуб, тот — в командирское училище или в армию... Часть же парней — небольшая, конечно, — откололась сразу, сбилась в свою кучку, и прошел слух, что они воруют. Иногда они появлялись на улице вместе, хмельные, со своими девками, гитарами, чечеткой, горделиво так показывали свою веселую жизнь. Их и боялись, и посмеивались над ними, но как-то робко, храня дистанцию, чтобы не пырнули ненароком. Чего им стоит, шпане! Время от времени по слободе проносился слух: такого-то и такого-то «замели», их матери были в коридорах, подъездах барачных, пускали слухи про уголовный розыск, следователей, затем был суд, набивался полный зал любопытных — и долго еще поселок гудел, переживая это событие. Парнишки, кое-кто из девок уходили в заключение, на их место являлись другие, кого-то забывали начисто, кто-то, отбыв свое, приходил обратно, и к нему тянулись жадные, любопытные взгляды ребятни...

Как-то Пашка Мурашов, учась в шестом, ходил в октябрьские праздники на утренник в клуб и потом, выйдя из клуба, двинулся к стоящим на дворе поленицам: там в дровах спрятан был отнятый у четвероклассника поджиг — плотно одетая на деревянную

ручку медная трубка с расплюснутым на одной стороне концом. Туда ссыпалась соскобленная со спичек селитра, плотно утрамбовывалась загнутым гвоздем, затем тот же гвоздь с надетой на загнутый конец резиной выставлялся из трубки — для выстрела требовалось только, вытянув руку, стукнуть по чему-нибудь твердому. Пашка шел за этим оружием, как вдруг увидал между поленищами лежащего мужика и над ним — двух знакомых ребят из их школы: Ваку из соседнего шестого и Сашку Чуню из седьмого. На Пашкин оклик они обернулись, шарахнулись, и он увидал их искореженные страхом лица. Узнав его, они вернулись на прежнее место и снова склонились над раскинувшимся телом. Пашка узнал в мужике печника дядю Парфена Заболотных, из соседнего барака. Он был пьяный. Ребята шарили у него в карманах, доставали деньги. Закончив это дело и спрятав деньги под телогрейки, они повернулись к стоящему поодаль Пашке.

— Мураш, трояк надо? — весело спросил Вака.

— Обойдется и так! — процедил Чуня и показал Мурашову кулак. — Смертью пахнет, понял? Убьем, если что!

Он мог и не говорить это: ябедничество считалось в поселке самым тяжелым грехом в ребячьей среде, и доля тех, кто «сучил», была очень жалкая: как тени, существовали они, вне всяких игр и компаний, вечно битые. А Пашка был в доску свой, уличный, они и не думали его бояться и грозили просто так, на всякий случай, а скорей всего это и не угроза была, а вид хвастовства перед другим своей удачей и удачью. Они прошли, и Пашка поплелся за ними, потом отстал. Он был жестокий мальчик, каки все его уличные друзья, и ему не было жалко дядю Парфена: ну и черт с ним, пускай знает, как допиваться до смерти! — но картина совершающейся на глазах пакости надолго удивила и запомнилась: бесильное тело, раскрытый рот на багровом оплывшем лице, шарящие по карманам и запазухам быстрые руки, перекошенные рожи воров... Вака и Чуня как сообщники подмигивали ему при встречах, однако он сторонился их компании. Потом они ушли из школы и оба стали блатными. Одного перед войной, пронесся слух, убили в заключении; затерялся и след другого.

...Но куда, куда же девался радист младший лейтенант Гриша Кочнев?

Медленно ползло время в выжженных развалинах. Оставаясь целый день один со своими думами, Мурашов мрачно перебирал события, что привели его сюда, на окраину чужого города в чужой стране...

Уроженца города, сержанта-молдаванина, майор Перетятко нашел все-таки в одном из госпиталей, привез его в разведотдел и даже хотел включить третьим в мурашовскую группу, но скоро отказался от своей затеи: парень оказался глуповат, любил порассуждать, к тому же имел в городке много родни, которая знала, что он работал в уездном комитете комсомола и эвакуировался вместе с городским активом. Далеко ли тут до беды — стоит только попасться на глаза дурному человеку! Вариант отпал, и Мурашова с Гришей Кочневым засадили учить город по плану, составленному сержантом и майором Перетятко. По правде, на это не ушло много времени: что там было учить! Три райончика с немногими улочками; одни сержант знал лучше, другие хуже; центр со школой, рынком, префектурой, тюрьмой, зданием пожарной команды, домом, где размещалась городская власть и уездные службы: землемерная, ветеринарная, налоговая, санитарный врач и прочие. Надо еще было выучить фамилии известных в городе лиц; фамилии, имена, характеристики бывших друзей и знакомых сержанта — все старая, понятно, информация, трехлетней давности. Поди узнай теперь, кто жив, а кто нет, кто остался на старом месте, а кого унесло в другие края, кто равнодушен, кто вздыхает о прежнем времени, а кто помогает фашистскому режиму, кого он устраивает. Были неконкретные, полудостоверные сведения о том, что летом сорок второго года в городе обнаружили и разгромили подпольную организацию. Снова вопрос: в каком объеме разгромили? Остались ли хоть сочувствующие? Как изменился моральный климат в городе после этого? Конечно, сигуранца* не могла не использовать такого повода, чтобы ужесточить режим, запугать людей.

И Перетятко, и Мурашова интересовали главным образом три улицы, три дома на них, трое живущих в тех домах людей. Сержанту знать о них не полагалось, поэтому расспросы шли сужающимися, концентрическими, осторожными кругами — три круга, три улицы, три

* Контрразведка в королевской Румынии.

дома. С теми людьми в спешке, суматохе первых дней войны, эвакуации, успели провести работу, оставить их как связи до лучших времен. Можно себе представить всю сложность ситуации: выбрать в донельзя ограниченное время нескольких сочувствующих, но таких, кто не был на виду, не ходил в активистах и деятельных помощниках, чтобы и подозрения не пало на них у новых властей. Как бы там ни было, дело сделали, и теперь трое жителей городка значились в списке у подполковника Лялина: учительница Аурелия Гуцу, возчик маслосыр-завода Петр Плугатару, механик городской водокачки Василе Бужор. Три человека — целая группа. С офицером-разведчиком и радистом — большая сила. Ну пускай, по военным временам, кого-то не окажется на месте: двое, даже один — это пристанище, информация, поиск данных для передач.

Так рассчитывали. Да чего-то, видно, не рассчитали...

К глинобитной старой хатке возчика Мурашов вышел довольно уверенно, по крепко сидящей в голове карте города. Дом стоял на окраине, в конце улицы, и капитан подумал, что это удобно — меньше глаз от соседей. На низеньком крылечке сидела девочка лет пяти и сшивала два цветных лоскутка.

— Ты Плугатару? — спросил Мурашов.

Она подняла лицо, кивнула.

— Как тебя зовут?

— Юлия.

— Где твой отец, Юлия? Он работает?

Девочка вскинула руку, словно заслоняясь от солнца, вскочила и убежала в дом. Оттуда слышался ее быстрый, вздох, разговор. В дверь выглянула молодая еще женщина с широким лицом.

— Кто вы? Что хотите?

— Мне нужен Петр Плугатару.

— Моего мужа уже два года нет в живых. Он погиб на фронте. Кто ты такой? Если из его бывших друзей — почему не знаешь об этом?

Вот это да-а... Мурашов сдернул шапку, вздохнул:

— Мир его душе... — и вдруг спросил: — А... на каком фронте он был?

— Кто его знает! Где-то под Одессой. Тогда в город пришло много извещений.

«Так ведь он воевал в фашистской армии, у ру-мын!» — сообразил капитан. Ну, все верно: пришли ру-

мыны, началась мобилизация... Вот чепуха: человек, к которому он шел, считая своим, погиб, оказывается, с оружием в руках сражаясь против него, Мурашова, против его батальона, против его страны. Погано сделалось на душе.

Вдова исподлобья, тяжело глядела на него.

— Простите! Я нездешний, из Буджака, приехал по делам. И не знал, что Петра взяли в армию. Мир его праху!

Он поклонился, хотел идти, но женщина жестом остановила его:

— Постой!

Сходила в дом, вынесла рюмку и кусок хлеба с салом.

— Помяни его.

Мурашов перекрестился: «Да успокоит его господь!» — выпил, вытер ус. «Что ж, — решил он. — Второй заход начну отсюда же».

— Давно не бывал я здесь! Как пришли немцы с румынами, так и не бывал. Стало опасно ездить. Поймают — отберут лошадь, кэруцу,* да еще и изобьют. А сегодня приехал по казенной надобности, привез сукно. Да... раньше у меня здесь было много друзей, было с кем выпить и поговорить. Не только с твоим Петром. ...Этот еще... как его... с водокачки... Васиlake, да!

— Бужор?

— Да, да!

— Ты и его не найдешь сейчас: Васиlake и еще шестерых арестовали еще до того, как погиб мой Петр. Радио они слушали, какие-то листки печатали, ветеринар с ними был, скот травил, что в Румынию собирались отправлять. Их всех повесили на базаре, на площади. Так что не ищи Бужора, напрасно будешь искать.

Еще один... Мурашов мотнул головой, с трудом улыбнулся:

— Ну и крепка твоя цуйка, хозяйка! Так и ударила в затылок. Говорил мне отец: «Не пей на зное!» До свиданья!

Вот так. Двух явок из трех уже нет. Про учительницу капитан не стал спрашивать у вдовы Плугатару: дочка ее, Юлия, была еще маленькая, так что она могла и не знать школьных работников. А еще — боялся сбить последнюю надежду, вдруг тоже скажут: ушла, уехала, пропала, нет ее...

* Телега (молд.).

По данным разведотдела, Аурике Гуцу было тридцать четыре года. Разглядывая ее фотографию — пышные волосы, длинный тонкий нос, губы в ниточку, сощуренные глаза, — майор Перетятко заметил: «Наверно, тоща, як та килька...» Характер в ней читался жесткий, резкий. Она была не замужем. «И нэ вийдэ! — слова того же Перетятко. — Кому вона така нужна?..»

Так ведь и здесь ты оказался неправым, майор Гавря! Когда Мурашов позвонил у палисадника учительского домика — аккуратного, обихоженного, в зелени, — дверь на крыльцо резко распахнулась, и мужчина в галифе, в начищенных сапогах прокричал высоким голосом:

— Что тебе надо, простолюдин?!

«Ишь ты!» — беспокожно подумал капитан, громко сказал:

— Мне нужна госпожа Аурелия Гуцу.

— Ты что, чей-нибудь родитель? Из деревни? Тогда приходи в школу и разговаривай там! Чего ходишь домой? Ну, говори! Я передам ей. Чего, ты не знаешь меня? Я учитель гимнастики, господин Ион Штефанеску!

Появление его — Мурашов сообразил — не сулило ничего хорошего. Однако он упрямо произнес:

— Мне нужна госпожа Аурелия.

Мужчина метнул на него свирепый взгляд и ушел в дом. Вскоре на крыльце показалась Гуцу. Она действительно была очень тощая, да еще и на полголовы выше своего избранника. Тот тоже вышел следом, но не спустился к калитке палисадника, как она, а остался стоять наверху, расставив ноги и уперев руки в бока.

— Что вам угодно?

— У вас перед войной училась моя сестра, Надя Флориану! — так, чтобы мог слышать учитель гимнастики, громко сказал Мурашов. — Сороковой — сорок первый годы, вы должны помнить эту девочку. Она велела передать вам привет и рассказать, как она живет.

— Надя? Флориану? Я не помню такую... — неуверенно произнесла Гуцу.

— Вам привет от бэдэ Захарии Траяна, — тихо, глядя ей прямо в глаза, сказал Мурашов. Захария Траян — это был секретарь уездного комитета партии.

Глаза учительницы быстро сощурились, губы — в ниточку. «Вот вы откуда», — прошептала она. Тут же улыбнулась беспечно — одними губами, не распуская прищур, и крикнула стоящему на крыльце молодцу:

— Ступай домой, Ион! Это родня моей бывшей ученицы. У нас хороший разговор.

— А мне это интересно?

Она лукаво хохотнула:

— Ты так и хочешь узнать, как живут другие молодые девушки. Не смей! Я твоя единственная девушка. Ушел, грохая каблуками.

Лицо учительницы стало спокойным, надменным.

— Никаких Захариев, никаких Траянов. Больше я не должна вас видеть.

— А...в чем дело?

— В том, что я уже полтора года живу с Ионом. Он согласен на мне жениться. Вы не знаете, что это такое для женщины моего возраста и моей внешности.

— Не понимаю...

— И не поймете, не старайтесь. Это по уму только женщине. У вас другое на уме. Вы ведь мужчина и солдат, видимо? Так вот: если Ион узнает, что я когда-то... проявила слабодушие и согласилась работать на вас, он сам отведет меня в сигуранцу. Он верит в победу румынской армии. И я верю. Я верю теперь во все, во что верит он. Поэтому уходите и оставьте меня в покое.

— В своем ли вы уме, госпожа Аурика? — с тоской спросил Мурашов. — Вы что, какая победа румынской армии? Скоро здесь будут наши войска. Ведь узнают же все. Спасайтесь вы, бросайте этого... кавалериста, помогите мне.

— Как вы... ах!.. — Гуцу судорожно выдохнула, длинными тонкими пальцами обхватила свое худое горло. — Как вы смели... такое сказать мне... Чтобы я... бросила Иона. Уходи немедленно! И не смей, не смей! Я уйду вместе с ним! Или пускай нас убьют вместе! Я люблю его. И он меня любит. Он мой муж, понял?! Уходи!!

Она заплакала, резко всхлипывая, закидывая голову. Истерика. Хлопнула дверь, с крылечка побежал к госпоже Аурике учитель гимнастики; Мурашов понял, что надо уходить. Но прежде чем пришло осознание всех размеров случившейся с ним беды, мелькнула мысль: умница женщина, волевая, образованная, — и вот, пожалуйста, превратилась в ничтожество, подстелилась тряпкой под лакированные сапоги опереточного хлыща и ничего уже не слышит, ничего не хочет понимать. Эх, бабы, бабы!..

До слуха притаившегося в яме Мурашова дошел дальний гул; он очнулся от мыслей, высунулся наружу и оглядел небо. С запада на небольшой — километра дна с половиной — высоте к городку приближался самолет. Рокот его моторов и потревожил капитана. Он шел чуть в стороне от селения и был хорошо виден. Наша «пешка», средний пикирующий бомбардировщик Пе-2. Машина летела неровно, совалась туда-сюда в стороны, неглубоко ныряла вниз. А вокруг нее вились, деловито жужжа, два туповатых веретенца, похожие на обрубки «фокке-вульфы». Били по моторам, плоскостям, хвосту, свечками взвивались вверх, проскальзывали перед носом, снова заходили. «Т-т-т-т-т-т-т!» — падал на землю стук пушек и пулеметов. От «пешки», из кабин штурмана и стрелка-радиста, тоже хлестали дымные трассы. «Шуруй их, ребята, в душу, в селезенку, в сердце мать!» — сипел Мурашов внезапно пересохшим горлом.

Фашистская пара, сделав заход сверху, проскочила и ушла вперед. Когда бомбардировщик находился на кратчайшем расстоянии от капитана и сделался ему отчетливо виден, произошло что-то странное: сверху на тонком фюзеляже, между хвостом и кабиной пилота и штурмана, показалась фигура человека. Она возникла торчком, затем согнулась и скользнула по фюзеляжу, между двумя распластанными киями. Что же это такое? Над фигуркой раскрылся парашют, и тогда Мурашов понял: один из летчиков, стрелок, покинув экипаж, пытается спастись от смерти. Но ведь самолет еще не горит! И командиры его борются за машину. «Ах ты, г-гад!» Мурашов стукнул кулаками из всех сил по твердой земле. Один из «фокке-вульфов» лег на крыло, перевернулся и с маху, в повороте, ударил очередь по куполу. Он вспыхнул — человек камнем полетел вниз. «Сами решили его наказать, — догадался капитан. — Правильно, труса никто не любит. Да-а, не хотел бы я такой смерти...»

Лишенный защиты сзади, самолет был обречен. Он шел теперь строго, торжественно, не отклоняясь от курса. И вдруг, когда «фокке-вульфы» вошли, словно коршуны, в широкий круг над ним, готовясь к последнему заходу, «пешка» проворно клюнула носом и понеслась к земле. Видно, летчик решил попробовать спастись пи-

кированием. Истребители зажуужжали и ринулись следом. Бомбардировщик стал выходить из отвесного полета; по пологой кривой, взревев моторами, он снова полез вверх. Тотчас один из «фокке-вульфов» подвесился сверху машины, хищно перевалился, словно бы собираясь вскочить преследуемому на загорбок, и впилил длинную точную трассу прямо в кабину. Взлетели осколки, самолет стал задира́ть нос; лег кверху брюхом, как в мертвой петле, но в верхней точке ее сорвался, кувыркнулся и, жутко воя моторами, вошел в штопор. Высота была маленькая, и скоро он врезался в землю.

— Молодцы, ребята, хорошо воевали, — сказал Мурашов. — Вечная, как говорится, память. А этой сволочи, что вас бросил, осиновый бы кол в спину вколотить, да только он уже тоже неживой.

К густому черному столбу, вставшему над упавшим самолетом, поехали из города несколько мотоциклов, крытая машина-фургон. Два мотоцикла на ходу оторвались и пострекотали дальше в степь, к месту падения парашютиста. Инструктор, готовивший Мурашова к прыжку, рассказывал, во что превращаются те, у кого не раскрылся парашют. «Маленький делается... все кости всмятку... и шуршит...» Трудно представить! А еще сегодня погибший стрелок был среди своих, разговаривал с друзьями, сидел с ними за одним столом. Но сам-то он не был своим, только притворялся. Притворялся так, что ему верили, что никому и в голову не приходило: он — трус, способен бросить в жестокую минуту командиров — пилота и штурмана. Как полетели осколки от их кабины! И они, только что бывшие живыми...

А делали они, похоже, одно с ним, капитаном Мурашовым, дело: разведку. На бомбежку днем «пешек» не выпускают в одиночку, без сопровождения, прошло то время. Только разведчиков. Парни ходили в далекий рейд и погибли. Так ведь погибли смертью храбрых, после жестокого боя, разве плохо? И ребята-то, наверно, были совсем молоденькие, младшие лейтенанты. А он — капитан, с первых дней на войне, три ордена — сидит тут себе тихонько, как мышка полевая, ждет. Чего, кого ждать? С другой стороны — кому нужна твоя бесполезная смерть? Но ведь может быть и плен. Плена Мурашов боялся больше смерти.

Так-то все так, только кому нужна и твоя бесполезная теперь жизнь?

Бесполезная, бесполезная...

Мимо него по ямам, руинам, по черной, так и не сумевшей зазеленеть и зацвести земле бежали к месту падения самолета мужчины и женщины, ребяташки. Пошел туда и Мурашов. Солдаты и жандармы уже успели выставить оцепление, и подойти близко было невозможно. То, что осталось от самолета, чадило запахом горящего железа и ничем не напоминало большую крылатую машину — так, груда хлама. Да отломился при ударе об землю и отлетел в сторону обломок хвоста с разнесенными по концам киями.

Жители городка толпились неподалеку. Некоторые были возбуждены, громко рассказывали про бой, показывали, как летели самолеты, другие стояли тихо. Поодиночке, группами, поглазев на обломки, шли обратно. Дети, жужжа, гонялись друг за другом, изображая воздушную схватку. Мурашов протиснулся сквозь гудящих обывателей, встал на границе оцепления и глядел на груды горелого металла. Вдруг толпа колыхнулась, по каким-то причинам шарахнулась, и крайние толкнули капитана за ту незримую черту, которую переступать было нельзя. Он не успел даже понять, что произошло, как получил тяжелый, больной удар в грудь и упал. Еще не ощутив толком боли, он подобрался, встал на колени. Увидел перед глазами обитый железной планкой край приклада, впалый рот под кривым носом и услышал гневный, гнусавый голос:

— Пе! Пе-е-пе!..

Мурашов со стоном, на четвереньках побежал из круга, и люди расступились, чтобы пропустить его. Но полицейский бросился за ним, пнул и свалил опять. Затем цепкими руками поднял за одежду и швырнул изо всех сил в толпу. Капитан снова упал; тут его втащили внутрь, прикрыли. Он слышал еще, как лопотал полицейский: «Пе-е! Пепе-е!..» — а когда поднялся, увидел, как тот, стоя на цыпочках, вертит головой — видно, снова выглядывал его. Мурашов выбрался из толпы, остановился и закашлял, растирая ноющую от удара грудь. К нему подошли мужчина с женщиной, закачали головами:

— Ну и Пепе! Никакой жалости. Бьет и бьет людей, дали ему на это волю. Вы ему теперь не попадай-

тес, он вас запомнил, Пепе очень злопамятный, он многим у нас принес горе.

— Что это за такой Пепе? Он, по-моему, и говорить-то толком не умеет. Ну, зверюга! — морщась, сказал Мурашов.

— Не умеет, не умеет! — словоохотливо подтвердил мужчина. — Он ведь немой! Вы нездешний, из села, видно... Чудо, что он вас не задержал, не отвел в префектуру. Не сообразил. Положено охранять — он и охраняет. Только вы смотрите, лучше убирайтесь сразу подальше.

— Что за чудеса: стражник — и немой!

— Они рады и таким, не больно люди идут, особенно теперь... А Пепе — он тихий-тихий был, с матерью жил, все так и думали: дурачок, да еще немой, жалели, потом смотрим: в форме стал ходить. Посчитали сначала, что это так, для смеху ему выдали... Теперь вот не до смеха стало. В любимцах у префекта числятся, тот уж знает, что ему лучше собаки здесь не найти. Что повесить, что расстрелять, что избить до полусмерти, отобрать что-нибудь, обыскать — на это Пепе первый.

— Пе-е! Пе-е-пе! — визгливо доносилось из оцепления.

Мурашов вспомнил лицо стражника: белесые волосы, глубокие маленькие глаза, горбатый большой нос, вдавленный, словно у старика, мокрый рот... Тьфу! Не дай бог, привидится во сне такая гадина. Ладно, погоди, разберутся еще с тобой...

Постанывая, кашляя от боли, Мурашов двинулся в город. Возвращаться сейчас в яму, лежать там, вжавшись, — нет уж, черта с два! На твоих глазах погибли ребята-разведчики. Тебя ударил, опрокинул на землю вонючий немой полицай. Словно что-то нечистое, невиданное па фронте коснулось мурашовской души. И тот полицейский на рынке, надзиратель, которому он совал водку... На войне часты были случаи, когда полицаев, власовцев, предателей стреляли без суда, не доводили до плена, а тут ты не можешь такому выродку даже дать в рыло. Дашь — погибнешь. Не слишком ли великая цена? Нет, ему жизнь тоже не задаром далась.

Он шел, глядя себе под ноги, держался возле заборов и вздрогнул, услышав из маленького глухого проулка, возле которого проходил, окрик:

— Э! Ком хир, мамалыга!

Рослый молодой немец в эсэсовской форме нес откуда-то на спине железный котел. Окликнув Мурашова, он сбросил котел на землю и сделал повелительный жест: подойди! Вынул пачку сигарет, утер пот: видно было, что он изрядно устал от своей ноши. Протянул пачку Мурашovu: кури! Тот мотнул головой, пряча взгляд. Внутри у него все стонало от напряжения. Немец усмехнулся, похлопал его по плечу, сказал:

— Курт. Майн наме ист Курт. Унд ви хайст ду?

Капитан понял, что солдат всюю пытается высказать свои добрые по отношению к нему намерения, пытается узнать имя в обмен на свое и выдал сипло:

— Фе-дор...

— Ха! Фе-одор! — довольно горланил солдат. Бросил сигаретку, затоптал ее в землю и показал Мурашovu на чан. Жестами изобразил, что его надо взять на спину и нести, как нес он. Мурашов сделал угодливое лицо, послушно закивал и пошел вокруг котла, как бы принаравливаясь удобней ухватить его. Тем временем он огляделся. Окрест не маячило ни одного человека. Промелькнула и минула у входа в проулок небольшая компания, возвращавшаяся с места падения самолета, и — снова тишина. Капитан поддернул шаровары, нагнулся и ухватил ручку надежно укрытого на поясе пистолета. Отвел предохранитель. Солдат глядел на него снисходительно: его забавляло, видимо, как тупой забитый молдаванин подходит к столь пустяковому делу, как переноска тяжелой вещи. Так же угодливо ухмыляясь, Мурашов зашел за его спину, быстро вытащил пистолет, приставил к плотному сукну мундира и выстрелил. Выстрел получился приглушенным, но силой его немца бросило к забору, возле которого он и лег, неловко повернув в сторону Мурашова изумленное, испуганное лицо.

— А ты как думал! — бормотал капитан, засовывая оружие обратно. Вокруг по-прежнему не было ни души. Он плюнул, толкнул ногой котел и двинулся из проулка.

Так же понурившись и пыля постолами, он шел к центру. Лишь там, подойдя к лепившемуся возле рынка навесу, под которым привязывали лошадей и волов едущие в город крестьяне, Мурашов поднял голову и огляделся. Тотчас напротив, у входа в чахлый городской садик, он увидел радиста, младшего лейтенанта

Гришу Кочнева. Гриша курил, прислонясь к забору, и не сдвинулся с места, не махнул рукой, не улыбнулся, хоть по задержавшемуся на мгновение взгляду капитан понял: радист узнал его.

Гриша подвернул ногу при приземлении. Уже над землей парашют порывом ветра кинуло вбок, тут же он почувствовал удар, боль в правом колене, охнул — и его понесло по кукурузному полю. Стебли, листья, початки били по лицу, резали руки, когда он пытался ухватиться, остановиться. Потом ветер переменялся, смял купол, бросил обратно, на радиста. Он лежал на спине и не мог подняться — так сразу стреляла в колено боль. Однако руки работали, и он подтягивал, подтягивал стропы, пока не коснулся гладкого, скользкого в руках купольного шелка. Тяжелый купол шел с трудом, не давался, но все-таки Гриша собрал его. Начало светать. Правое колено опухло. Он пытался встать на здоровую ногу, чтобы хоть оглядеться, но неизменно тревожил больное колено и со стоном опускался обратно. Где капитан? Ночь была облачная, ветреная, их могло раскидать друг от друга далеко. На открытом месте можно было, как уговаривались, обозначиться огоньками и найти друг друга. Но в кукурузном поле, лежа, хоть сколько маши фонариком, не будет толка. Когда готовились к операции, Гриша говорил о прыжке уверенно, небрежно, как о незначительной детали, и невольно передал это настроение Мурашову. Тому не хотелось выглядеть мнительным, чересчур осторожным перед младшим лейтенантом: в конце концов, он строевой командир, тоже понюхал пороха, чего ему бояться? Да и знал по опыту, что всех вариантов боя не предусмотреть, искусство командира — быстро ориентироваться в меняющейся обстановке и принимать верные решения. Какие — подскажут чутье и опыт. Сам радист трижды прыгал на лес, и все разы удачно. Но два раза — к партизанам, на костры, там нельзя было потеряться, и один — уже в разведгруппе. Все тогда было благополучно, они быстро нашли друг друга, а последующее четырехмесячное сидение в лесной землянке, в одиночку, с постоянным нервным, тягостным, изматывающим ожиданием «ходоков», несущих данные для передач, начисто

выхлестнуло переживания, связанные с каким-то прыжком.

То, что случилось с Гришей, можно назвать только так: не повезло. Случай наложил лапу на события, на человека. И все-таки, пока солдат не в руках врагов, он надеется. И радист думал, что обойдется, свет не без добрых людей, удача еще проклянется, напомним о себе. Он знал ситуации, когда разведчики вынужденно вступали в контакт с местными жителями, и те укрывали их, помогали налаживать связи.

Грише шел двадцать второй год, до войны он успел окончить семь классов и три курса радиотехникума. Школа радистов, работа у партизан, разведотдел. Мать (отец погиб на Волховском фронте), две бабки, дед, сестренки-близнецы, семиклашки, — все это далеко, на другом конце планеты, в тихом деревянном городке над Волгой... Там он когда-то с отличием окончил семилетку, уехал в Москву, в техникум. Ему нравилась спокойная, вдумчивая, сосредоточенная работа. И чистая. Вообще чтобы кругом была чистота. Он не был сильно брезглив, повидал на войне грязь, однако умел проходить мимо нее, не запачкавшись. «Гриша! — сказала ему как-то повариха в партизанском отряде. — Ты бы хоть влюбился. Красивый парень такой, кудрявый, а ходишь, словно антенну проглотил: прямой, строгий, со всеми на «вы». Девушки обижаются. Что это ты — боишься нас, что ли?» — «Нет, я просто не хочу и не смогу в этой обстановке, — признался он. — Мне кажется, если даже я встречу здесь девушку — красивую и соответствующую мне по душевным качествам, — я все равно не смогу в нее влюбиться. Хочется, чтобы все это было красиво, чтобы можно было хорошо одеться, пойти в кино, на вечер, потанцевать под патефон. Чтобы уж быть в уверенности, что ни ты ее, ни она тебя не оставит — по причине внезапной смерти. Понимаешь?» — «Чистюля ты!..» — презрительно бросила ему девчушка и убежала. «Может быть...» — он пожал плечами.

Солдатом, затем офицером Гриша считался отличным: дисциплинированным, педантичным — из тех, на кого можно положиться в любых условиях. И смелым. У партизан случалось бывать во всяких переделках, и никогда к нему не было претензий. Однажды он даже заменил в бою убитого командира взвода. Имел награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу»,

«Партизану Великой Отечественной войны» второй степени.

Капитан Мурашов, с которым ему предстояло выполнять задание, нравился Грише; даже окопная настороженность, объясняемая теперешней близостью к высокому начальству, даже оттенок пренебрежения, с каким Мурашов относился к Грише и Перетятко, называя их «генштабистами», не могли рассеять уважения, вызываемого к себе хмуроватым чернявым капитаном. Больше всего радиста удивило, с какой легкостью тот болтает по-молдавски. Молдаване, с которыми сводили его для проверки и практики, принимали Мурашова за своего. Прожив некогда в стране всего год, строевым командиром, он свободно овладел простонародным диалектом, со всеми замысловатыми оборотами, шутками, двусмысленностями. Конечно, Гриша в своей работе повидал людей, которые отлично говорили по-немецки и в этом смысле несколько не уступали капитану. Но это были люди или выросшие в немецкой среде, или прошедшие специальную языковую подготовку. Сам радист считал себя абсолютно неспособным к языкам: пытаясь в свое время выучить немецкий, он затвердил массу слов, свободно стал переводить тексты, а разговаривать так и не смог научиться. Будто темная шторка висела в мозгу и задерживалась сама собой, лишь в дело вступал язык.

14

К утру нога одеревенела. Гриша не мог даже шевелить пальцами на ней. Лежал на спине и тихонько охал, задыхаясь от боли. Лишь только она стихала, он переваливался на живот и полз, ломая стебли.

Вдруг кукуруза зашелестела, затрещала; среди стеблей возник низенький, толстый, дюжий мужичок в красной рубаше, грязных желтых галифе, в постолах. Лицом он был обширен, одутловат, вид имел решительный и злой.

— Ун оставш рус? Чине дракул те-а адус пе лотул меу? Ян те уйтэ кытэ стрикэчуне мьай фэкут ын попушой! Да чине ва рэспундэ? Чине мь-а плэти пердери-ле, ей?... *.

* Русский солдат? Какой дьявол занес тебя на мое поле? Гляди, сколько ты испортил посадки! Кто будет отвечать? Кто возместит убыток, ну?..

Гриша, опустив пистолет, повертел головой: «Не понимаю...» Мужик ослабился, наклонился к нему — и тотчас, упав на руку, стал выворачивать оружие. Отбросив его в сторону, выпрямился, самодовольно попыхтел; выдернул из штанов сыромятный ремешок, перевалил закричавшего радиста на живот и начал проворно связывать ему руки.

Затем он ушел и вскоре явился с двумя стражниками; один из них взвалил радиста к себе на спину и под Гришины стоны и ругательства потащил к дороге, где стояла телега. На тряской дороге Гриша потерял сознание и пришел в себя только в тесном кабинете. Он лежал на полу, один человек сидел за письменным столом, а другой — обок его.

Сначала сидящий за столом стал что-то говорить — кажется, задавал вопросы; видя, что пленный безучастен, заговорил по-немецки. На нем была черная форма, петлицы, жгутик на плече. Гестаповец. Он сделал жест, и вступил второй — переводчик. Он сказал по-русски — с сочувствием:

— Как ваша нога?

— Болит... — морщась, прохрипел Гриша. — Дайте попить...

Немец кивнул. Переводчик бросился к радисту с графином и стаканом. Гриша попил, и ему стало легче, в голове просветлело, зато резче обозначилась боль в ноге.

— Я — гауптштурмфюрер Геллерт, — сказал немец. — Наше ведомство изъяло ваше дело из сигуранцы. Так вы, как я понимаю, русский радист? Радист-разведчик?

— Да...

Геллерт погладил блестящий бок стоящей на столе рации. Голос у него был сильный, но интонации — не резкие, а доверительные. Переводчик же — в черных штанах навыпуск, в расшитой рубашке с витым шнурком на шее — говорил тихо, лез, что называется, в душу.

— Это отлично! Это отлично... Мне нравится ваше поведение. Не запираетесь и, я думаю, не будете лгать в дальнейшем. Впрочем, это было бы смешно! Вдруг человек, которого взяли с передатчиком, с парашютом, стал бы говорить, что он случайный прохожий или еще что-нибудь такое... А говорить правду в такой ситуации — это всегда умно.

— Ну ладно, — голова снова закружилась, и младший лейтенант с трудом произносил слова. — Допустим, что так... скажу вам правду... Или не скажу... Что это может теперь изменить? Наши скоро будут здесь. Все равно вам смерть. И ничего не зависит ни от моих ответов, ни от ваших вопросов.

— Можно предположить, что вы правы, — гестаповец похрустел пальцами. — Но неизменным должно оставаться наше отношение к долгу. Служебный долг есть служебный долг, мы не можем забывать о нем ни в каких обстоятельствах. Так что не будем отвлекаться и вернемся к беседе.

— Сначала доктора... Я... не могу.

Снова замельтешило перед глазами... Очнувшись, Гриша увидал стоящего перед ним на коленях и щупающего ногу старого человека в очках, в сером новом костюме. Пощупал, подавил, покивал, затем обхватил ногу за лодыжку, стал приноравливаться. Вдруг словно граната разорвалась в колене — Гриша вскинулся и страшно закричал. «Май ынчет... Май ынчет... Уйте-акум е бине...» * — бормотал доктор. Вскоре он ушел, что-то наказывая переводчику и униженно кланяясь немцу.

— Ну, как теперь? — спросил гауптштурмфюрер.

— Не знаю... Больно еще... но уже не так...

— Не волнуйтесь, самое страшное позади. А вы, наверно, думали, что мы только пытаем, избиваем, морим голодом и жаждой? Чепуха. Мы стараемся работать на сознательности, на взаимопонимании. И я, черт возьми, доволен, что вытащил вас из сигуранцы, разговариваю с вами, могу что-то сделать, в конце концов. Фамилия, имя, отчество?

— Ну, допустим Кочнев, Григорий Алексеевич. И что дальше?

— Не врете? — Немец подошел, наклонился, заглянул в глаза. — Будем думать, что нет. Сами же сказали, что нет смысла что-то скрывать, все равно исход войны предreshен. Нет, я доволен, доволен нашим контактом! Да вы меня буквально спасли. Если бы вы знали, что такое жить без настоящей работы в этом пыльном, убогом, кукурузой пропахшем городишке среди грязных скотов, среди здешней пугливой и ничтожной аристократии, их визгливых, тупых жен и дочек! Изо дня в день одно и то же, одно и то же... Я начал уже бояться про-

* Тихо... Тихо... Теперь хорошо... (молд.).

фессиональной трансформации. Значит, фронт. Третий Украинский?

— Да.

— Ну, к этому мы еще вернемся... Цель вашей вы-
броски — сбор информации о местности, войсках, воору-
жении?

— Очевидно.

— Но здесь же ничего нет! Ни железной дороги, ни
даже речушки, чтобы заправить танки или машины.
Гарнизона — кот наплакал, почти одни румыны да
местные жандармы. Впрочем, того-то вы как раз и не
знаете, сколько и кого... Следовательно, разведка поло-
сы наступления. Да или нет, отвечайте!

— Не знаю, меня в такие тонкости не посвящали.

— Так, так. Сколько вас было в группе?

— Я один. Больше никого.

— Ну, мы же, кажется, договорились, — скривился
Геллерт. — Не делайте сейчас ошибки, лучше подумайте.

— Я был один.

— Гм... Шифры, частоты?

— Шифров нет. Открытый текст. А частоты... зачем
они вам? Без моего почерка, моего ключа на них все
равно появляться бесполезно. А я на вас работать не
наимался.

Гестаповец что-то резко скомандовал — и перевод-
чик ушел, вернулся, привел двух солдат с носилками.

— Вас унесут в камеру, — сказал он. — Допрос бу-
дет продолжен завтра. Вы, я вижу, большой хитрец. Это
может вам повредить. Господин гауптштурмфюрер
дает вам время на раздумье. Помните о ноге! Если не
хотите ходить оставшуюся жизнь, как это... коленками
назад.

Подвал, ватный комковатый матрац на полу, шаткая
табуретка... Верх зарешеченного окошечка на уровне
земли, да еще козырек снаружи — так что ничего нель-
зя увидеть, только слабый свет идет оттуда. Немецкий
солдат принес чашку какого-то хлеба из кукурузы,
ложку, хлеб, кувшин с водой. Гриша поел. Был уже
вечер.

На другой день Геллерт снова вызвал его. На этот
раз радист, хоть и хромая, пришел в кабинет сам.

— Ну, так сколько же вас было? — спросил гестапо-
вец.

— Я один.

— Неумно, неумно... Так же, как с шифрами и частотами. Но хорошо! В таком случае — адреса явок. Ведь если бы вы были один, вам должны были дать эти явки. Разведчиков не забрасывают без связи.

— Они сами должны были найти меня. Я не знаю ни их имен, ни адресов.

— Где найти? В кукурузе?

— На рынке. Я должен был приходиться на рынок, по нечетным дням, в обеденное время, и ждать.

— Что за болтовня! Вы же радист, нелегалыщик, не знаете языка. Я гляжу, вы начали снова испытывать мое терпение. Хорошо. Я терпеливый. Другой бы уже переломал вам кости, отбил внутренности и выщелкал зубы.

— Вам-то что мешает так сделать?

— О-о, мальчик метит в герои. Он желает пострадать... за идею, да? Чтобы проклятый фриц видел, как он умеет умирать. Не спешите. Это все совсем не так увлекательно и очень больно. А я — я ведь говорил уже вам? — гуманист. При том — вы мне нужны здоровым, с непопорченными лицом и телом. Чтобы мы могли вместе работать на рации, пойти на явки или на встречу с вашими товарищами, сколько их там было... Сколько, ну? Один, два?

— Нисколько.

— Так. Даю вам пять дней. После чего вы примете наконец свой венец мученичества. Что делать, вы же сами этого хотите! Но прежде вы пройдете испытание голодом и жаждой. А это ужасно. Мне интересно узнать ваш характер. На каком круге вы сломаетесь?

— Ни на каком.

— Ну, мой друг, не надо зарекаться. Вы сломаетесь, это обязательно, я ручаюсь. Я слышал много интересно про русских, хоть сам и не бывал на Восточном фронте, не встречался с ними, всю войну прослужил в Венгрии и Румынии. Вы первый экземпляр, и я с любопытством стану следить за вашим превращением. Вы превратитесь в зверя, мой милый, а звери не держат секретов, у них все на виду. Ступайте и думайте, думайте.

Гриша вернулся в подвал. В тот день ему не принесли уже ни баланды, ни хлеба, ни воды. На следующее утро, приведя радиста на допрос, конвоир привязал его

веревкой к намертво вделанной в пол железной табуретке. Затем появились Геллерт с переводчиком, солдат принес им хлеба, вина, какого-то невероятно душистого супа в красивых тарелках, тушеного мяса в горшочках... Кочнев сидел, молчал, только безостановочно глотал слюну. А те разговаривали, смеялись, ели, пили вино и не обращали на пленного никакого внимания. То же повторилось на другой день. На третий день Гриша начал стонать и ругаться, на четвертый — только хрипел, на пятый, ощутив запах супа, — потерял сознание. Утром шестого дня гауптштурмфюрер показал лежащему пленнику на громоздящийся на столе узел грязной ткани:

— Гляньте сюда, Кочнев. Это парашют вашего коллеги. Испачкан, весь в земле, но это не имеет значения. Важно, что он перед вами. Если бы вы знали, сколько стоило труда найти его в степи! Но я понял, что вы сдадитесь только перед убедительными доводами. Я отдам его на экспертизу вместе с вашим, однако нас ее выводы уже не должны особенно тревожить. Теперь отпираться от того, что вы были не один, бессмысленно. При том вспомните, что сегодня срок моего ожидания кончается, и к вам могут быть применены меры физического воздействия. Станете молить о смерти, а ее не будет. Я постараюсь, чтобы вы протянули как можно дольше. Ну же, решайте!

Значит, Паша живой. Где-то здесь. Работает. А я попался, дурак. А может, и у меня все обойдется? Попробовать схитрить, обмануть их... Что они знают? Бросить крючок. Запутаются, факт. Что из того, что они будут знать больше, чем им полагается. Все отрицать, как раньше, бесполезно — парашют-то вот... Что бы я им ни сказал, ничего уже не изменится. Пашу я им все равно не дам. Ну, скажу частоты. Там все равно примут только мою руку. Во время передачи дам сигнал о работе под контролем. Ну что ж, попробуем. Тихонько, тихонько закидывая крючочек... чтобы не сбухал поплавок... на!

Он с трудом приподнялся на локте, поднял голову.

— Я... хорошо... дайте мне поесть... Пить...

— Если вы не будете упрямиться и держать язык за зубами, вам немедленно дадут куриный бульон и чай. Ну, что вы хотите сказать? Сколько вас было?

— Двое. Я и один капитан. Левушкин Сергей Дмит-

риевич. Все явки у него. Мы должны были освоиться, и я... начать передачи. Все... больше не могу...

Геллерт похлопал его по щеке.

— Сейчас вас накормят и напоят. Что, плохо быть голодным, а? Я же говорил: это ужасно. Особенно, когда едят у тебя на глазах. Но вы молодец, выдержали весь срок. Удивительно. По дороге сюда я с печалью, поверьте, думал о том, что произойдет с вами, если вы и сегодня не захотите говорить. А потом я сказал себе: «Нет, это невозможно! Он еще молодой и не такой глупый, чтобы не сознавать, что его ждет». Верно, Кочнев?

— Да, да... — покивал головой Гриша. — Ну давайте же поесть, негодяи.

Онпил, захлебываясь, теплый бульон, и Геллерт благодушно поглядывал на него.

— Сегодня отдыхайте и поправляйтесь. Завтра займемся делами.

Солдат-конвоир приносил в камеру то бульон, то кашку, то яйцо всмятку, то густые сливки, то молоко, то крепкий чай. К полудню Гриша встал, потряс одрябшими руками: и-да, ушла силушка... Трижды появлялся врач-молдаванин, делал вливания в вену.

За ночь он хорошо выспался, однако когда появился в кабинете перед глазами Геллерта, тот поморщился:

— Не сказать, чтобы вы сильно посвежели за эти сутки. Раньше брились каждый день?

— Когда как. Но обычно — да.

— Курт, прибор! Извините, руки мы вам свяжем сзади, а переводчик подержит голову.

— Зачем это?

— Обычная предосторожность. Вдруг вы захотите покончить с жизнью, вырвете у солдата бритву и разрежете себе горло?

— Зачем себе? Если уж резать, так или солдату, или вам, или переводчику. А меня после этого и так убьют.

Немец насторожился:

— Мне вдруг показалось, что я в вас что-то недопонял. Вы что, не боитесь смерти? Фанатик? Разве вы не могли, в таком случае, умереть от голода?

— Так ведь вы бы не дали. А мучиться-то зачем?

— Да, конечно, у каждого человека свой предел... Что ж, будем считать это вашей не очень удачной шуткой.

— Зачем шуткой? Руки-то вы мне не в шутку собираетесь связывать.

— Я же сказал: это вынужденная мера, — дернул головой гестаповец. — И закончим на этом!

Ну, перейдем теперь к главному нашему разговору, — сказал он, когда Кочнева побрили и солдат ушел с прибором. — Как нам найти вместе этого вашего капитана и людей, с которыми он должен установить связь.

— Но я правда не знаю явок! — воскликнул Гриша. — Уговор ведь какой был: мы встречаемся после высадки, находим место, где я должен схватиться с рацией и ждать. А он идет по адресам, проверяет людей, определяется с жильем. Вечером или ночью мы переносим туда рацию. Вот и все.

— Все неконкретно, все как песок между пальцев... И ничего не дает нам. Вы можете описать этого... Левушкина, да? Дать его словесный портрет? Есть у него что-то запоминающееся? Во внешности, может быть, какие-то физические аномалии?

— Нет у него ничего такого. Худощавый, рост средний, возраст тридцать — тридцать пять, смугловатый такой, усы... Пройдешь — не обратишь внимания, короче. Молдавским владеет в совершенстве.

— Что, знает его с детства? Или учил?

— Он служил в Молдавии до войны. У него на языки способности. Он говорил: месяц хожу, учу слова, слушаю, потом начинаю помаленьку калякать, а в конце второго месяца толкую свободно.

— Способный парень. Одет крестьянином, как и ты?

— Ну... под местного жителя.

— На какие имя, фамилию документы?

— Не имею понятия. Как-то... ряну, мяну, вяну... Попробуй разберись в ихних фамилиях! Нет, правда! Мне-то ведь это и не нужно было, зачем?

— Что же теперь — делать поголовную проверку по всему городу с вашим участием? Особых примет нет. Как его искать? Только проверка. Но у нас нет для этого нужного контингента хороших военных или полицейских сил. На румын и местных жандармов плохая надежда. Начнут грабить, бить и забудут про дело. Капитану не надо будет даже прятаться, они все равно его не заметят.

Пауза.

— Что ж, — продолжил Геллерт. — Выходит, господин радист, что вы нам и не особенно нужны. Радиоиграми и прочей хитрой атрибутикой занимается совсем

другое ведомство, наше дело — найти и обезвредить. И меня не оставят в покое, покуда я не приму всех мер по задержанию второго разведчика. Ход событий контролируется нашими вышестоящими службами. Передать вас им, что ли?

— Что от этого изменится?

— Ну, я хотя бы разделю ответственность... А прощѣ всего было бы вас расстрелять. Оправдание тому всегда можно найти. Но я вас поднял сегодня из пепла, и мне вас жаль. Вы сейчас стоите на краю страшной пропасти, младший лейтенант, это я вам заявляю со всей ответственностью. Осознайте ситуацию. В такие моменты мозг работает четко, память обостряется. Неужели нет ни места, ни имени, за которые мы могли бы зацепиться?

— Я слышал однажды вполуха, как с Левушкиным разговаривал наш майор из разведотдела. Так вот, в этом разговоре они несколько раз произнесли слово «рынок». Все у меня этот рынок в голове крутится.

— О, это важно! Вот видите! И что еще крутится у вас в голове?

— Ну... что все правильно. Рынок для него — главный центр, основная точка. Он же работает под крестьянина или под местного жителя. Для интеллигента центр — обычно другое понятие, а для простого человека — то самое, рынок. Он там может с кем угодно встречаться, и никто не заметит.

— Но на рынке дежурят полицейские и есть наши агенты, они нам докладывают о посторонних.

— Не всякого постороннего можно выделить. Я же говорю: он по виду обыкновенный молдаванин, да еще зачуханный.

— Я понял. Я понял ход ваших мыслей. И начнем сегодня же. Какой вы грязный, однако! Надо его переодеть, — обратился Геллерт к переводчику. — В такую же одежду, только чистую. И помыть. Хотя — не вызовет ли чересчур чистый вид подозрения у вашего товарища?

— Не надо было тогда меня и брить!

— Что жалеть о сделанном! Значит... если он не захочет к вам подойти?

— У меня ведь и у самого есть глаза и ноги.

— Хороший ответ. И что же вы ему скажете?

— Что велите.

— Отлично! Вы подвернули ногу приземляясь, вас

подобрал крестьянин, сочувствующий красным, вы живете у него в селе и сегодня приехали в город под видом его глухого родственника, в надежде встретить этого капитана Левушкина.

— Мы разговариваем, а вы, значит, в это время подбываетесь — и цап-царап?

— Какая чушь! — Гауптштурмфюрер развеселился. — Этот разведчик для нас вообще не главная фигура, нам надо выйти на явки, обезвредить подполье, без него он сам ничего не стоит. Рации у него нет. Без вас и без них он — нуль, понимаете?

— Можно, я буду находиться где-нибудь не на самом базаре? — спросил Гриша. — Там жара, вонь, не продувает, а я еще плохо себя чувствую.

— Жара, не продувает... что за слова для солдата! Но какая-то доля истины тут есть. Капитан может увидеть вас, затерявшись среди других людей, вы ему чем-нибудь не понравитесь, и он уйдет. Прежде чем прийти еще, много раз подумает.

— Но ведь ему нужна рация!

— Своя жизнь и жизнь агентуры важнее рации. От калитки в городской сад хорошо просматриваются и вход, и выход с базара. И там есть тень, это важно для тебя. («Вот уже и на «ты», — подумал Гриша. — Я теперь для него подчиненный, пешка. Ну, ладно...») Будешь стоять и смотреть. Увидишь — сразу иди к нему. Может быть, капитан захочет поехать в деревню, посмотреть, как ты устроился. Мы организуем такую поездку. Иди мойся и переодевайся, а я займусь своими делами.

16

Через два часа Гришу вывели во двор здания, посадили в зашторенную легковую машину и повезли. Геллерт сидел рядом на заднем сиденье и давал через переводчика указания:

— Судя по опросу жандармов и рыночных агентов, ничего особенного, бросающегося в глаза за последнюю неделю не зафиксировано. И незнакомые не терлись на глазах. Значит, этот капитан осторожный и хитрый человек. Если это так, он не поведет тебя сразу на явку: тебя долго не было, и ты нуждаешься в проверке. Но ему нужна рация! Стало быть, и ты ему нужен. Он начнет

форсировать твою проверку, понимаешь? Мы все время будем рядом, будем организовывать встречи и давать дополнительные инструкции. Сегодня прибывает человек для разработки порядка и текстов ваших радиопередач и их контроля. Будем, таким образом, работать втроем. Ну, дальше... Используй интуицию, свое понимание момента. Не вздумай делать глупости, за каждым шагом будем следить очень тщательно.

Машина остановилась; гестаповец вытолкнул Кочнева на дорогу, сказал: «С богом!» — и лимузин унесся, фырча мотором.

В вялом, знойном мареве на Гришу двигалась лошадь с телегой; в вознице он узнал кряжистого мужика, нашедшего его на кукурузном поле и сдавшего жандармам; в другом, сидящем на телеге, — самого жандарма, который тащил его с поля. «О, старые знакомые!» — подумал Гриша.

Кэруца остановилась. Полицейский, одетый на этот раз в крестьянский костюм, показал жестом: садись; мол, рядом.

— Чтобы я сидел рядом с тобой, живоглотом? — сказал младший лейтенант. — Или вот с этим? Ну уж извините, не дождетесь. Много чести. Лучше я рядом пешочком пойду.

Крестьянин что-то гневно крикнул, глядя на него, и хлестнул лошадь. Подвода тронулась; Гриша поплелся сзади. И жандарм прыгнул с телеги, пошел рядом.

— Ругается, — по-русски заговорил он, показывая на крестьянина. — Ругается, что ты... как это... тебе надо разговаривать. Ты глухой. Надо молчать. Я мало-мало знаю русский язык, работал у красных, строил казарму, был десятник. У меня был начальник, большо-ой командир, майор. Майор Горшков. Высо-окий. Он давал мне благодарность.

— Вместо благодарности-то надо было пулю в лоб тебе залепить.

— Э-э, пулю! — стражник усмехнулся, прищурился. — Никто не знает, какая пуля и когда залепится. Лучше садись в кэруцу, оставь *. Потеряешь силы. Мне сказали, ты долго голодал. Зачем мучаешь себя? Ведь сегодня может быть еще много дел. Садись в кэруцу. И не говори. Ты глухой.

* Солдат (молд.).

Голодание и вправду давало себя знать: пройдя за телегой совсем немного, Гриша уже еле тащился. Жандарм криком остановил подводу, помог радисту забраться на нее. Гриша лег на усталое соломою дно. Сердце бешено колотилось от усталости. Он перевернулся на живот, упер лоб в доску и заплакал. Какая дурацкая история! И то, что он едет сейчас, трясется в компании этих двоих... Они были страшнее самого Геллерта. Потому что они предатели своего народа. И считают его таким же, как они. Они играют в одну с ним игру. Надо только на нее однажды решиться, дальше все будет просто. За тебя подумают, тебе подскажут. Разработают текст, проконтролируют сеанс связи. И нечего притворяться опытным разведчиком, хитрецом и хозяином положения. Просто так во спасение работает мысль: думаешь, что кидаешь крючок другому, а глотаешь его всегда сам.

...И вот он стоял у калитки в городской сад, под зеленым пыльным деревом, когда увидел спускающегося вниз по улице капитана Мурашова. Гриша не переменял позы; огляделся, продолжая курить. Геллерт с переводчиком, в кепи, мятых провинциальных костюмах, изображая местных франтов, вели неторопливый разговор на ступеньках парикмахерской, метрах в двадцати. Еще один гестаповец в штатском сидел в садике, за забором. У этого обзор был отличный, и он был самым настырным, радист все время чувствовал на себе его взгляд. Четвертый валялся в грязной траве у штакетника, изображая пьяного селянина.

Да... это случай! На то, что капитан появится, Гриша никак не рассчитывал. Вот холера! И идет как ни в чем не бывало. Правда, был он не один, пристроился к компании возвращающихся с окраины людей. Недавно где-то там, сбоку, пролетели самолеты, и Кочнев слышал взрыв. Подходя к большой, под навесом, коновязи, Мурашов сбился с шага, и Гриша понял, что капитан увидел и узнал его. «Не останавливайся, не мешкай! Засекут!» Капля пота щекотно скатилась по спине. Гриша уже дернул рукой, чтобы вытереть подолом рубахи лицо, но опомнился: немцы могут принять жест за сигнал и насторожатся. Капитан тем временем за коновязью подошел к телеге и стал дергать колесо, словно проверяя, хорошо ли оно сидит на оси. Однако взгляд его Гриша все время чувствовал на себе. «Молодец, Паша!» Радист заплевал сигарету, опустил руку с окур-

ком — так, чтобы кисть не видел сидящий в садике. Чуть повернулся корпусом от стоящих у парикмахерской, словно бы меняя позу, и, отбрасывая окурок, резко махнул ладонью. Возвратился к прежнему положению.

Мурашов все понял. Он деловито попинал обод, сморщился, подвинул шапку на лоб. Пошел из-под навеса, свернул в сторону шумного базара, скоро Гриша увидел его выходящим из других ворот. И скрылся в ближайшем проулке.

Ну прощай, Паша. Довелось-таки свидеться. Гриша вспомнил, как в июне сорок первого, перед тем как начаться войне, он, сдав сессию в техникуме, приехал в свой городок. Пошел в сад и так же стоял у входа. Только тогда, там, под тем садиком текла внизу Волга... Ладно, пора!

Он оттолкнулся от столбика и двинулся к парикмахерской.

— Что такое? Что с тобой? — раздраженно спросил Геллерт.

— Ничего... Пойдемте, герр, обратно в ваши застенки. Никто не придет. Я сочинил. Наврал, короче говоря. Можете отправлять того, кто приехал радиопроигрывать. Просто хотел перед тем, как ваш венец надеть, чистым воздух дохнуть, белый свет увидеть, людей... Все увидел, теперь нормально... Готов, делайте что хотите.

Немец вскинулся, черты его омертвели. Словно слепой, он провел раздвинутыми пальцами по лицу Кочнева от волос до подбородка. Прошептал: «Гадина... Гадина...» Резкий, разрывающий живот удар опрокинул радиста на землю. Геллерт подскочил и твердыми, как дерево, носками туфель стал пинать его в пах. К нему присоединился переводчик.

Что же произошло с Гришей Кочневым? Жест его, уловленный Мурашовым, был скор, однозначен и не оставлял никаких сомнений. Уходи отсюда, от меня, и скорей! Попался, значит, попался... Как можно ему помочь? Да разве можно — помочь? Как пойдешь к нему, к этой калитке в садик, не зная, с какой стороны ждать опасность? Да, здесь не фронт... Там на случай возможного окружения, пленения капитан всегда носил на поясе противотанковую гранату. Рванул, да еще выждав

такое время, чтобы поразило как можно больше врагов, — уже, считай, жил и погиб не даром.

Будь он проклят, этот городишко! Да только так можно сказать о любом пригорке, любой деревне, хуторе, участке, которые приходится брать солдатам в бою. Все они проклятые, потому что стоят крови. А без них не обойтись, за каждый, хочешь не хочешь, надо воевать.

Гриша, чистый Гриша! Не пил вина, не любил девушек...

Капитан добрался до своего убежища, сел в яме. Это что же такое, господи!..

Вернулся со своей конюшни цыган, принес хлеба. Мурашов вяло сжевал кусок, запил водой. Старик настроился посидеть вместе, затеял разговор, но капитан молчал, и тот уплелся, кряхтя, в свою землянку.

Потом Мурашов тяжело задремал и во сне летел и летел куда-то на зыбком маленьком самолете; инструктор — это был убитый сегодня немецкий солдат — крикнул из передней кабины: «Приготовиться!» — и он вылез на крыло. По команде «Пошел!» бросился вниз, и тотчас у него оборвался купол. Под гулкий хохот с уплывающего вдаль самолета Мурашов летел в бездну и думал: «Сколько же мне еще осталось жить? Наверно, полминуты. Не так уж мало...» А кости начали крошиться сами собой, еще в воздухе, и он весь зашелестел, и чем дальше вниз, тем становилось страшнее...

Мурашов вскочил и завертелся в яме. Долго не мог опомниться. Фу, дурь какая... И вдруг вспомнил весь прошедший день и горько застонал, кусая губы: по летчикам с упавшего самолета, по радисту Грише Кочневу...

Стояла темная, звездная ночь. Вдали светили фары мотоциклов, ходили патрули с фонариками.

Когда-то, в голодное время, отец отвез десятилетнего Пашку на зиму в деревню, к своей матери. Муж у нее в гражданскую пропал неизвестно где, и она жила одна. Бабка была суровая старуха, даже жестокая, умела поставить себя на людях, тащила на горбу большое хозяйство: в нем были и лошадь, и корова с телушкой, и курицы, и всякий крестьянский инвентарь. Горбоносая, темная лицом, она работала с утра до ночи, и Пашка работал вместе с ней, да еще и бегал в школу за три версты. Конечно, она по-своему и жалела, и любила его;

иногда, глядя по голове, говорила: «Ты, Павлик, в нашу кровь пошел, в мою родовую». Это было очень высокой похвалой, потому что про деда она и слова хорошего ни разу не сказала, считая его пустяшным мужиком. На единственной фотографии видел Пашка курного, кудрявого, толстогубого русака. «Не верю я, что он военной смертью почил! — говорила бабка Дуня. — Это все его гармошечки, да кудри, да бабочки, да вино куда-то унесли...» Пашкиного отца она считала дедовым продолжением и тоже недолюбливала, хоть тот и был ее единственным сыном. Две дочери ее, мурашовские тетки, жили далеко: одна в городе за мастеровым, другую заезжий ухорез-кооператор увез аж куда-то под Архангельск. Они не гостились у строгой матери, и она не ездила к ним, была равнодушна к их детям — своим внукам. Так же бабка Дуня, впрочем, была равнодушна к Пашке — до тех пор, пока мальчик не прожил у нее зиму, и она не приникла к нему одинокой душой. И после любила на свете только его одного. Наверно, и сейчас любит. Если жива. Ведь ей семьдесят три года. Легко ли жить в деревне одной в таких годах, да еще в тяжкую военную пору? Последнее письмо от нее он получил в марте, там на обрывке серой бумаги большими буквами было накорябано: «Пашинька милой воин храни тебя господь ты один у меня берегись внучок молюсь денно и ночью...» И Мурашов писал ей даже регулярнее, чем домой. Наверно, если жива, опять пластается перед иконами, молит бога за Павлика. Судя по письму, она еще не знала к тому времени о смерти сына, старшего Мурашова. А после — ни весточки.

Молилась бабка страстно, иступленно и изнуряла той зимой себя и Пашку вечерними предыконными бедениями. Он еле заползал потом на печку. И засыпал. А через час просыпался, вылезал из постели и прыгивал на пол. Бабка к тому времени уже спала на своей кровати, прочно и глубоко. Он надевал штаны, катанки, рубаху, шапку, запахивал старый зипунчик, в котором когда-то бегал еще его отец, и выходил на крыльцо.

Голубой снег лежал на земле и на крышах темных изб. В лесу сишло и высоко вибрировал волчий голос. Шар луны катился по небу. Пашку сразу прохватывал холод, но он долго не уходил в избу. «Господи, превеликий! — восторженно думал он. — Пусть все злые люди умрут. Пусть Зорька хорошо отелится и принесет телушку. Пусть учительница не ругает меня за то, что на-

мазал в тетрадке. Пусть папка не будет пить и гулять, а мамка не будет плакать...» Звезды помигивали сверху, луна катилась дальше своею дорогой. Порой взухивала где-то буйная частушка. Скрипя снегом, Пашка поворачивался на крыльце и кланялся на четыре стороны света. Ему казалось почему-то, что так надо, чтобы мысли его долетели до бога. Визжала дверь, мальчик вступал в темные сени, оттуда в дом, где было тепло, пахло опарой для завтрашнего хлеба. Он раздевался, лез на печку и засыпал. На душе было спокойно. Изба сразу отгораживала его от других домов со снежными крышами, от леса с голодными волками, от черного неба с луной и звездами. Такими были Пашкины вечера в маленькой уральской деревушке.

Здесь вот, в дальней Бессарабии, куда занесла его судьба, — тоже черное небо по ночам, и звезды мигают, катится луна, — а даже и не подумаешь сравнить...

Тогда, в середине лета, за Пашкой приехал отец, чтобы отвезти домой, в город; бабка шла рядом с телегой, в которой они сидели, до самых деревенских ворот. Там она остановила лошадь, поцеловала Пашку, перекрестила его. Поцеловала и перекрестила сына. Отъехав немного, Пашка оглянулся. Бабка Дуня стояла и глядела им вслед. Такой он ее и запомнил надолго: в платке, со скорбным сухим лицом, кисти рук, темные от работы, холода и зноя.

И долго после не мог привыкнуть к домашнему мельтешению, вранью, приходам отца под утро, реву младшего брата Васьки, крикам и плачу матери. Он изменился за год, повзрослел, и все это стало ему чужим. Вера в бога помаленьку исчезла, но жил он как бы наособицу, на отшибе в своей неугомонной семейке.

Только лет уже в сорок пять отец стал смирять свой веселый гулевой нрав. Один из лучших заводских токарей, он жил, казалось, лишь работой и волей. И улета-ли куда-то заработки, Мурашovy жили плохо. Однажды сестра Верка пошла за хлебом в магазин, и люди нашли ее лежащей возле тротуара без памяти. Оказывается, девчонка по дороге потеряла деньги и так испугалась, что упала в обморок.

Мать Мурашова была дочкой уездного аптекаря. Отец когда-то соблазнил ее и уговорил уехать тайком от семьи вместе с ним жить в большой город. Скоро началась война, отца мобилизовали, и ей пришлось вер-

нуться обратно, уже беременной. Что там выпало на ее долю в родном доме — неясно, покрыто мраком. Когда отец вернулся в семнадцатом, приехал и увидел ее — боязливую, тихо ходящую, тихо говорящую, с глазами вечно на мокром месте, — он сказал ее отцу и матери: «Вы что же с девкой сделали? Разве она такая была? Что теперь делать — мой грех, мне за него и отвечать. Собирайся, Лиза, и сына собирай. А к вам — ни я, ни она больше ногой не ступим. И вы к нам не приезжайте, не приходите». И всю жизнь он их не признавал и перенес свою нелюбовь на материну сестру, Пашкину тетку, Серафиму. Та вышла замуж за инженера, переехала в город, и муж ее работал на одном заводе с Мурашовым-старшим. Но так они и жили чужими, хоть недалеко друг от друга.

Однажды прибежала тетя Сима, вытащила Пашку из компании ребят, играющих на улице, и повела к себе домой. «Пойдем, Павлик, милый, — лстиво говорила она. — Я тебе гостинец дам и кого-то покажу». У нее в горнице он увидел сидящих на диване чистеньких благообразных старичка со старушкой, у старичка были седые усы и бородка, одет он был в чесучовый костюм с жилетом. При виде Пашки захлипал, засморкался в платок. Старушка толкнула его в бок, оглядела Пашку, не подзывая: «Фу, как грязен, оборвыш... Видно, верно ты говоришь, Сима: опустилась Лиза так, что ниже и некуда. Злонравия достойные плоды, что ты скажешь! Все-таки классики порой удивительно точны в определениях. Надо ей помочь, как-никак она наша дочь. А мальчик пускай идет, дай ему конфет». Он схватил конфеты и убежал, раздал их ребятам. Вечером того же дня, лежа в постели, слышал, как отец с матерью говорили в крохотной, отгороженной ширмой кухне, и отец сказал необыкновенно суровым голосом: «Знай, Лиза: если возьмешь у них хоть копейку — не увидишь меня больше в этом доме. Никогда. Ты поняла?» — «Да господи, Андрюшенька...» Она заплакала, и Пашка понял, что мать сейчас трясет согласно головой и ловит отцовские руки: все-таки у нее не было на свете человека ближе и дороже его, и ничто не могло заставить согласиться на разлуку с ним.

И вот отца уже нет, Васька погиб на войне, Верка замужем, имеет свою комнату в соседнем бараке, а сама мать живет вдвоем с Нонночкой, дочкой капитана Мурашова...

Под утро Мурашов забылся, и тут же разбужен был старым цыганом. Тот ткнул его в бок:

— Вставай!

Мурашов вскинулся:

— Что, что такое?

— Гляди! — цыган показал корявым пальцем в сторону крайних домов.

Капитан высунул голову из ямы и увидел стоящего у изгороди человека. В черном полицейском мундире, с винтовкой за плечом. Он стоял неподвижно и вглядывался в развалины, в некогда испепеленную огнеметом местность.

— Кто это?

— Это немой полицай Пепе, — забормотал дед, и в голосе его слышался страх. — Он недаром пришел, стоит и смотрит, я знаю эту собаку. Он кого-то ищет. Надо ждать беды. Может быть, он охотится за тобой? Тогда уходи, оставь быстрее это место. А то и нам будет плохо.

— Да с чего бы ему знать, что я ночую здесь? Этот Пепе всего только раз видел меня, и то мимоходом.

— Значит, все-таки видел! Ну, тогда он тебя найдет. Ты не знаешь, какой у него нюх.

— Что же он не идет сюда?

— Наверно, боится. Чует, что здесь есть люди, но не знает, кто и сколько, и боится. Ах, какое несчастье, что он появился! Во всем городе людям нет от него покоя, а теперь он еще взялся за бедных бродяг. Самое страшное — Пепе ничего не берет, от него нельзя откупиться. Самая свирепая собака в префектуре.

— Не надо так нервничать, мош. Скоро сюда придут русские осташи, и Пепе не станет.

— Не знаю, не знаю... Кому есть дело до бедных цыган! Им надо выжить и сохранить Михая, дорастить его до мужчины, чтобы сохранился род. Смотри, смотри, уходит!

Полицейский повернулся и пошел по улице.

— Что творится, что творится! — бурлил старик. — После того как два года назад повесили на площади каких-то злодеев, была тихая жизнь, а теперь... Вчера днем кто-то застрелил немецкого солдата, а вечером эсэс и полицейские окружили квартал, где это произошло, и забрали в тюрьму всех жителей: женщин, детей,

стариков — всех. Я знаю, это заложники, они оттуда уже не выйдут.

Сердце Мурашова сжалось мучительно, больно.

— Пусть будет проклят тот, кто это сделал. Пусть бог оплатит ему на том свете неслыханными муками за то, что сгубил невинных.

— Неправильно говоришь, — силло сказал капитан. — Дурак ты, мош. Ведь идет война, тот человек убил врага. А в смерти других — и женщин, и детей — виноват тот, кто затеял войну. Ведь ни летчик, бросающий бомбы на город, ни артиллерист, обстреливающий селение, не знают, в кого попадут: в солдата или в ребенка. Но дело свое они все равно обязаны делать, иначе противник их победит. Так-то...

— Что мне, что тем невинным до твоих слов?

— Да замолчи ты!

— Тебе лучше уйти отсюда, — дед затряс седой грязной гривой. — Бери свой мешок и убирайся. Зачем этому месту новое горе? Пепе ищет тебя, а пострадать можем мы. Если не уйдешь, я передам домнуле надзирателю, что ты говорил про русских оставшей, и он отведет тебя в тюрьму.

— Куда ты меня гонишь, мош? — горько спросил его Мурашов. — В степи меня подстрелят или схватят стражники.

— У тебя же — ты говорил — есть пропуск на запад. Ну и иди туда, к себе.

— Есть пропуск... А если мне надо в обратную сторону, на восток, к Днестру?

— Выходит, ты обманул власти, выдавшие тебе этот документ, и даже самого домнуле? — Деда аж перекосило от волнения.

— Что ты заладил свое: домнуле, домнуле! Трусишь, мош! Я уйду. Только скажи — куда? Или помоги мне. И забудь. Спросят — скажи: был и исчез куда-то. Наверно, ушел своей дорогой. А если меня поймают, тебе не поздоровится, будешь отвечать за укрывательство опасного преступника.

А что оставалось делать! Приходилось страховаться, пугать старика, ведь задержи капитана или немой, или любой другой полицай — вмиг организуется запрос в указанное в документе село: действительно ли проживает в нем такой-то Федор Подоляну, верно ли, что убыл тогда-то, с такой-то целью, в таком-то направлении...

Дальше уж закрутится то, что и представить невозможно.

— Хорошо! — сказал цыган, тяжело дыша. — Бери свой мешок и пойдем вместе. Я знаю один дом, где раньше принимали и укрывали пришлых людей. Теперь хозяйка не занимается этим, боится. Но она жадная, а деньги у тебя есть. Только надо не начинать с малого при договоре, а назвать сразу большую сумму. Тогда у нее не хватит духу отказать. Пошли! Я накажу жене, чтобы она сегодня никуда не ходила, а оставалась здесь с Михаем, на всякий случай. Мало ли что! Зачем-то ведь приходил этот немой. А потом пойдем к бэдице * Анне, она укроет тебя, и будешь ждать у нее своих русских оставшей.

Переулками, переулками они вышли к небольшому дому с садиком. Цыган оставил Мурашова на улице, взял у него пропуск со справкой, постучался и вошел. Вскоре на крыльце появилась низкорослая, широкая в кости женщина лет пятидесяти пяти с морщинистым, замкнутым, ничего не выражающим лицом. Она с полминуты вглядывалась в капитана, затем снова скрылась за дверью.

Старик выкатился из дома потный, растерянный.

— Сошла с ума! Просит восемьсот лей. Такие деньги! Я говорю: «Опомнись, бэдица, такие деньги!» А она отвечает: «Такие времена, мош. В другие времена я беру меньше».

У Мурашова были такие деньги. Но, отдав их бэдице, он сам оказывался почти без гроша. Оставалось разве что на пару ковриг мамалыжного хлеба. Выбирать, впрочем, не приходилось, и он согласно кивнул.

— Она требует деньги вперед.

Покачав головой: «Ну, акула!» — капитан достал из сумки деньги и все их протянул мошу, оставив себе две маленькие бумажки. В сенях заскрипели половицы — видно, тетка следила в щель за этой операцией, подглядывала, чтобы цыган не уворовал часть денег.

Подхватив с земли мешок, Мурашов двинулся было за дедом устраиваться на новом месте, однако тот остановил его:

— Э, не торопись! Анна велела приходить только поздним вечером или ночью, когда стемнеет. Она не хочет, чтобы соседи видели тебя входящим в этом дом.

* Тетка, старшая по возрасту, здесь: пожилая женщина.

— Ну а сейчас куда мне прикажешь? — зло спросил Мурашов.

— Не знаю. Иди куда-нибудь, пересиди день. Не трогай только больше меня и моей семьи. Я ведь помог тебе, чего ты еще хочешь?

И он ушел. Мурашов же побрел по улочкам, сам не зная куда. Надо было как-то скоротать время до вечера, по возможности — не на людях. У одного из домов чахлый хромой молдаванин подколачивал забор. Капитан подошел к нему и остановился.

— Купи шапку, добрый человек!

Мужчина распрямился, помял сдернутую Мурашовым с головы баранью шапку.

— Что просишь?

— Ну, что... Ты сначала скажи, добрая шапка?

— Как сказать... — он поскреб ногтем в том месте, где был немного выщерблен мех. — Смотри чего за нее просить. Денег у меня все равно нет, а на обмен я бы взял. Дал бы немного хлеба, сыра. Или у меня есть ношенные ботинки, постолы. Я ведь сапожник. Хочешь так?

— Что дашь, то и ладно. — И, не дожидаясь ответа: — Понимаешь, я иду домой, в свою деревню, из дальней экономии. И вот встречаю вчера на дороге односельчанина, а он говорит: у тебя, Федор, родилась дочка! Ей уже две недели. Ай-яй-яй! А я спешил, думал успеть к родам. Что делать! Зайду, думаю, в город, возьму хоть вина, выпью за ее здоровье и счастливую жизнь. И денег нет — то, что заработал, отобрали в жандармском посту. Приду домой, крикну: принимайте, жена и дочка, какой есть, и скажите спасибо, что вернулся живой! Это у меня первый ребенок.

Мужчина подхромал к калитке, распахнул ее:

— Проходи. Эй, Мария!

Приказал худой маленькой женщине, похожей на девочку-подростка:

— Собери нам на стол в саду. У этого человека большая радость, поняла? Идем!

За столом Харлампий — так звали хозяина, — разлив по кружкам домашнее вино, сказал грустно:

— У нас вот нет детей. Врачи сказали: Мария не может их иметь. Я, когда узнал это, стал гулять с другими женщинами. А потом бросил. Чем, думаю, она виновата? Зачем добавлять ей страдания? Что ж, будем жить одинокими и умирать одинокими.

— Сейчас война, — осторожно произнес Мурашов. — Война, много сирот...

— Что сироты! Сироты — не свои дети. Не как у тебя. Ну, поднимай за свою дочку! Полностью, полностью вылей в рот! Вот так!

С выпитого вина, с бессонной ночи в голове у Мурашова быстро зашумело, помидоры не хотели браться в руки, выскальзывали из пальцев.

— Ну, и как же ты решил ее назвать? — допытывался сапожник.

— Нонна.

— Как... Нонна? Брось, Федор, это плохое имя, совсем не молдавское. Назови ее хорошим именем, по-нашему. Аурика, вот как ты ее назови!

Капитан бодливо повел головой:

— Нет. Нонна, и все. Не надо мне никаких Аурик. Была уже одна Аурика... да скурвилась, и наплевать на нее. Пускай будет Нонна.

— Аурика — это что, знакомая твоя была?

— Да, знакомая.

Над Днестром, да над Днестром
Ай, девушки гуляют... —

пискляво загалдел хозяин. Мурашов не знал этой песни и только подтягивал окончания. Скоро его, однако, смогло совсем, и он уснул, уронив голову на стол.

Его разбудила Мария. Он лежал в тени, на тонком, набитом соломой матраце. «Вот же хорошие люди», — подумал капитан, поднимаясь и встряхивая тяжелой головой.

— Харламий спит, — сказала женщина. — А тебе пора уходить, скоро вечер. Вдруг кто-нибудь донесет, что к нам заходил чужой. Явятся надзиратель, полицай или даже патруль, неприятностей не оберешься.

— Какие у вас неприятности! Разве вы плохо живете?

— У каждого свои, у кого большие, у кого малые, а без них не бывает. Возьмите свою шапку. Берите, берите, пока муж спит. Он бы не отдал.

— Да вы, я вижу, плакали, Мария. Что такое? На что-то сердитесь? На наше беспутное поведение?

— Если бы... Тут соседка прибежала... До сих пор люди кому-то жить мешают. На пустыре за городом, где

раньше лачуги стояли, старую цыганку с внуком полицаи застрелили.

Кровь больно стукнула в мозг Мурашову, желтые круги поплыли в глазах. Он с трудом потащился к калитке. Беда одна не ходит. Не ходит... Не ходит...

К развалинам капитан приближался осторожно, будто к опасному месту. Но не встретил по дороге, не увидел на окраине никого — ни жителей, ни полицейских, ни солдат. На пустырь ложились сумерки, и в них на фоне взломанной землянки с вывороченной крышей терялась сгорбленная фигура старого цыгана.

Дед сидел, оцепенев, над телом маленького Михая и гладил его восковое неподвижное личико. Чуть поодаль грузным кулем лежала мертвая старуха. Мурашов подошел, тронул цыгана за каменное плечо, сказал:

— Надо похоронить их, мош. Я помогу тебе.

— Нет, — ответил тот. — Я сам. Надо звать попа. Нет, пускай столяр сколотит гробы, я повезу их в церковь.

— Зачем? Они же невинно убиенные, им и так все грехи простятся.

Старик поднял голову:

— Ты не должен был приходить сюда и говорить со мной. Где твоя совесть? Это из-за тебя убили мою жену и моего внука. До того, как ты появился, мы жили спокойно и нас никто не трогал. Ты привел Пепе, привел полицейских. Теперь мне уж все равно, жить или не жить. И все равно, убьешь ты меня или нет. Но я хочу отомстить. Так давай схватимся. А живой похоронит всех мертвых.

Он вскочил и кинулся на капитана. Жилистыми скрюченными пальцами сразу полез к шее. Мурашов инстинктивно сильным ударом отбил его руки, вскрикнув: «Да что ты, мош?! Опомнись!» Однако дед, хрипло дыша, подступал снова и снова, пытался обхватить его за поясницу, свалить на землю. Мурашов дал ему подножку, цыган упал, и он придавил ему спину коленом.

— Ну вот что, мош, — сказал он. — Моей вины в том, что погибли Михай и твоя жена, нету. Их фашистские прислужники убили, они такие же звери, как хозяева. Дай им волю, они вообще всех бы поубивали. Фашист, он фашист и есть, от него ничего хорошего ждать не приходится. Их, а не меня давить надо. Ну ладно, прощай.

А если я и вправду в чем-то перед вами согрешил, тогда извини, это не со зла. Прощай, мош!

Он быстро зашагал в сторону степи. Старый цыган поднялся с земли, схватил горбылину из разрушенной крыши и побежал за ним следом. Но сил уже не осталось, он быстро выдохся, упал и громко завыл, кусая руки.

«Что за проклятое место! — думал Мурашов. — Разве отсидишься у бэдицы Анны, когда творятся такие дела!» Он вышел к восточной окраине города, к Ямам, чтобы переждать здесь ночь, и утром, когда ночные мотоциклисты уедут отдыхать, а утренние еще не успеют приступить к обязанностям, двинуться в путь. Он был готов ко всему. Если станут задерживать, у него есть шесть патронов в пистолете. Там поглядим, кто кого. В крайнем случае — будет смерть за смерть. И то хлеб. А может, ему все-таки повезет и он доберется до своих? Все расскажет. Да, не выполнил задание. Так получилось. Явок нет. Гришу взяли. Что-то он сможет рассказать сам — гарнизон, топографическая оценка местности. Ну, пусть накажут, если найдут какую-то вину! Зато он будет среди своих. Не то что в этом городишке, где беда может выскочить из-за любого угла и любое твоё действие может повлечь смерть других людей.

В старых глиняных разработках сохранились еще ветхие остовы больших сараев, где сушили кирпичи; рельсы, поворотные круги для вагонеток. Как везде в таких местах — запустение, высокая сорная трава. Мурашов хотел в одном месте опуститься в нее, нагнулся — тотчас в серой вечерней хмаре выметнулось вверх тело змеи, ее головка поднялась над примятой травой, зашипела, завибрировала раздвоенным язычком. Капитан отпрянул, кинулся прочь, содрогнувшись от ужаса и отвращения. Он вырос в краю, где эти твари никогда не водились, и не выносил их вида. Сколько их было в степи, когда он летом сорок второго топал к Сталинграду со своей ротой! Потревоженные гудением земли, близостью людей, машин, они так и шныряли под ногами. А когда наступила осень, стало еще хуже. В тех местах, где они должны были залечь на зиму и спать, шла война. Замерзающие, среди огня и взрывов, они искали укрытия и тепла. Но кругом не было другого укрытия, кроме блиндажей, тран-

шей и окопов, и другого тепла, кроме тела живого человека. И утром бойцы и командиры просыпались порою в неожиданном соседстве: одному гад заполз в рукав телогрейки, другому нырнул под нательную рубашу, на грудь, третьему опоясался вокруг шеи... Не всех удавалось снять нормально, иные кусали людей.

Он прилег за небольшим взгорбочком, где трава была выкошена. Положил под голову мешок и попытался уснуть, но не смог. Видно, днем, у сапожника Харлампия, выспался основательно.

Снова ночь под открытым небом! Солдатская да бродяжья доля. А как пахнет кругом. Все-таки у степи, у степных городов свой запах, ни на что не похожий.

Мурашов усмехнулся, вспомнив, как врал сегодня молдаванину про рождение ребенка. Надо же, что только не придет в голову, когда приспичит.

Пока они там пили и спали, на выжженный пустырь пришли люди и старательно, со знанием дела целясь, стали убивать мальчика-цыганенка и его бабу... Как те, наверно, бегали от них, старались укрыться, падали в ноги... А эти смеялись и настраивались на верный прицел. Как же казнить самих вас, какую придумать лютейшую смерть? Да, здесь гибель еще более жестокая, чем на фронте. Потому что не знаешь, откуда придет и какое примет обличье.

Потом перед Мурашовым, без всякой связи с предыдущими мыслями, всплыло лицо учительницы Аурики Гуцу. Как она говорила, вся дрожа и сжимая горло: «Чтобы я... бросила Иона! Я уйду вместе с ним! Или пусть нас убьют вместе! Я люблю его!..» И глаза ее нестерпимо светились. Впору позавидовать глупому, ничтожному Жоржику в галифе.

21

Мурашов женился в училище, на втором — последнем — году учебы, на Райке Сомовой, машинистке из училищной канцелярии. Райка была ладненькая русая девчушка, с неплохим голосом, она пела на концертах и нравилась многим курсантам. Но выбрала все-таки его. Началось с танцев, с разговоров, затем, раз за разом, он стал ее провожать, ходить с ней в кино. Восьмого марта они встретились на вечере в Доме Красной Армии, и, провожая ее домой, он сказал:

— Выходи за меня замуж, Рая!

Она остановилась, поглядела на него:

— Как-то ты... не так это сказал. Будто бы даже сейчас это для тебя не самое главное. Зачем хоть я тебе, а?

Он развел руками:

— Ну, как зачем... Ты хорошая девушка, нравишься мне. А мне уж скоро двадцать пять, пора обзаводиться семьей. В гарнизоне жена нужна. Без нее остается только службой заниматься.

Райка вдруг заплакала:

— Эх, ты! Ну хоть соврал бы, что ли: люблю, мол, тебя...

Павел сопел растерянно.

— Ладно, иди уж, увольнительная кончается...

— Так ты пойдешь за меня?

— Ступай, поговорим еще об этом, успеется...

Возвращаясь в училище, он думал: чего она хочет? Каждая девушка естественным образом должна стремиться выйти замуж. За нормального человека, с которым можно было бы жить без особенных тревог. Вот оцени с этой точки зрения человека, делающего тебе предложение, и принимай решение. Ну, любовь... Обязательно ли ей быть? Жизнь длинная, придет и любовь. А так Райка нравится ему, она простая, находчивая в разговоре, когда поет, ей хлопают многие люди, даже училищное начальство. Сколько курсантов хотело бы с ней дружить. Значит, ее выделяют среди других. Она и сама выделяется! Разве плохая жена для командира Красной Армии?

В субботу он пришел к ней на работу, в канцелярию.

— Ну как ты, что надумала?

— Что надумала... Бери завтра увольнение, и пойдем ко мне домой. Эх, Паша ты, Паша, Пашенька... — Тут же в коридоре, никого не стесняясь, она поднялась на цыпочки и поцеловала его. Он разволновался, до воскресного вечера все валилось из рук.

Жила Раиса вдвоем с отцом, заведующим райбанком. Афанасий Иванович встретил их в костюме, при галстуке.

— Знакомься, папа, это мой жених.

— Павел Мурашов... — он пожал короткую сухую ладошку. Райкин отец носил очки, редкие русые волосы зачесывал назад, к затылку. Роста он был одного с дочерью — Мурашову по брови. Квартира — кухонька, небольшая комнатка, и все. Зато отдельная.

За столом выпили немного; соблюдая приличия, поговорили о международных делах, затем Афанасий Иванович стал задавать разные вопросы.

— Вы... э... откуда родом? Ага. Так, так... Отец, мать кто, кем работают?

— Отец — токарем на заводе, а мать шьет дома... Швея, короче говоря.

— Так-так... Рабочий класс, да... Еще кто в семье?

— Сестра и брат.

— Яс-сно... Кладите вот селедочку... Рая, поухаживай за Павлом. А лет вам сколько, извините?

— Я с пятнадцатого года.

— О, порядочно... Поздно учиться пошли?

— Со срочной службы.

— Что, нравится военная профессия?

— Нравится, не нравится... Пока военные нужны, надо кому-то и служить.

— Ну да, ну да, какой разговор! А в перспективе на что рассчитываете?

— Какие могут быть перспективы у курсанта? — начал раздражаться Мурашов. — Стать комвзводом — вот для него самая ясная перспектива. А потом — кто его знает? — может, кривая и в генералы вывезет, а может, и до ротного с трудом дотянешься.

— Нет, вы меня правильно поймите, Павел: Раечка моя единственная дочь, и хочется, чтобы все у нее было нормально. Может быть, вам стоит подождать? Ты окончишь училище, прослужишь полгода, год, и тогда...

— Чего ждать? Хочет Рая — пускай сейчас за меня выходит. Мало ли что может случиться, если мы друг друга из виду потеряем.

Когда они вышли потом на улицу, Мурашов сказал:

— Вроде как папаша не очень доволен твоим выбором. Он, я так понимаю, хотел бы тебя за директора завода или хоть за майора отдать.

— Где их найдешь, таких-то, да неженатых! — хотнула Райка. — Ничего, Паша, держи хвост морковкой, тебе не с ним жить!

Свадьба у них получилась довольно скучная: пришли двое то ли друзей, то ли сослуживцев Афанасия Ивановича с женами, какая-то дальняя родственница, тихая тетка; заведующая канцелярией — Райкина начальни-

ца; три подружки по самодеятельности. Ребят из мурашовского взвода пришлось пускать за стол по очереди, иначе не позволяла теснота. Рядом с новобрачными сидел, ворочая глазами и отпуская шуточки, грозный начальник курса бритоголовый подполковник Ахметшин. Так что со стороны все выглядело почтенно. Не было родителей Павла, они послали письмо: поздравляем, желаем счастья, целуем молодую, примите благословение: отца-де не отпустили с работы, их цех делает срочный заказ, мать жаловалась на простуду, что кашляет с зимы и боится еще больше заболеть. Приехала сестра Мурашова Верка, она работала учеником бухгалтера в заводоуправлении, уже начала невеститься, и ей свадьба брата была интересна. Он-то знал, в чем действительно дело, и носил печаль и обиду в себе, никому не показывал и не высказывал. Коснись дело той же Верки или младшего брата Васьки, отец с матерью наизнанку бы вывернулись, пошли бы на что угодно, забыли бы все болезни и рабочие заботы, а приехали. Пашка же всегда был для семьи отрезанным ломтем, а когда ушел в армию — тем более. Может быть, все наладилось бы между ними, вернись он после службы домой, на завод, — так ведь и этого не случилось. Скорее всего мать уговаривала съездить поглядеть на новую родню, на невестку, а отец сказал так: «Надо будет — сами приедут. Наглядишься еще досыта! У нас лишних денег на дорогу да на подарки нет».

Когда гости стали расходиться со свадьбы, Верка ушла к тихой родственнице; исчез и Афанасий Иванович. Молодые остались вдвоем. «Ну что, будем убирать посуду?» — Павел кивнул в сторону стола. «Сейчас бегу, муженек! Может быть, мы с тобой, Пашенька, всю эту ночь будем посуду мыть да на полки ставить? Иди сюда, красный командир!»

«Слушай, — сказал он ей утром. — А дальше как? Я — в казарму, ты — сюда? Будем вприглядку друг с другом жить? Нет, я в принципе не возражаю, до выпуска два месяца, можно и потерпеть...» — «Еще чего! Эту-то квартиру ты куда девал? Подавай рапорт начальству как женатый человек, и обоснуемся здесь». — «Так ведь отец...» — «Отца пока не будет». Она обрисовала ситуацию: оказывается, у Афанасия Ивановича была сожительница, и он мог уйти на время жить к ней. «Если хочешь знать, квартира вообще может стать нашей. И жи-

ли бы как короли». — «Небось ты уже и короны заказала?» — «Не шути, Паша, это серьезно».

Что это серьезно, Мурашов убедился в вечернем разговоре с Афанасием Ивановичем. Тот пришел домой («Заскочил на минутку!» — объяснил он), расположился на диване, упер кулаки в колени:

— Павел! За последнее время я имел кое-какие контакты и навел кое-какие мосты. Все это — ради тебя и Раечки. В училище о тебе отзываются неплохо. Ударник учебы, недавно вступил в партию, командир отделения... Скажи: где ты сам намерен служить?

— Дело военное — куда пошлют.

— Я слышал: ты дал согласие на Дальний Восток? Там же тайга, тяжелый климат, далеко от центров.

— Все равно служить надо. Что там, что в другом месте. И потом — люди же живут! Мы их не лучше.

— Пускай туда едут несемейные. Зачем семью-то туда тащить?

— Я не люблю пустые разговоры.

— Есть возможность оставить тебя здесь, в училище, командиром взвода. Все-таки большой город, я буду вам помогать, и с жильем никаких проблем. Такая квартира на первых порах — это ведь мечта!

— Велика ли честь — из училища да снова в училище? Такому командиру доверия мало. Курсанты любят тех, кто приходит из войск. Нет, это не для меня. Сначала надо послужить.

— Да тебя, гляжу, еще уламывать надо. Что ж, Раиса, дочь, тогда за тобой слово!

И вдруг Райка поддержала мужа:

— Надоело мне здесь. Ты старый, папка, привык к одному месту, а нам свет хочется увидеть. Нет, поедем. Паш, я согласна. Только не на Дальний Восток, ну его совсем. Куда-нибудь на Украину. Где яблоки. Хочу пожить гарнизонной дамой...

— Так квартира...

— Что ты пристал со своей квартирой! Живи в ней вместе со своей Натальей Петровной. Мы свою получим.

Из этого разговора Мурашов сделал вывод, что тесть у него — мужичок хитрый и деловитый. Подъедет к кому надо и добьется своего, несмотря на скромную должность. Да, не повезло ему с мужем для дочери! Подстегнуть бы к нему такого же шустрягу и делать дела. Ладно, хоть Райка не лезла в эту мелочовку, слушала только Пашу.

Однако получилось так, что Мурашов поехал служить в Киевский Особый округ. Павел был уверен: или это тесть умаслил кого-то, или сама Райка сходилась к училищному начальству тайком от мужа. Она же знала всех в училище и могла найти такую лазейку. Но он не трепыхался особенно на этот раз, рад был, хоть отвертелся от жизни под боком у тестя.

23 июня 1940 года они с Раисой приехали в полк, расположенный в зеленом украинском городке, и только он принял взвод — полк подняли в ружье и двинули к молдавской границе. Сначала слилась воедино и обозначилась ранее рассредоточенная живая плоть дивизии, затем они вошли в большие массы войск, пересекавшие Днестр и идущие дальше, к Пруту. По дороге часть подразделений выходила из потока, оставалась в селениях. И полк, где служил Мурашов, встал гарнизоном в небольшом уездном городке. Вскоре к командирам поехали семьи; примчалась Раиса. «Ты теперь, Пашенька, бывалый воин, — заявила она. — Надо же, после училища — и сразу такой поход! И самое главное — без боев, вот это славно!» — «Хорошо, если дружественный народ, есть соглашение между государствами, а если нет?» — «Ну, что об этом думать! Пусть всегда будет только так...» Они сняли комнату у добрых, порядочных старичков молдаван и стали жить.

Жизнь гарнизонной дамы пришлась Райке по вкусу, по душе; после ухода мужа на службу она еще спала, потом готовила обед, ходила по подругам, читала книжки, а вечером бежала на репетицию. Она и здесь продолжала участвовать в самодеятельности и даже позже, беременная, на седьмом месяце, пела в хоре командирских жен на первомайском вечере. Они мало бывали вместе: днем он находился на службе, а возвращаясь с нее, уже не заставал жены дома, она была в клубе и появлялась лишь к ночи. Мурашов оставался в доме с глазу на глаз с хозяевами — дедом Константином и бабкой Надей. Старики ни слова не знали по-русски и общались с постояльцами с помощью жестов. «Нет, так тоже негодно», — решил Павел. Он завел тетрадь и записывал в нее каждый день по тридцать-сорок слов. Через три недели он уже понимал почти все, что говорят хозяева. Оставалось самое главное и самое трудное: уло-

вить связи между словами, склонения, интонацию, обороты, сам стиль чужой речи. На это ушел еще месяц. И однажды утром Мурашов обратился к деду с довольно сложной и длинной фразой: он готовит посылку, не поможет ли мош Константин подобрать хорошую молдавскую рубашку для отца? Старик аж остолбенел: ты говоришь по-нашему? Зачем же ты молчал и притворялся? Не доверял нам, следил? Мурашов пытался объяснить, что язык освоил только здесь, но дед не поверил, обиделся и стал держаться отчужденно. Молва об успехах лейтенанта докатилась до командира полка, и он как-то вызвал взводного в штаб. «Говорят, свободно толкуешь по-молдавски?» — «Так точно!» — «Молодец. Давай-ка вот что: сдашь взвод старшине и принимай роту в... — он назвал большое, около двухсот дворов, волостное село в тридцати километрах от уездного центра. — Там комроты попивает, запустил дело, не может найти контактов с местным населением. Иной раз суется решать вопросы, в которых ничего не понимает. Посоветуйся с политруками и берись». — «Товарищ подполковник! Во-первых, я сапер. Во-вторых, у меня нет опыта командования даже взводом, а вы говорите — на роту. Нет, я не подхожу, не может быть и речи». — «Что такое?! — закричал комполка. — Вы где находитесь? Как стоите?! Я покажу сапера! Я отучу не слушаться приказов!»

24

Мурашов уехал командовать ротой. Райка осталась в гарнизоне, ей скучной показалась жизнь без подруг, без самостоятельности, среди людей, не понимающих ее языка. В роте и взводные, и старшина были люди холостые, поэтому семейных контактов тоже не предвиделось. А Павла новые заботы захватили так круто, что он иногда и по две недели не заглядывал в полк, хоть по штату ему теперь полагалась лошадь, и он много времени проводил в седле. Потом началась осень, распутица, слякотная зима — все реже случалось провести ночь с Райсой, в ее жарких, опустошающих объятьях. По весне она как-то поскучилась и в конце мая сказала мужу: «Паша, я поеду рожать к отцу. Там хоть он у меня есть, да его Наталья Петровна. Неможется мне тут, то скливно стало. Тебя нет да нет, а другие — ну их, надоели...» — «Да ну, Рай! Чего ты скисаешь? Тоже командирская жена! Здесь полк, одна семья, любой о тебе по-

заботится, а там — кому ты нужна, кроме отца да его подруги? Вот дадут отпуск, тогда поедем вместе. Брось дурить, Рай!» — «Не отговаривай, Паша. Я знаю, где мне лучше. А в отпуск буду тебя ждать. Может, уж и не одна». Быстро собралась, он проводил ее на поезд — и отбыла. Мурашов не переживал особенно из-за ее отъезда: мало ли какая блажь придет в голову беременной женщине! Многие поначалу тоскуют в гарнизонах, особенно в строевых, линейных частях, где у мужей полно служебных забот. Потом появляются дети, семья обростает каким-никаким бытом, и все приходит в норму. Так и Райка — небось обкатается.

Сам он остался продолжать свою хлопотливую деятельность на посту ротного командира. С утра до ночи на ногах, и всегда голова полна забот. Большинство дел надо решать только самому, начальство далеко, и оно не любит, когда донимают по мелочам. А для новоиспеченного ротного что ни дело, то проблема. Начать хоть с того, что все три командира взводов состояли в должности взводных по два-четыре года. Выходит, что их обошли, назначив его. Как не быть обидам? Бывший ротный оказался хоть и крикуном, но со слабым характером, подраспустил подчиненных: бывало, что красноармейцы шлялись днем по селу без дела, ходили в самоволки, не гнушались чарочки. Командиры тоже были не без греха, поэтому на многое закрывали глаза. Мурашова встретили настороженно, и он растерялся вначале, не зная, с какой стороны взяться за дело. В полку и батальоне тоже не торопили, выжидали первое время, однако ясно было, что это ненадолго. Дело сдвинулось с места, когда он начал говорить с сержантским составом, — тут, кроме власти и авторитета командира, за него сработало еще солдатское прошлое, служба на границе в тех же младших сержантских должностях. Его приняли за своего, поняли, что он хочет и требует, — и это оказалось самым емким, действенным. А когда увидели, что он говорит с крестьянами, сельсоветчиками, основателями совхоза, организуемого в помещичьем имении, на их родном языке, как на своем, вникает, старается разобраться в чужой жизни, его признали и командиры, и красноармейцы. Потихоньку наладилась боевая учеба, дисциплина. Люди подтянулись. «В чужой стране веди себя так, чтобы граждане держали за образец!» — требовал Мурашов.

Через неделю после Раисиного отъезда в село пожа-

ловал сам командир полка и учинил роте проверку по всем линиям. Съездил в сельсовет. Все сошло благополучно. На построении подполковник зычно вынес благодарность личному составу, а Мурашову сказал: «Хорошо, лейтенант, так и держи. Большое дело делаешь. Если так пойдет, к Октябрьским праздникам на Доску почета тебя поместим. И к званию представим, чтобы соответствовало должности. Но это все потом. А теперь... ну чем мне тебя отблагодарить? Благодарность вынес... так ведь у тебя жена на сносях, что тебе эта благодарность! И зиму вы с ней, считай, врозь прожили. Отпуска отменены, сам знаешь... Но побывку постараюсь все-таки выхлопотать. В штаб дивизии пришел запрос: послать несколько командиров на трехдневную учебу по теме: новинки минного дела в армиях вероятного противника. По твоей специальности, совсем невредно будет обновить знания. Обязательно поедешь». — «Есть мне время по каким-то курсам разъезжать...» — «Ты меня, видно, не понял, лейтенант. Я ведь раньше сказал: на побывку. Чувствуешь, где учеба-то будет? И жену увидишь. Или ты по ней еще и соскучиться-то не успел?» — «Почему не успел? Обязательно успел...»

25

Все было как раньше, они жили снова вдвоем: Райка и Афанасий Иванович. Тесть обрадовался мурашовскому приезду даже больше, чем сама Райса. Если она вообще была ему рада. Она стала хмурой, улыбалась словно нехотя, гладила мужа по щеке не ласково, а скорее снисходительно. А Афанасий Иванович при виде его закричал: «А-а, командир роты! Поздравляю с высокой должностью! Я так и знал, что ты долго не заставишься внизу». — «Да это случайно получилось...» — слабо трепыхнулся Павел. «Ничего случайного не бывает, не бывает, запомни, дорогой мой». Мурашов удивился: неужели для Райкиного отца так важно, в какой должности он служит? Разве в этом дело? Афанасий Иванович впервые в тот вечер напился пьяный у Павла на глазах, обнимал его и высвистывал тонким голосом: «Мы красс'армия! Ура! Крас' командир — это самая почетная служба. У меня Паша... крас' командир...» Он долго шумел, не ложился. Уже за полночь Райка уговонила его, и супруги пошли посидеть вдвоем на кухне. «Что-то ты хмурая какая-то», — заметил

Мурашов. «Тяжело мне, Паша...» — «Понятно... Первая беременность — это дело непростое». — «Не только это...» — «А что, что такое?» — встревожился он. «Да ничего. Лучше не спрашивай сейчас. Да... Быстро ты примчался, как только я далеко оказалась. А когда рядом была — и не вспоминал. Летел в такую даль... хотел увидеть, что ли? Или — любишь меня, Паша?» — «Да вот командировка случилась, понимаешь». — «А-а, командировка...» Он недоумевал: что случилось? Чего она опять хочет от него?

И так кончилась как-то незаметно эта короткая поездка, и он укатил обратно. До начала войны, когда он вернулся в роту, оставалось всего три дня.

Потом было отступление — в зной, пыли, под бомбежками, с тяжелыми боями. И не раз он вспоминал и благословил Райкину мысль уехать перед родами к отцу, в Центральную Россию. Куда бы она поехала отсюда, как добиралась бы до тылов? Да наверняка еще родила бы по дороге. Даже жутко подумать. Когда и здоровому человеку, ничем не обремененному, не всегда выпадало остаться живым в той обстановке. Эвакуацию командирских семей провели спешно, но неизвестно, многим ли довелось добраться до тыла, тем более что и понятие-то «ближний тыл» утеряло прежний смысл в боевой обстановке, противник мог появиться везде, в самом неожиданном месте. Да еще и самолеты, висящие над дорогами...

К Оргееву мурашовская рота вышла в составе восьми человек, сам он был ранен в руку, но держался. В боях за этот город его шарахнуло уже более основательно: сзади разорвался снаряд, Мурашова оглушило, опрокинуло на землю, и три осколка ударили в спину. В санбате вытащили осколки, перевязали лейтенанта и отправили за Днестр. Оттуда в числе других тяжелораненых его отправили транспортным самолетом в глубь Украины, а дальше поездом — за Москву, на Волгу. Поправлялся он медленно: головные боли, судороги, вдобавок открылась рана на руке. Только в середине сентября он смог продиктовать и отправить письмо отцу с матерью и Раисе. За жену он переживал больше всего: как же, ведь она должна была родить еще в конце июня! Но сначала пришел ответ от родителей: они писали, что потеряли его, беспокоились, и хорошо, что он все-таки живой, а раны заживут; сообщали всякие домашние и слободские новости. И еще

он прочитал: «Да, Павлик, ты ведь теперь отец. 2 июля пришла телеграмма от свата Афанасия Ивановича, что родилась дочка, то есть ваша с Раей дочка, а нам внучка. А потом мы получили письмо от самой Раи, что дочь она назвала Нонной, но что же сказать, видно, это имя вы сами ей выбрали, а мы не станем спорить и говорить свое. Она очень переживала, что в тех местах, где ты служил, шли большие бои...» Прочитав письмо, Мурашов ходил сам не свой, то радовался: дочка родилась, такое чудо! — то тревожился: как-то они там? — то удивлялся: что за блажь была назвать девочку непонятым, во всяком случае, нерусским именем — Нонна? Ведь они договорились дать дочке имя Катя, а если будет мальчик — Андрей.

Весточка, которую он получил вскоре от Раисы, была довольно короткой: «Павел, мы с папой очень рады, что ты жив и поправляешься. Наша дочь Нонночка растет хорошо, когда смеется, у нее ямочки на щеках, все говорят, что она похожа на меня. Пока я не работаю, но жить становится все тяжелее, наверно, придется пойти на службу обратно в училище или куда, я не знаю. Желаем тебе скорее выздороветь. До свиданья. Рая». Вот так. Ни «целую», ни «желаю видеть», ни «твоя». «Рая», и все тут.

Здоровье Мурашова в это время пошло на поправку, и он сел за обстоятельное письмо жене. И в день выписки получил ответ: «Паша, не сердись и извини, но мы не будем с тобой больше вместе никогда. Конечно, сейчас война, и не надо бы военному узнавать такое, но ты же сам хотел этого и просил, чтобы я все объяснила. Да если бы я не приехала сюда и не почувствовала старое, я бы так не написала. Паша, я любила капитана Казакова, ты его знаешь, преподаватель топографии в училище. Между нами ничего не было, но я готова была на все, чтобы он обратил на меня внимание. В тот день, Восьмого марта, я встретила его в училище, отозвала в сторону и сказала о своем чувстве. Он ответил, что у нас ничего не выйдет, у него двое детей, и разводиться с женой он не собирается. А связи в училище, где все на виду и ничего нельзя утаить, — дело опасное и ненужное. И ушел. А я стояла как оплеванная. Отпросилась домой с работы, остаток дня проревела, а вечером пошла в Дом Красной Армии, чтобы развеяться. Когда ты предложил выйти за тебя замуж, я сначала растерялась, потом хотела посмеяться над

тобой. Но я к тебе хорошо относилась как к человеку, и еще — меня задело и удивило, что ты не сказал, что любишь меня. Просто — что тебе двадцать пять лет и тебе надо жениться, а я тебя в этом смысле устраиваю. И я подумала: какого черта? Так и ходить, униженной Казаковым, а этот хоть не будет, может быть, лезть в душу. С этой поры старалась думать только о тебе. Папа был против, он хотел сделать мне партию, но я его убедила. Ты не говорил со мной о своей любви, не хотел даже соврать, и я почувствовала, что это меня тоже унижает. Тебя будто не касалось никакое чувство, ты жил только своими делами. Потом вообще уехал от меня балакать по душам со своими подчиненными и молдаванами. Можешь возразить, что я ходила вечерами на репетиции. Да, ходила и все думала, что ты однажды запретишь, устроишь скандал, скажешь, что хочешь видеть меня вечерами рядом с собой. Но ты был равнодушен. Когда ты уехал командовать ротой, я крепилась, веселилась на людях, а по ночам плакала одна, потому что тебя не было. Мне захотелось на родину, где я жила совсем другим человеком, а еще — увидеть Казакова. В твой приезд на учебу я еще надеялась на что-то, а под конец поняла: бесполезно. Ты бессердечный человек, Паша. Делаешь только то, что положено, что надо, что прикажут. Дал ли ты душе волю хоть раз? Нет. И дочку свою я назвала по имени дочки капитана Казакова. Когда ей было две недели, я пошла в училище, чтобы его встретить, но мне сказали, что он уже на фронте. Это было для меня великое горе, но я сказала себе: ну и что же, что его нет? Ведь я его люблю, разве мало? Вот так, Паша. Я все решила написать честно, чтобы уж обрезать все концы и надежды. Зачем? Когда так получилось, не стоит возвращаться назад и начинать сначала то, что противно. Вышли сюда заявление о разводе. Девочка будет при мне, я ее выкормлю и воспитаю, а после войны разберемся. Я устроилась кассиром в кинотеатр, папа тоже работает, так что за нее не беспокойся. Не пиши больше и знай: старого не будет. Прощай. Рая».

В запасном полку его спросили: «Товарищ лейтенант, в каком качестве желаете продолжать службу? Вот тут в ваших документах первая запись: «Командир

саперного взвода», вторая: «Командир стрелковой роты». Очень нужны и те и другие. Решайте быстрее!» — «Давайте пойду на роту». — «Желаете быть общевойсковым командиром? Похвально, похвально...» — «Да мне все равно. Может, в пехоте хоть меньше на брюхе ползать буду». Ему действительно теперь было все равно. Мурашов принял роту, через неделю в бою под Можайском ему прошило пулей легкое, и он снова надолго угодил в госпиталь. Оттуда он послал Райсе денежный аттестат и просил выслать в письме две фотографии, ее самой и дочки. Обрато вернулся один аттестат, на нем чернилами написано было: «Адресат выбыл». Мурашов сделал запрос в милицию по месту жительства, оттуда пришло сообщение, что Мурашова Райса Афанасьевна проживает по старому адресу. Значит, сама выслала обратно аттестат и сама написала эти слова.

Для Мурашова это было страшным ударом. Еще целых два года он таскал по фронтам и госпиталям свой тяжкий груз. А в конце сорок третьего, на Ленинградском фронте, получил от матери такое послание: «Паша, к нам приезжала Рая с вашей дочкой Нонной. Паша, Рая показалась мне совсем не такая, как на карточке, где вы сняты вместе. Лицо красное, голос хрипит, курит. Но одета неплохо. Она сказала, что ушла от тебя, у нее сейчас совсем другая жизнь и вы даже не имеете переписки. Отца у нее то ли посадили, то ли он сам добровольно уехал, в общем, живет теперь на Севере и работает рабочим. Я хотела ей дать номер твоей полевой почты, но она отказалась, сказала, что это для нее все отрезано. А потом стала просить, чтобы мы взяли на время Нонночку и она пожила у нас. Вот ведь что было, Паша! Ну мы с отцом не могли отказаться, все-таки она твоя дочь и наша внучка, уйдет с матерью и может потом вообще потеряться и где ее станешь искать? Тем более что мы получаем довольствие по твоему аттестату. Когда мы согласились, она отдала нам дочкино свидетельство о рождении, попрощалась и ушла. А куда и зачем уходит, не сказала. И больше не была. Она ведь даже не знала, жив ли ты. Нонночка тоже была одета неплохо, и с собой у нее был узелок с платяницами, штанишками, чулочками и ботинками. Теперь она живет с нами, но, Паша, должна тебе сказать, что девочка не очень хорошая, с дурными привычками, врет, рассердится —

может стукнуть об пол что чашку, что блюдечко и ругается плохими словами...»

Мурашова аж пот прошиб, когда он читал это письмо в холодном блиндаже. Девочка нашлась, живет с его матерью и отцом! Но что же такое стряслось с Райкой? Ну, пускай идет своей дорогой. Для него теперь главное — дочка. Надо звать друзей, сообщить о радости. Только вот проглотить это материнo: «Девочка не очень хорошая...» Она не она будет, если не кольнет Павла хоть в одном письме. Он ответил ей так: «Ну, мама, зачем ты написала «девочка не очень хорошая»? Ей ведь всего два с половиной года. Воспитай ее! И не заставляй меня лить здесь горькие слезы из-за твоих слов, когда и так кругом огонь и смерть. Я знаю, ты пытаешься сделать мне больно из-за гибели Васи, но пойми еще раз, что я в ней нисколько не виновен, там нельзя было никого найти и ничего сделать...»

Младший в семье, Вася, любимец отца и матери, погиб под Сталинградом, простым солдатом; мать считала, что Павел, будучи командиром на том фронте, мог найти брата, определить в свое подразделение и спасти от смерти. Глупое рассуждение. Когда идут такие сражения — до родни ли, да и что может сделать в таких делах какой-то командир роты!

27

Под утро, подъезжая к Ямам, прошумела мотором машина. Шум потерялся в оврагах, нарытых когда-то людьми. Мурашов заворочался, но не проснулся. Лишь когда приглушенно защелкало, он встал. Осторожно вылез на взгорбок. Машина, пыля, катила уже к городу. Капитан подошел сверху к оврагу, в котором она только что стояла, и, осыпая сухую глину, начал спускаться. На том месте, где кончались следы колес, он нашел пустую бутылку из-под водки. Понюхал — запах свежий. Двигаясь к почти отвесной стене оврага, Мурашов увидел на желтой земле поношенный постол, самодельный башмак из кожи, и подобрал его. Повертел в руках, взгляделся.

Этот постол он узнал бы из тысяч других! Когда шли по аэродрому к будочке, где разведчики ожидали вылета, радист Гриша Кочнев зацепил ногой за валяющуюся проволоку и порвал свой башмак. Сам майор Перетятыко пошел к сапожнику из батальона аэродромно-

го обслуживания, принес оттуда шило с зацепочкой на конце, вар и моток грубых ниток. Вот же он, шов... У Мурашова перехватило дыхание. Возле края оврага глина была свежая, словно ее только что рыхлили. Он стал руками разгребать ее и уже на глубине сантиметров восьми увидел запачканную желтую пятку. Склонившись, стал рыть рядом — там была нога в постоле. Гриша! Мурашов выпрямился, оглядел место расстрела. Красным пятнышком лежал не遠деке детский башмачок. Судя по полосе взрыхленной земли, рядом с радистом было закопано еще несколько человек. Видно, вместе с Гришей убили и жителей квартала, где был найден мертвый солдат. Мурашов заровнял вырытые им ямки и пошел, шатаясь, прочь из оврага. Прощай, Гриша! От той садовой калиточки ты передал последний привет. Прощайте, незнакомые люди. Простите, если можно...

Капитан по перемышке между оврагами поднялся к месту, где спал и где остался его мешок. И лишь сел, опустив голову, как услышал резкое, визгливое:

— Пе-пе! Пе-е!..

Обернулся — полицейский стоял рядом и целился в него из винтовки. «Ну и бес! Видать, верно у него нюх собачий!» Мурашов встал, поднял руки. Немой довольно оскалился, и лицо его из-за этой улыбки казалось еще более жестоким. Он опустил оружие, держа палец на спуске. Двинул стволом: ну, пошел! Мурашов указал взглядом на мешок, но Пепе издал такой гнусавый пронзительный вопль, что капитан понял: полицейский до смерти боится его. И чуть-чуть только одно неверное движение — застрелит без всяких раздумий. «Однако... да, это попал! И — кому, главное! Тьфу ты!..» С поднятыми руками он взошел на небольшую горку. Немой был все время настороже; мелко ступая, он приблизился к месту, где лежал мешок, и поднял его. «Пе-е-пе!» — новое движение винтовкой. Надо идти. Будь ты проклят, образина неладная! Ну-ну, не надо... Пусть он образина, пусть немой, а вот сумел же найти и взять тебя, капитана Советской Армии, комбата, здорового мужика без изъянов... Но с раздражением и злостью пришел азарт, тело налилось силой, все нервы обострились и стали необыкновенно чуткими. Как на фронте, в том отрезанном для него мире. Он ступал все тише и тише, стараясь как можно больше приблизиться к немому полицейскому. И вдруг обернул-

ся вбок и слегка кивнул, словно давая кому-то знак. По идее, Пене тоже должен был, хоть на мгновение, отвлечься в ту сторону, однако смотреть, что там делает полицай, было уже некогда. Или пан, или пропал! Мурашов пружиной кинулся в ноги полицаю. Над его головой сгрохотал выстрел, пуля ударилась о сухую глину и отлетела куда-то недалеко. Пепе упал и завизжал. Капитан вывернул у него винтовку. Немой отгребал от себя руками, словно пытался оттолкнуть неизбежное. Слюни летели изо рта: «Пе! Пе! Пе! Пе-пе-е!..» «Что, сволочь, жить захотел? А те, кого ты убивал да в тюрьму таскал, не хотели? Умей хоть умереть достойно, гад!» Мурашов наклонился и взял его за горло. Он даже не почувствовал сопротивления тела: пальцы сделались как обхваты железных клещей. Полицай побил ногами, выгнулся и затих.

«Ну, врешь... — подумал Мурашов, стоя над убитым врагом. — Я отсюда не уйду. Гриша, Михай с бабкой, летчики, жители того квартала... как их оставишь? Надо что-то делать. Бить надо собак. Они у меня еще умоются». Капитан скинул труп вниз, на могилу расстрелянных, лег над обрывом, положил рядом винтовку с вынутыми из карманов Пепе патронами и стал ждать, когда приедет машина с новыми жертвами. Он теперь знал, что ему надо делать в этом городке.

Прошел день — машина не появилась, вообще никто не появился ни на дороге, ни в окрестностях. Изъятая у полицай кукурузная лепешка еще больше обострила голод, но самой мучительной была жажда. На исходе дня Мурашов понял, что сидение здесь может оказаться бесполезным: кто знает, когда появятся палачи с жертвами? Врагов надо искать. Он закопал винтовку и около полуночи стучал уже в дверь дома, где жила бэдица Анна.

— Кто это? — донеслось наконец из сеней.

— Я, бэдица. Тот человек, что отдал тебе деньги за приют. Я был со старым цыганом, помнишь?

— Нет, не помню. Иди прочь! Уходи!

— Не надо шутить такими делами, тетка. Это опасно.

— Опасно, опасно! Сейчас все опасно. Зачем я только связалась с этим цыганом... Тебя никто не видел?

— Что за разговоры... Открывай!

Тетка снова ушла в дом, и Мурашов увидел, как

засветилось окно за занавеской. Визгнул пол в сенях, и в появившемся между дверью и рамой зазоре возникла сначала керосиновая лампа, огонек ее нежно лизал изнутри стекло, затем обозначилось лицо бэдицы. Она взяла капитана за руку и повела за собой.

— Проклятые люди, — ворчала она. — Нет и нет мне от них покоя.

Старая разбойница! Это не люди, а их деньги не дают тебе покоя.

Запах теплого человеческого жилья окутал Мурашова. На столе стоял кувшин с водой, и он выпил его одним махом.

— Где ты был, где пропадал, ундэ рэтэчэшь а ты-та*, что такой голодный? — Голос тетки подобрел. — В каких был краях, какую искал добычу? Ты добрый мужчина. Сейчас я дам тебе хлеб, сыр и вино. А потом в подвал.

Мурашов съел все, выпил вино, и его потянуло на сон. По лесенке следом за бэдицей он спустился в подвал. Там возле одной земляной стены стоял шкафчик из старого дерева, уставленный разным хламом. Анна повозилась около него и вдруг, ухватившись за бок, потащила на себя. Шкафчик повернулся, словно дверь, и открылся обделанный деревом лаз.

— Иди туда! — бэдица показала на лаз. — Иди, не бойся. Еще у моей матери скрывались хорошие ребята. Сиди тихо! Там есть ход в сад. Если придут искать, уходи по этому ходу. Ты пойдешь завтра на свои дела?

— Когда стемнеет.

— Днем я принесу тебе еду. Ну, лезь! Сорвешь крупную добычу — не забудь бедную старую тетку Анну.

Мурашов втиснулся в лаз. Сзади раздался скрип задвигаемого шкафа, и стало совсем темно, исчез питающий мрак скудный керосиновый отблеск. Метров через шесть лаз закончился, капитан выполз на земляной пол. Зажег спичку — пламя повело вбок. Вот она, вытяжка, уходящая из стены вверх неширокая жестяная трубка. Капитальное убежище... Небольшой грубый стол, две табуретки, две накрытые коровьими шкурами деревянные лежанки. В головах — кожаные подушки. «Вот я и попал в настоящее подполье!» — невесело усмехнулся Мурашов. Полез по шаткой лестнице к деревянной дыре, тоже обшитой досками. Всунувшись в нее почти по пояс,

* Молодец-бродяга, искатель удачи (молд.).

он нащупал закрывавший ее сверху щит и сдвинул его. На лицо посыпалась земля, видно, наложенная бэдицей для маскировки. Капитан поднялся выше, голова его оказалась в саду, среди травы и корней. Шелестели листья, множество звезд обрамляло деревья. Повел рукой — вот ветка, другая, потом казанки пальцев ткнулись в железо. Бочка. Мурашов поставил щит на место и стал спускаться обратно.

Засесть здесь, дожидаться наступления и после прихода наших заявиться к бэдице в капитанской форме... Вот будет для нее сюрприз так сюрприз. Конечно, хитрая и жадная тетка живо повернет это обстоятельство себе на пользу: у нее укрывался советский офицер!

Но сидеть в надежной яме так просто — это шалишь! Свою войну он уже начал. Пока в городке есть полицаи, немецкие и румынские солдаты — он среди врагов. А врагов надо убивать. Каждый убитый — помощь своим войскам, своему батальону. Завтра он начинает свою охоту за ними. Есть нож, есть пистолет, можно натворить дел!

А в ночь, когда они вылетели с Гришей, в небе были высокие облака и дул ветер. Перетятко то садился на железное сиденье рядом с ними, то вскакивал и бежал к кабине, стоял там между креслами летчика и штурмана. «Ты успокойся, посиди, — сказал ему Мурашов. — Чего ты мешаешь ребятам?» — «Пусть чувствуют контроль! — отвечал майор. — А то завезут еще, с ними бывает...» Бывает, все бывает... Инструктор по прыжкам рассказал Мурашову недавно случившуюся в этом отряде историю: сразу после ночной выброски разведгруппы в эфир ушла радиogramма — в ней радист открытым текстом сообщил, что произошла ошибка в определении района десантирования: они были сброшены не на лес, а на открытую местность, на окраину города, в место расположения немецкой части. Группа ведет бой. Это сообщение пришло, когда самолет еще находился в воздухе. После посадки и заруливания на стоянку экипажу по радио приказано было оставаться на местах. К транспортнику подъехали два «виллиса», несколько офицеров из них прошли в кабину. Вскоре летчиков под конвоем куда-то увезли. Суд трибунала был коротким и безжалостным. Офицеров пригово-

рили к расстрелу, а сержантов из экипажа перевели в другие части. Сочувствия к расстрелянным, во всяком случае у Мурашова, рассказ не вызвал: зевнули, что-то напутали, недоучли, а в результате погибли люди, целая группа, сорвалась долго и тщательно готовившаяся операция. На войне за такие дела нельзя не карать, и карают сурово. В этой каре урок другим: глядите и помните! Вот во что могут вылиться забвение приказа, халатность и небрежное отношение к обязанностям.

Мурашов сам дважды в бою расправлялся с трусами и никогда не имел по этому поводу никаких сожалений. Таков закон боя! Об одном из них, молоденьком солдате Рочеве, замполит сказал: «Эх, парень, парень! Мальчишка, из темной деревни, первый бой... вот и дал деру, дурак...» — «Боец, находящийся в атаке и видящий в панике бегущего в тыл солдата, — тяжело отчеканил Мурашов, — не знает, мальчишка это или нет. Он только видит, что человек бежит. И думает: что такое? Атака сорвалась? Или передние ряды попали под кинжальный огонь? Может, пора уже падать, зарываться? Или тоже бежать обратно? И не смей больше жалеть их. Матери Рочева пусть сообщат: погиб там-то. Без «смертью героя». И без «смертью труса». А то затравят старуху... А в донесении укажи, как было».

...Легкий Як-6 нырял в ямы, дребезжал моторами. Мурашов наклонился к майору:

— Я не пойму только, откуда такая уверенность, что именно наша армия будет брать этот городишко? Сделают перегруппировку, нарежут другую полосу, и все.

— Ты кончай эти настроения. Что там начальство решит — нас не касается. Мы делаем свое. Кому бы что ни нарежали — все равно наше будет.

Он подошел к кабине, о чем-то потолковал и обернулся к радисту и капитану:

— Давай готовься, ребята. Кажется, подъезжаем.

Мурашов проснулся и насторожился. Сквозь толщу земли ему послышались тяжелые шаги по полу, грубые мужские голоса. Кто-то ходил в доме бэдицы и разговаривал. И ее голос доносился в подвал, только не слышно было слов. Он вылез в ведущий к погребу ход, толкнул закрывающую отверстие дощатую заслонку. Бесполезно. Заперто. Прислушался. Говор слышался, но слов

нельзя было разобрать. Внезапно все стуки исчезли, и стало тихо.

Мурашов пробрался обратно в конуру, отведенную ему для ночлега, и попытался выбраться наверх. Однако и верхний люк не поддавался, его придавили чем-то сверху. Вот так оказия! Капитан опустился на лежанку и стал обдумывать положение.

Может быть, тетка донесла властям, что у нее скрывается неизвестный человек? Но тогда до него добрались бы уже, а тут — тишина...

Часа четыре прошло, прежде чем стукнула заслонка и теткин голос долетел из подвала:

— Эй, уидэ рэтэчешть, а тыта, слышишь меня?

— Это ты приперла меня сверху, бэдица?

— Что же мне было делать! Сегодня утром в город вошло большое войско. Румынские солдаты. Их отпразднили жить по домам. Қо мне поселили двоих. Я испугалась и поставила сверху бочку, чтобы ты не стал вылезать у всех на глазах.

— Где они сейчас?

— Куда-то ушли. Поспали немного и ушли.

— Войско идет к фронту, к Днестру?

— Я не знаю. Они только что из Румынии.

— Оружие у них есть?

— Да, такие короткие ружья, что часто стреляют. Сиди тихо и никуда не шлайся. Они уйдут завтра утром.

— Солдаты сказали, когда вернутся?

— Да. Часам к пяти. Будут отдыхать, а вечером пойдут в кино.

— Сколько сейчас времени?

— Двадцать минут пятого.

— Мне надо выйти, бэдица.

— Не смей и думать! Сиди тихо. Я принесла тебе поесть, возьми.

Ногами вперед Мурашов нырнул в лаз. Отжал стенку вертящегося шкафа и оказался в подвале, перед испуганной теткой Анной.

— Зачем ты сюда пришел?! — злобно завопила она.

— Тихо! — Капитан достал из-под ремня пистолет и показал ей. — Только вздумай пикнуть.

— Ты хочешь их ограбить? — Глаза бэдицы сверкнули в темноте. — Не делай этого. Ведь они солдаты, у них ничего нет. Грабить солдата — большой грех, разве ты не знаешь? Потом, ты ограбишь и уйдешь, а я что

скажу им? Меня отведут в тюрьму. Не надо меня подводить, ведь я помогла тебе.

— Будешь слушаться, все обойдется хорошо. Лезь туда! — Мурашов подтолкнул тетку к лазу, ведущему в конуру, где он провел ночь. — Не упрямься, я не шушу с тобой!

Пыхтя и ругаясь, Анна втиснулась в отверстие. Капитан последовал за ней. Надо было торопиться. Вубежище он отрезал своим острым ножом кусок кожи от подушки, плотно свернул его и засунул тетке в рот — вместо кляпа. Связал ей руки. Наказав еще раз сидеть тихо, если хочет остаться живой, капитан вернулся в подвал и задраил люк, задвинул его шкафчиком. Вылез в горницу, опустил подвальную крышку. В сенях убрал дверь с засова. Сам покинул дом и притаился за старой сарайкой в саду.

Скоро прогрохотали ботинки — солдаты вошли в дом. Мурашов слышал сквозь открытую дверь, как они переговаривались между собой.

— У этих молдаван никогда не было порядка. Оставила дом открытым, а сама куда-то ушла. Долго ли до беды!

— Наверно, она ушла куда-нибудь недалеко. К соседям.

— Если к соседям, она бы увидела, как мы вернулись, и прибежала домой. Скорее всего она в саду. Я схожу за ней.

Раздались шаги, и тотчас рядом с углом, за которым притаился Мурашов, возник профиль молодого солдата. Он не успел увидеть капитана, даже сада, где собирался искать хозяйку, — Мурашов молниеносно схватил его за горло, и тот забился в его руках, пуская пену. Затем втащил труп в сарайчик, сдернул с него китель, натянул на себя; тихо двинулся в дом. Второй солдат, почувствовав движение неподалеку, крикнул:

— Это ты, Киореску? Нашел хозяйку?

Он стоял за столом, спиной к двери, и что-то чистил. Капитан ударил его ножом под лопатку. Пачкая кровью половицы, вытянул из дома и тоже положил в сарае. Сходил, закрыл на засов дверь.

Теперь надо было решать с теткой. Мурашов отодвинул бочку, стоящую на щите верхнего лаза, спустился вниз. Бэдица задыхалась от ярости, ворочала глазами. Он вынул кляп из ее рта, развязал руки. «Давай за

мной, тетка!» Она вскарабкалась наверх, пожмурилась от света.

— Чтобы тебя разорвало на мелкие части! — шипела она. — Я думала, ты ограбил меня, пока не было солдат. Но тебе не найти моих денег. И хоть что со мной делай, я не дам тебе их, не покажу. Что ты задумал еще, отвечай, разбойник, пакостник!

— Не шуми, — сказал ей Мурашов. — Ведь тебе же было сказано.

Он привел ее к сараю и открыл дверь. Бэдица охнула, захватила лицо. Ноги перестали ее держать, она грузно опустилась на землю.

— Что ты наделал... Что ты наделал... О-о, беда, беда-а-а!..

— Тебе надо уходить, тетка Анна.

— Куда, куда я уйду? Разве тут можно скрыться?

— Уходи куда хочешь, ищи место. Я должен был их убить.

На крыльце слышались шаги, и кто-то постучал в дверь. Тетка вздрогнула, лицо ее обтянулось, руки обреченно повисли. Мурашов больно ткнул ее в спину, сделал повелительный жест.

— Кто там стучит? — визгливо крикнула бэдица.

— Открой, хозяйка, — раздался мужской голос. — Мне нужны твои постояльцы. Они ведь дома?

Капитан мотнул головой, указал в сторону города. Анна закивала, лицо ее приняло осмысленное выражение.

— Их нет, они ушли!

— Куда? — удивился мужчина. — И когда они успели? Ведь договорились, что я приду к ним, мы условимся насчет вечера и тронемся вместе!

— Ничего не знаю. Господа солдаты вернулись и сказали мне, что уходят в город дотемна. Они только выпили немножко вина.

Солдат выругался и затопал с крыльца.

— Вот видишь, — сказал Мурашов бэдице. — Все будет хорошо, как сейчас, только не надо трусить.

Она встала, криво усмехнулась, хоть кисти рук ее попрежнему тряслись, и пошла в дом.

В горнице, где было свалено в углу солдатское снаряжение, капитан обнаружил два автомата, в каждом подсумке — по паре снаряженных запасных рожков; четыре противопехотные гранаты с длинными ручками. «Вот это хле-еб!» — обрадовался он. Бэдица стояла в

проходе между горницей и кухней и смотрела, как он укладывает гранаты и рожки в солдатскую сумку.

— Сожги этот дом, — вдруг сказала она. — Когда я уйду, ты сожги его. Лучше ночью, чтобы я успела спрятаться.

— Где же ты станешь жить, бедница, когда сюда придут наши осташи?

— Сожги! — Она упрямо топнула ногой. — Чтобы от него и от тех солдат в сарае остался только пепел.

— Тоже правильно. При наших тебе дадут другой дом. Я постараюсь, если останусь живой. Да тебе и так дадут. Ты уже заслужила.

— Не надо. Лучше буду остаток жизни нищей, свободной бродягой. Черт с ним, с этим домом! Прощай, ундэ рэтэчешть а тыта! Ты храбрый воин и правильно делаешь свое дело.

В окно Мурашов видел, как она с небольшим узлом. переваливаясь, шла по улице. Надо было тоже поторопливаться.

Мурашов переоделся в солдатскую форму, привычно надел ботинки с обмотками. Все не так страшно! Особенно когда при тебе целый арсенал. Главное — не обратить на себя внимание, а в больших скоплениях народа это нетрудно. Ведь тетка сказала, что в город вошло большое войско. Документы и деньги из обоих кителей Мурашов сунул к себе, в один карман.

Так. Пора идти. Он надел пилотку, глянул в зеркало. Нормально. Автомат за спиной, солдатская сумка на боку. Надо только запереть изнутри дом, чтобы кто-нибудь любопытный не зашел и не поднял шума раньше времени. Мурашов укрепил засовом дверь, перелез через садовый забор и оказался на улице. По ней издали, приближаясь к капитану, двигались трое солдат, и он поспешил от них в другую сторону: мало ли, может, здесь разместили один взвод, и все солдаты знают друг друга. Тогда недолго вызвать подозрение. Нет, скорее в центр, где больше народа!

Точного, определенного плана действий у Мурашова не было. Он рассчитывал, что обстановка сама подскажет, когда автомату стрелять и убивать врагов, гранатам рваться и тоже убивать. Сегодня никто не останется неотомщенным: ни летчики, ни расстрелянные жители, ни цыганенок с бабкой, ни радист Гриша.

«Я им умою рожи-то!» — думал Мурашов по дороге.

Наверно, окажись капитан профессиональным разведчиком, с обширной специальной подготовкой, рассчитанной на длительное об ж и в а н и е в месте заброски, он вел бы себя иначе. На грани разумного риска, но с ясным осознанием того, что в любой момент может оказаться в гестапо или сигуранце; он ходил бы среди людей, изучал их, слушал разговоры, выделял недовольных, искал бы ниточки разгромленного некогда подполья, просчитывал тысячи ситуаций и, возможно, сумел бы и легализоваться, и найти верных помощников для действий в решительный период. Вряд ли это было так уж трудно, тем более что война катилась к одному концу, и исход ее не оставлял сомнений для маломальски соображающего человека. Беда в том, что такой гибкости и приспособляемости мышления у Мурашова не было и не могло быть по самой сути его предыдущего военного бытия. Суть командной, да и любой другой жизни на передовой — четко поставленная задача и столь же четкое ее выполнение. Если можешь — перехитри врага, только подумай сначала, не дороже ли это тебе обойдется, чем открытый бой. И главное — убей противника столько, сколько сможешь. Этим ты приблизишь победу.

Ни тени, ни отзвука прежних тревог, неуверенности не осталось на душе у капитана Мурашова, лишь только он ощутил, что хорошо вооружен для боя и может выполнить прежнюю свою солдатскую задачу — убивать врагов. И тем приближать победу.

«Я им умою рожи-то...»

Первое, что он увидел, вступив на городскую площадь, — качающийся на виселице труп старого цыгана. Седая кудрявая борода развевалась на ветру. Старые пальцы босых ног изогнуты последним навоятным напряжением. Фанерка на груди: «Он покушался на жизнь стража порядка». Не ускоряя и не замедляя шаг, чтобы не обратили внимания, капитан прошел мимо и почувствовал, как тысячи мелких иголок впились в самое сердце. Мош, мош! На чью же это жизнь ты покушался, старый человек? Не на своего ли лучшего друга, домнуде надзирателя? Только вот не хватило, видно, уже силенок... Где бьется и тоскует теперь твоя душа? Пусть она успокоится, мош, хоть немного, посчитаемся и за ее тоску, и за многое еще другое...

А кругом, если присмотреться, происходила обычная жизнь тылового городка. Ходил задумчиво полицейский с винтовкой за плечом; три молодых румынских офицера в желтых мундирах о чем-то говорили и хохотали; пучеглазый торговец продавал вино и мамалыгу; скрипела телега с сухими шкурами; женщины судачили между собой; ребятишки, играя, с криками возились в пыли; тощая бродячая собака скулила у забора, пуская слюну... Пышная, ярко одетая молдаванка шла по площади, шелковая семечки, в сопровождении низенького, ей по плечо, гражданина Королевства, со сладкой улыбкой на злом лице. Гражданин шел резво, махал руками, и взгляд его метал огонь — видно, чрезвычайно цепкий был тип...

Целью Мурашова было теперь: сделать рекогносцировку, уяснить обстановку, выбрать место для боя и при первом удобном случае этот бой провести. Тут могли быть подходящими разные варианты: идущая строем рота солдат или просто скопление военных в одном месте. Однако не стоило и нервно торопиться: надо уж так стукнуть, чтобы стало действительно больно. Поддашься настроению — и можешь разменяться на мелочи.

Решение пришло, когда он остановился возле небольшого дощатого кинотеатрика. Там с афиш весело скалились зубастые летчики в шлемах, затаенно улыбалась пышноволосая блондинка. «Музыкальный фильм о жизни, дружбе, любви и боевых подвигах летчиков одной эскадрильи героического рейха» — так значилось в афише. Сеансов было объявлено два: «18.00 — для гражданского населения. 20.00 — для военнослужащих».

Экая удача! Вечер, темнота, толпа праздной солдатни... Надо проникнуть в кинотеатр, устроить там взрыв, а когда солдаты в панике попрут оттуда, успеть встретить их у выхода...

Так. Сеанс начнется через час с небольшим. Успеть бы сделать мину. Надо, надо успеть! Мурашов вернулся на площадь и вошел в разместившийся внизу двухэтажного дома магазинчик под вывеской: «Разные товары Негоицэ».

Плешивый толстогубый продавец откуда-то сбоку выбежал за прилавком:

— Что угодно господину солдату?

— Мне нужен будильник.

— Есть несколько прекрасных венгерских будильников. У нас здесь, к сожалению, этот товар не пользуется спросом. Кто привык вставать рано, тот встанет и так, а кто долго спит, тому тоже не нужен никакой будильник. А что, господина солдата плохо будят на службе? А? Хе-хе...

— Будят как положено. Перестаньте болтать!

— Слушаюсь, слушаюсь, господин солдат! Всего триста двадцать лей. Завернуть, да?

Мурашов открыл бумажник, посчитал найденные у убитых солдат деньги.

— У меня двести семьдесят три леи, — сказал он. — Больше нет. Но мне очень нужен будильник, господин продавец.

— Что же делать! Я не могу торговать в убыток, вы сами должны понимать.

Без будильника капитан все равно не уйдет из лавки, хоть пришлось бы для этого убить продавца. Но это уж только на самый край. Может подняться шум, и все сорвется. Да и чем виноват торговец? Хотя, если рассудить, частная лавочка, акула, холуй, ненужное лицо в будущем государстве.

— Я... я занесу.

Плешивец замотал головой.

Тогда Мурашов вынул из кармана массивный, оставшийся от прежнего владельца никелированный портсигар с выдавленной на крышке панорамкой богатого шпилями и острыми крышами города и протянул:

— Вот, дам в придачу.

Торгаш осмотрел вещь, цокнул языком:

— Как вам не жалко, господин солдат? Ведь это подарок. И стоит немало. Лучше пойдите и возьмите займы остальные деньги. Я, так и быть, подожду вас, не буду закрывать магазин.

Мурашов взял портсигар, прочел на обратной стороне: «Дорогому Георге от верной любящей Мариуцы». Отдал обратно.

— Если устраивает, забирайте. Это не мое. Я нашел.

Начинался вечер, на площади стало больше солдат и девушек. Низкое солнце светило в спину повешенному цыгану, розово подсвечивало рубаху.

Мариуца. «От верной любящей...» Как это радист Гриша говорил: «Твоя, твоя!» — мне пела Мариула...

Не дожدهшься ты, Мариуца, своего Георге.

В придачу к будильнику Мурашов выпросил за портсигар моток бечевки и квадратную досочку с масляной аляповатой картиной: возле деревни на лужку парни и девушки пляшут народный танец «Жок». Впрочем, то, что на ней нарисовано, не имело значения для капитана, доска нужна была ему для другой цели.

Теперь требовалось укромное, тихое место, где можно было бы сосредоточенно, не отвлекаясь, заняться делом. Мурашов смекнул: дом тетки Анны недалеко, минут семь ходьбы, и если еще не «засвечен» по какой-то причине, то лучше его нет. В центре не спрятаться, в любой момент может помешать кто угодно: любопытные, праздный офицер или даже патруль.

Нет, возле дома бэдицы не грудились люди, никто не знал еще, что случилось час назад за его забором и стенами. Капитан перелез через забор и устроился за домом, чтобы не видели с улицы. Достал подобранный по дороге ржавую проволочку, потер ею о скобу, счищая ржавчину. Разложил гранаты. Так. Взрыватели все на месте. Осторожно, прижав рычажок на ручке, вынул чеку из одной гранаты, вставил вместо нее проволочку и загнул ее с обеих сторон. Снял заднюю стенку будильника, сложил вчетверо нитку и один конец привязал к стерженьку, приводящему в действие механизм звонка. Другой — к проволочке. Теперь для того, чтобы сработал взрыватель, надо было, чтобы стерженьек в определенное время качнулся, потащил нитку и та выдернула из отверстия проволочку с разогнутым предварительно концом. Мурашов проверил несколько раз — все нормально. Шухер должен получиться хороший. Он намертво привязал бечевкой к доске гранаты и будильник, проверил еще раз проволочку — не разогнулась и не выпала бы по дороге! — выпил на кухне у бэдицы воды и, жуя на ходу найденный там же хлеб, пошел теперь уже прямо к кинотеатру.

Солдат возле него было много. Полк, не меньше, вошел утром в городок. Еще и в кинозал, поди, не попадешь. Есть ведь и здешние части: запасной кавалерийский эскадрон, при котором кормился старый цыган, да солдаты из комендатуры, да охранный взвод эсэсовцев. Крепко придерживая сумку, Мурашов протолкался ко входу. Там стоял патруль, наблюдая за порядком. «Слушай, как мы туда все влезем?» — спросил капитан у ку-

рившего сигарету солдатики. «Говорят, потом будет еще один сеанс, — ответил тот. — Да ребята не все пойдут в кино, кому охота там преть в духоте. Сейчас зайдут желающие, а остальные все разбредутся — кто искать и пить вино, кто играть в карты, кто на танцы в сад. Но я схожу посмотрю эту картину, еще успею на танцы». — «Идем вместе! — предложил ему Мурашов. Вдвоем, конечно, было сподручнее. — Идем, там угостимся. У меня есть две фляжки с вином. На, выпей! Хозяйка выставила нам две большие бутылки, чтобы война обошлась для всех удачно, и мои друзья остались доканчивать вино. А я решил пойти развеяться».

Солдатик приложился к фляжке с бэдицыным вином и захлюпал. Оторвался, покивал благодарно головой, похлопал влажными глазами. Тут прозвенел звонок, и они, уже как два товарища, пошли ко входу. «Проходи, проходи спокойно! Не толкайся!» — кричал офицер, начальник патруля. Маленький кинотеатрик всасывал внутрь негустую солдатскую струю. Надо было не выказывать настороженности, не вызвать подозрений у патруля; для этого лучше всего спрятаться за разговором, и Мурашов, фыркая, стал рассказывать солдату: «Наш капрал подбирается к хозяйке: говорит, что если у него все выйдет, он заставит ее выставить еще бутылку вина. Но мы смеялись, когда он это говорил: разве с такого вина может выйти что-нибудь приятное для женщины? Только наоборот...» Солдат согласно кивал и подсмеивался, видно, ему нравился новый друг.

В зале Мурашов кинулся занимать место в средних рядах, чтобы больше был радиус поражения от разорвавшихся гранат. Ему удалось сесть в самом центре зала. Солдатик устроился рядом, боязливо поглядывая: вдруг придет офицер и сгонит? Но офицеры расположились двумя рядами ближе к экрану. «Ты откуда? — допытывался сосед. — Не из автороты? Из взвода связи? Мне кажется, я видел тебя со связистами». — «А ты сам?» — «Из минометной батареи». Сообразив по опыту, что батарея эта — единица в стрелковом полку довольно обособленная, вряд ли солдат из нее имеет обширный круг знакомств, Мурашов бросил: «Я из первого батальона, автоматчик». — «Из батальона капитана Рэндулеску? — обрадовался солдатик. — У меня там в третьей роте служит земляк, Петря Думитреску. Мы с ним из-под Ботошан. Ты знаешь его?» — «Кто же не знает Петрю Думитреску! Но давай поговорим после,

когда кончится кино. Найдем Петрю и пойдем ко мне. Там выпьем и потолкуем». Тот радостно закивал. «Не надо было мне с ним связываться, — подумал Мурашов. — Вон какой попался любопытный. Не дай бог, начнет вязаться, когда стану уходить. Надо что-то придумать...»

— Тихо!—крикнули от кинобудки, и зал затих. Тотчас погас свет, затрещал аппарат, и на экране появилось изображение. Сначала шла хроника. Антонеску награждал солдат; потом немецкая подводная лодка торпедировала корабль, видно было, как люди прыгали с него в воду, вдруг судно стало кверху носом — и черный столб на месте гибели; вот экипаж лодки вкусно жрет, утирая пот и улыбаясь в объектив, вот его встречают на базе, играет оркестр, дамы машут, плачут, и какой-то мальчуган бежит по пирсу навстречу бородатому папе. Отец подхватывает его, целует, тоже трет глаза... «Любишь своего-то... сволота поганая...» — у Мурашова аж челюсти свело от ненависти. Потом танкисты отличились где-то: сначала был бой, горели наши танки, лежали мертвые бойцы. А после боя веселые солдаты играют на губной гармошке, рядом едут на танках, высунувшись по пояс из люков, их товарищи, тоже смеются, машут руками; танк остановился, немцы вышли из него, подошли к костру, сели на корточки и начали жрать с довольными улыбками... Под конец показали, как раненый солдат проводит отпуск в деревне, среди родных и земляков. Тоже улыбки, пейзажи, рассказы отпускника. Даже в этом коротком сюжете герой дважды ухитрился пожрать: утром — в кругу семьи и вечером — с друзьями, за пивом. Все хорошо снято, на первоклассной пленке. «Ну, жрите, — злобно думал Мурашов. — Сегодня ргнется вам...»

Журнал кончился, побежали титры фильма, зазвучала музыка — то нежная, то суровая. Возникла идущая точным строем эскадрилья «юнкерсов», парни с мужественными профилями на фоне кабинных переплетов двигали рулями, что-то четко барабанили по радио, по ним стреляли с земли вахлаки-красноармейцы, комически бежали в страхе среди взрывов. Понеслись бомбы, земля внизу усеялась пятнами. Сбили советский истребитель, в кадре мелькнуло искаженное ужасом лицо летчика. Затем возник какой-то бар, там пела завитая блондинка... Дальнейшее Мурашов воспринимал уже на уровне невнятного экранного мельтеше-

ния, ему было не до сюжета. Время подпирало, и надо было готовиться. Еще у бэдицы, когда готовил мину, капитан поставил будильник на девять, на время, когда с начала сеанса пройдет час. Люди увлекутся картиной, немного устанут и меньше обратят внимание на его уход из зала. Ему же надо будет после выхода из фойе обойти кинотеатр снаружи и встать после наготове у выхода. Вслед за взрывом в зале начнется паника, все уцелевшие валом, топча опрокинутых, понесутся к двери на улицу. Отличная возможность! Он встретит их с автоматом и запасными рожками. А потом попробует уйти — сначала к землянке, где жила цыганская семья. Отдышится там — и в степь, на восток! И пусть хоть один патруль задержит его. Подстрелят возле кинотеатра или по дороге — ну что же, чему бывать, того не миновать, по крайней мере здесь, в этом городишке, он сделал все, что смог, что оказалось по силам.

Сосед сопел, хохотал в смешных местах. Тайком от него Мурашов заглянул в сумку, сквозь выпуклое стекло будильника увидел стрелки.

Без пятнадцати.

Пора.

32

Он встал, тронул соседа за плечо. «Что, куда ты?» — «Надо выйти. Приперло, бывает». — «Вот какое вино выставила вам хозяйка! — затрясся солдатик. — Такой же результат будет у вашего капрала!» Сзади шикнули, минометчик замолк и поджал ноги, пропуская Мурашова. Солдаты глухо ворчали, когда он выбирался из своего ряда. Оказавшись в узком проходике, капитан облегченно вздохнул: ну, слава богу! Раздвинул застывших возле двери солдат, которым не досталось мест, и вступил в фойе. Тотчас же его окликнули:

— Рядовой, подойдите сюда!

Начальник патруля манил из угла пальцем. Рядом застыли двое солдат. «Этого еще не хватало...» Чеканя шаг, Мурашов приблизился, вытянулся. Если сейчас что произойдет, спасения нет, он не успеет даже схватиться за автомат. Но, подумав об оставленной в зале mine, успокоился. Сторожким, быстрым взглядом обложенного зверя стриганул по маленькому зальцу. Никого, кроме патруля, нет. Значит, еще не все потеряно. Нож можно успеть достать. У входа, правда, покуривал, опер-

шись на стену, некто белесый в черном гестаповском мундире, фуражке с высокой тульей. Но ни на патруль, ни на Мурашова он не реагировал.

— Куда вы отправились? Почему покинули кинозал?

— Извините, господин лейтенант, необходимо стало выйти.

— Разве вам не зачитывали приказ по армии? Где запрещается покидать зрелищные мероприятия для военнослужащих до их окончания во избежание участвовавших диверсий? Где вы были, когда ваше подразделение знакомили с этим приказом?

— Я... господин лейтенант... — язык Мурашова еле ворочался, он понял, в какое положение угодил, и вид имел по-настоящему обалделый. — Простите, господин лейтенант, видно, я был в наряде... или не знаю где...

— Глядите-ка, «не знаю где»! Молдаванин?

— Так точно. Бессарабец.

— Заметно, — лейтенант подмигнул патрульным. — Ступай и терпи.

Мурашов вскинулся: «Есть!» — четко повернулся и исчез в зрительном зале. Вдруг человек в гестаповском мундире спросил звучным голосом у начальника патруля:

— Лейтенант, почему вы не проверили документы?

— Господин гауптштурмфюрер, — растерянно ответил офицер. — Я подумал, что нет необходимости строго спрашивать с отсталого бессарабца. Поговору можно понять, что он из захолустной молдавской деревни. И мне кажется, что я его знаю, видел раньше в полку.

— Он никогда не служил в вашем полку, и перестаньте болтать! Немедленно организуйте два поста у выходов из кинозала. Чтобы мышь не прошмыгнула! Имейте в виду, что дело серьезное и может иметь очень жесткие для вас последствия. И посты снаружи у всех дверей. Выполняйте!

Человеком в гестаповском мундире был гауптштурмфюрер Геллерт. Он понимал, что патруль винить особенно нельзя, что и сам поздно спохватился, когда солдат уже ушел в зал.

Геллерт пришел к кинотеатру потолкаться среди румын, глянуть, что представляет собой этот сброд, ко-

торый намерены использовать на передовых позициях. Главный удар, конечно, примут немецкие дивизии, а они только будут ждать момента, когда можно задрать руки. Скоро, скоро начнется, и черт знает, чем кончится. Может случиться такая катастрофа, какой рейх еще не переживал. И реален шанс так и остаться, истлеть в этой степи, пасть от руки если не русского солдата, так оголтелого дезертира. Здесь все может случиться. Немыслимая страна!

Потолкавшись среди румын, Геллерт пришел в еще более тяжкое, дурное состояние духа и зашел покурить в фойе, очищенное патрулем от солдатни.

И здесь он увидел этого человека.

Сам выход его из зала гауптштурмфюрер пропустил и обратил на него внимание, только когда тот громко затопал к патрулю. Солдат шел спиной к нему. Лицо Геллерт схватил лишь в короткое время поворота и следования обратно в кинозал. И дрогнул, спохватился уже после того, как спина солдата исчезла в темном проеме.

В аккуратной с детства, оттренированной службой памяти четко возникло небольшое пространство перед городским садиком, нешумный рынок за забором, русский радист у калитки, сам он, стоящий с переводчиком возле парикмахерской, мужичок с лицом солдата, только что плевшего что-то патрулю...

В свитке, бараньей шапке, постолах, он появился со стороны улицы, по которой тек ходивший смотреть на упавший красный самолет народ. В одном из проулков, мимо которых шли тогда люди, позже обнаружили солдата, убитого умело и коварно. Мужичок зашел под конский навес, что-то поделал там с телегой, с удрученным видом вернулся на спаленную зноем улочку — и исчез в рыночной калитке. А вскоре после его ухода задурил, заморочил голову радист. Стал смеяться и все смеялся, даже после, плюя зубами, рычал: «Хы-га-а... Ну, ловко, ловко я... спасибо тебе, паскуда немецкая, за то времечко на воле, что ты мне организовал... Хы-га-а-а...» Еще бы не спасибо! Теперь Геллерт понял, что имел в виду радист. Вот где всплыло лицо, отмеченное и зафиксированное какой-то клеткой памяти. Слились в единый ход событий смерть солдата, появление мужичка возле рынка, безрассудный поступок радиста.

Однако как разведчик оказался именно здесь, в кинотеатре, среди солдат румынской части, задержавшей-

ся на день в городке? Может быть, разложение войск? Это очень опасно, да и трудно в это поверить. Ведь надо внедриться в подразделение, стать своим человеком, разобраться, что к чему в сложном механизме части. И никто его поначалу укрывать не станет, следовательно, необходимо приткнуться во взвод, отделение, попасть в списочный состав. Для этого надо иметь как минимум верных людей, а их у русского не могло быть в этом полку, ведь вчера еще никто не знал, что он по дороге на фронт остановится в городке. Однако этот... гауптман, да... здесь, среди румынских солдат, смотрит кино! И пытался только что выйти. Ну, достать мундир — не такая большая проблема, его можно снять с убитого солдата, купить у расторопного унтера-хозяйственника... Вопрос в том, зачем он здесь оказался? Не затем же, в самом деле, чтобы поглядеть немецкий фильм. Хотел выйти на середине сеанса... Оставалось предположить: что-то он там оставил. Оставил — и поспешил покинуть кино. Ну, положим, так. Только зачем, ну зачем, кому это надо?! Какой смысл разведчику, офицеру рисковать жизнью, чтобы убить несколько человек из слабой армии, абсолютно духовно не настроенной ни на какие сражения, готовой побежать или сдаться при одном виде русских танков? Что-то, а настроения среди румынских солдат были известны Геллерту очень хорошо. И изменить их не удавалось даже самыми жестокими репрессиями. Наоборот, командование и пропагандистский аппарат могут использовать диверсионный акт для провокации вспышки антикоммунистических настроений в ротах. Нет, разведчик не может пойти на такую нелепую выходку.

Стоп, гауптштурмфюрер! Что значит — не может?! Ты только что видел его перед собой, и он пытался выйти. И не знал при этом, что есть приказ, запрещающий покидать сеансы для военнослужащих. Вот где у него вышла осечка... Он вернулся в зал и теперь снова сидит... с чем сидит? Ах, он же был без сумки, хоть и с автоматом... Значит, все-таки диверсия.

Ну что ж, взрывай. Они того заслуживают. Лично он, гауптштурмфюрер Геллерт, не даст и полка румын за одного немецкого солдата.

А впрочем, надо попробовать взять разведчика. Попробовать в характере, логике мышления. Если удастся, конечно. А не удастся, так не удастся. Спишется на обстоятельства.

Господи, да не бесполезно ли это все? Предчувствие близкой смерти легким ядом проникло в кровь, затруднило на мгновение работу сердца и мозга и ушло, исчезло, изгнанное волевым усилием.

Бесполезно или нет, надо действовать, что-то принимать. Как ни презирай румын — служебный долг есть служебный долг, его надо выполнять до последнего часа. Как того требуют партия, фюрер, дисциплина.

Геллерт оттолкнулся от стены, на которую опирался, и окликнул начальника патруля.

34

Вернувшийся на свое место Мурашов услышал, как прошел возле стены, пригибаясь перед экраном, устремился к выходу и застыл там парный патруль. Оглянулся — еще двое встали у двери в фойе.

В чем дело? Неужели его засекли? Тогда почему не взяли там, в фойе, в самых удобных условиях? Но ясно одно: отсюда уже не выйти. После кино начнется проверка документов, фильтрация... на что рассчитывать? А если охота действительно за ним, могут подстрелить, и все. Тогда задуманное вообще превратится в бессмыслицу.

Если, сев обратно на место, Мурашов просто передвинул стрелки будильника вперед, чтобы перевести дух и обдумать положение, то теперь он снял нитку с рычажка, обмотнул ее вокруг пальца.

Тяжело, оказывается, помирать в темноте, не в бою, без ребят, без батальона...

Там, конечно, хорошо теперь управляют и без него. В боях, маршах состав начинает меняться, и, может статься, настанет время, когда некому будет вспомнить, что существовал еще и такой комбат, как капитан Мурашов.

А ведь не просто оно ему далось, комбатство... В прошлом году, в ноябре, батальону, где он командовал ротой, поставлена была задача любой ценой взять высоту, перед которой они топтались добрый месяц. Мурашов вызвал перед атакой двух самых метких стрелков роты, ефрейтора и младшего сержанта, и сказал: «Анисимов, видишь пулеметное гнездо вон там, у немцев? Не туда смотришь! Вот, правильно... Это будет твое. А вон то — твое, Дурдыев. В атаку вы не идете. Но имейте в виду: чтобы нам этих точек было не

видно, не слышно! Подавить наглухо, чтобы там никто головы поднять не мог! Пока сами не ворвемся в первую траншею». — «А... потом нам что делать?» — спросил бесхитростный Анисимов. «Потом... — хмыкнул Мурашов. — Потом ноги в руки — и поспешай-поспешай! Товарищи ждут, скучают!»

С задачей стрелки справились: оба станковых пулемета на время атаки были подавлены. И все равно до первых траншей рота добежала сильно выбитая — около трети ее осталось на поле. Но добежала! А две другие залегли под сильным огнем, понесли большие потери и вынуждены были отойти на старые позиции. Мурашов держался двое суток: немцы организовали мощный фланговый перекрестный огонь, не давая пойти новым штурмовым группам. Его долбили минами, забрасывали гранатами, атаковали, пытаясь выбить, заставить откатиться... Рота — к концу в ней осталось пятеро — держалась, да, впрочем, куда было деваться? Идти вперед — нет сил, обратно — расстреляют на открытом месте. Тут хоть траншея, худенько, да можно спрятаться. Гарь, смрад, тумканье взрывов, стеклянная резь в глазах... Когда обобрали патроны и гранаты у всех — своих и чужих — трупов, остались одни ножи, и хотели уж прощаться перед последней рукопашной, услышали рев орудий на своей стороне, и земля вокруг их траншейки дрогнула от взрывов. Это была артподготовка, во время которой началась атака сотки силами уже двух батальонов. К вечеру те батальоны ушли далеко вперед, обогнув часть траншейки, где оборонялся Мурашов со своими бойцами. Они поели, поспали и сели пить холодную водку на том же, но очищенном похоронной командой месте. Вдруг Мурашов заметил идущую к ним с той стороны, куда развивалось наступление батальонов, группу офицеров. Приказал четверым своим подчиненным: «Встать! Смирно!» — и двинулся навстречу. Это были командир дивизии с заместителем, командир полка. Комдив крепко пожал Мурашову руку, обнял его: «Молодец, старший лейтенант! Как ты за них зацепился. По самому центру, по огню шел, а ведь довел, смотри! Дам, дам орден. Ребят, — он показал на вытянувшихся бойцов, — тоже представь. Молодцы, ох, молодцы... Ты вот что, постой-ка — не слишком ли долго на роте-то ходишь? Из кадровых небось?» — «Из них, — ответил Мурашов. — А в ротных служу, если не соврать, с сентября

сорокового года». Полковник плюнул, свирепо выругался. «Д-дожили! — яростно крикнул он. — Ну, у меня руки до всего не доходят, а ты-то куда глядишь? — Это уже к командиру полка. — Ладно, старший лейтенант, жди. Такая служба за мной не пропадет. Сегодня отдыхайте, а с утра ступайте в часть».

На следующий день Мурашов принял батальон в другом полку. За тот бой он получил орден Отечественной войны, один боец — Красного Знамени, двое — Славы, и один — Красной Звезды. Вот так обернулась для него та атака, те двое суток. Батальон он принял без всяких страхов, ибо в батальонной кухне разбирался к тому времени уже вполне прилично, и уверен был, что уж он-то и дорос до него, и заслужил право им командовать.

Получив капитана, Мурашов впервые задумался о своем будущем. Если повезет остаться живым до конца войны, стоит ли уходить из армии? У него шесть лет только довоенной выслуги, а на войне один год идет за три, много ли останется до пенсии? И можно выйти в приличных чинах, старшим офицером, ведь должность комбата — и то подполковничья. Взять у матери Нонночку, поселиться в дальнем гарнизоне... А может, повезет еще и с женитьбой.

Мечты эти Мурашов вспомнил, сидя с самодельной миной в кинотеатре небольшого бессарабского городка, и горько вздохнул. Так и не увидел он дочки! Только на фотографии, что лежит сейчас где-то вместе с документами и личными вещами. По ней судя, девчушка походит на Райку. Не повторила бы только материну судьбу...

Ну, так. Кажется, пора. Сейчас вспыхнет свет.

Что еще? Да, жизнь... Если по большому счету — жалеть не о чем. И нет страдания о себе. Исчезла тоска. Только усталость безмерная.

Разогнуть проволочку-чеку...

Начнется следствие вокруг взрыва, заварится каша. Побегут мундиры по мазанкам, затрещат в Ямах выстрелы. Но что делать! Что же делать...

Он положил ладонь на гладкое тело гранаты и почувствовал холод железа. Пальцы его всегда были необыкновенно чутки к металлу.

Михаил Черненко

ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

ПОВЕСТЬ

Глава I

Такого заядлого грибника, как дед Лукьян Хлудневский, в Серебровке не знали со дня ее основания. Несмотря на свои семьдесят с гаком, старик был еще так легок на ногу, что потягаться с ним мог не каждый из молодых. От колхозных дел Лукьян отошел по пенсионным годам и, поскольку мать-природа здоровьем его не обидела, с наступлением грибного сезона чуть не каждый день сновал с берестяным туесом по серебровским колкам.

Тот сентябрьский день для Хлудневского начался неудачно. Едва старик засобирался, бабка Агата, обычно спокойная, заворчала:

— И когда ты угомонишься с этими грибами? Девать-то их уже некуда!..

— В сельпо сдадим, — ответил Лукьян. — На прошлой неделе Степан Екашев с сыном полста рублей отхватил за малосольные груздочки.

— То Екашев! У Степана копейка меж пальцев не проскочит! Не то что у тебя. Вчера-ить полный туес по деревне задарма разнес.

— Не задарма — за спасибо!

Бабка Агата безнадежно махнула рукой и сердито принялась мыть в чугуне картошку. Опасаясь, как бы старуха и его не втравила в домашнюю работу, дед Лукьян юркнул за дверь.

Сокращая путь, старик свернул в молоденький березовый колок и, поглядывая по сторонам — не попадется ли где попутно добрый груздь, — неожиданно увидел роящихся над ворохом прошлогоднего сушняка пчел. «Х-хэ, дурехи, нашли медовое место», — усмехнулся дед Лукьян. Из любопытства старик подошел к

сушняку и осторожно, чтобы не жиганула шальная пчела, стал растаскивать хворостины. Под ними оказалась 50-литровая алюминиевая фляга, полнехонькая свежего меда.

«Мать моя, мачеха! Не иначе Гринька припрятал, чтоб уворовать», — встревоженно подумал Хлудневский и, отмахиваясь от пчел, торопливо уложил хворост на место. «Глаза бы мои тебя не видали, баламута», — возмущался дед. Но до деревни было добрых две версты, а пасека — вот она, за колком сразу. Пить хотелось — хоть помирай. И дед Лукьян все-таки решил зайти на пасеку.

Над пасечной избушкой дрожало знойное марево. Безудержно стрекотали кузнечики.словно соревнуясь с ними, одинокая пичуга раз за разом вопрошала: «Никиту видел, видел? Никиту видел, видел?» Рядом с избушкой, уткнувшись оглоблями в густую траву, стояла телега. За ней, раскинув босые ноги, навзничь лежал Репьев. Неподалеку валялись куски медовых сотов и опрокинутая металлическая чашка.

«Вот работник царя небесного, натрескался», — осуждающе подумал о Гриньке Хлудневский. Опустил на землю туес с груздями и подошел к избушке, у которой, возле распахнутой настежь двери, на скамеечке стояло ведро с водой. Вода была теплой, но дед Лукьян прямо из ведра пил ее жадными глотками. Утолив жажду, отдышался и вдруг почувствовал необъяснимую тревогу — показалось, будто Гринька Репьев не дышит. Дед Лукьян крадучись подошел к нему и остолбенел — прорванная на груди пасечника рубашка запеклась черным пятном крови.

Хлудневский почувствовал, как ноги словно приросли к земле.

Глава 2

Оперативная машина милиции свернула на старую проселочную дорогу и устремилась к серебрянской пасеке. Через несколько минут между березок замелькали разноцветные ульи. За ульями показалась черная от времени избушка-зимовник, возле которой, будто часовой на посту, замер низенький участковый инспектор милиции с капитанскими погонами на серой форменной рубашке. Сидя на ошкуренном бревне, сосредоточенно курили белобородый старик, рослый, ссутулившийся

мужчина в черной флотской фуражке с позеленевшим «крабом» и два молодых парня в механизаторских комбинезонах.

Как только оперативная машина остановилась, участковый решительно направился к ней. Выскочивший из машины щуплый, похожий на подростка оперуполномоченный уголовного розыска Слава Голубев спросил:

— Ну что тут, Кротов?

— Убийство при загадочных обстоятельствах, товарищ Голубев. — Участковый показал на труп. — Полагаю, огнестрельное ранение в грудь...

Из машины вылез районный прокурор с двумя звездами в петлицах. Протягивая участковому инспектору руку, проговорил:

— Здравствуй, Михаил Федорович. Как же это ты проморгал такое?

— Здравия желаю, товарищ Белоносов, — поздоровался Кротов и стал объяснять: — Случай, полагаю, преднамеренный. Предупредить его было затруднительно, поскольку участок у меня, как знаете, немалый, и на всей территории наблюдается массовый наплыв горожан, которые...

— Считаешь, это дело рук приезжих? — перебил прокурор.

— Непременно, товарищ Белоносов. — За двадцать лет моей службы такого тут не было.

— А на двадцать первом вот случилось.

Участковый развел руками.

Выбрались из машины и остальные участники оперативной группы: белобрысый молодой следователь прокуратуры Петр Лимакин; преждевременно расплывший хирург районной больницы Борис Медников, выполняющий обязанности судебно-медицинского эксперта; всегда хмурый эксперт-криминалист РОВД капитан милиции Семенов и пожилой проводник служебной собаки сержант Онищенко со своим подопечным Барсом.

— Приступайте, — коротко сказал прокурор.

Онищенко, ослабив поводок, что-то шепнул овчарке. Шерсть на загривке Барса вздыбилась. Пригнув морду к траве, дымчато-серый пес неуверенно потоптался перед входом в избушку и сунулся к трупу. В трех шагах от него нервно заводил носом, словно принюхиваясь к босым ногам пасечника, затем изо всех сил по-

тянул кинолога к тревожно насторожившемуся старику. Увидев, как овчарка рванулась к нему, старик испуганно повалился с бревна на спину. Сидевший рядом с ним мужчина в морской фуражке быстро вскочил на ноги, будто приготовился схватить собаку за горло.

— Товарищ Онищенко! — вскрикнул участковый. — Дед Лукьян Хлудневский обнаружил труп, а рядом с ним — колхозный бригадир из Серебровки Витольд Михалыч Гвоздарев и ребята, приглашенные в качестве понятых.

Кинолог, натянув поводок, опять что-то шепнул Барсу. Тот мгновенно присел и чуть слышно заскулил. Поводив мордой, вернулся к избушке, покружил вокруг телеги и размашисто бросился к березовому колку. Оперуполномоченный Голубев устремился следом.

Ворвавшись в колок, Барс сунулся к сушняку, из-под которого виднелся белый бок фляги, повернул было назад, но, словно передумав, тут же закружил на месте. Неожиданно он повеселел и потянул кинолога вдоль тропинки. Быстро миновал березовый колок, прыжком перемахнул через журчащий родничок и, вместе с Онищенко выбежав на утоптанную поляну, где чернело пепелище недавнего костра, суетливо сделал несколько восьмерок. И лег, виновато уставясь на своего хозяина.

— Управился, лучший друг человека? — остановившись рядом с Барсом, спросил запыхавшийся от бега Голубев.

— Многие тут побывали, — попытался оправдать собаку Онищенко.

Голубев медленно побрел по поляне. Кругом валялись обрывки газет, окурки, пустые папиросные и сигаретные пачки, консервные жестянки, несколько бутылок из-под виноградного сока. В трех местах торчали колышки от просторных палаток.

Рядом с родником в зарослях крапивы чернели дгнивающие толстые бревна, видимо, когда-то, очень давно, служившие фундаментом небольшого строения. Суглинок у родника был густо затоптан босыми ребячьими ногами. В кустах лежали обломки старого тележного колеса. За кустами трава примята, словно от поляны по направлению к пасеке проехали на телеге.

Онищенко пустил Барса по этому следу. Обогнув колок, тележный след вывел на выкошенный неширокий луг. Здесь по отпечаткам копыт можно было пред-

положить, что лошадь гнали во весь мах к старой тракторной дороге, проходящей от пасеки метрах в ста пятидесяти.

Возле пасеки телега, похоже, останавливалась. У этого места Барс опять занервничал и круто свернул влево, к пасечной избушке. Не добежав метров пяти до трупа, над которым склонились следователь Лимакин, судмедэксперт Медников и криминалист Семенов, Барс остановился, поводит носом и через реденький колок вернулся к тележному следу на выкошенном лугу. Отмахав вдоль него до старого тракта, покрутил восьмерки и точно так же, как прошлый раз на поляне, прилег, высунув язык. Голубев, пристально рассматривая старую дорогу, без подсказки Онищенко понял, что дальше собака ровным счетом ничего не покажет — проехавшая следом за телегой груженная автомашина широкими своими скатами, словно утюгами, пригладила поросшую травой колею.

Когда Голубев и Онищенко с понурым Барсом пришли к пасеке, следователь Лимакин уже набрасывал план места происшествия, а эксперт-криминалист Семенов, сосредоточенно морща лоб, «колдовал» над принесенной из колка флягой, снимая с нее отпечатки ладоней и пальцев. Борис Медников, докуривая сигарету, разговаривал с прокурором. Участковый Кротов, старик Хлудневский, оказавшийся в роли свидетеля, колхозный бригадир и понятые насупленно слушали их.

— Что за туристы там стояли? — кивнув в сторону родника, спросил Голубев.

— Табор цыганский с полмесяца обитался... — густым басом ответил бригадир Гвоздарев и, словно сам испугавшись своего голоса, смущенно кашлянул. — Дело такое — уборочная в разгаре, а слесарей у меня в бригаде кот наплакал. Подвернулись эти самые цыгане, предложили свои услуги. Я, конечно, с председателем колхоза Игнатом Матвеевичем Бирюковым согласовал. Тот дал «добро», ну и пристроил я цыган в мехмастерской. Работу нарядами оформлял, оплата — в конце каждой недели. Так договорились. Работали либо-дорого. Сегодня спозаранку, как всегда, в мастерскую пришли, а когда удочки смотали — ума не приложу...

Голубев удивился:

— Что, и деньги, заработанные за последнюю неделю, не получили?

— Деньги они получали в правлении колхоза, в соседней деревне Березовке. — Бригадир посмотрел на старика Хлудневского. Когда дед Лукьян сообщил мне об убийстве, я как-то сразу на цыган подумал. Позвонил из конторы в мастерскую — там их нет. Стал звонить в правление колхоза, чтобы расчет не выдавали, а мне говорят, что цыгане в Березовке даже не появлялись сегодня...

В разговор вмешался участковый Кротов:

— Товарищ Голубев, в ваше отсутствие по распоряжению прокурора я из служебной машины по рации связался с дежурным районного отдела внутренних дел и попросил, чтобы придержали в райцентре табор, поскольку на цыган вроде бы подозрение падает.

— Правильно сделали, Михаил Федорович.

Прокурор, глядя на труп пасечника, сказал:

— Есть предположение, что из допотопной охотничьей берданки почти в упор стреляли. Старую латунную гильзу тридцать второго калибра нашли и два газетных пыжа.

Голубев подошел к пасечной избушке и заглянул в распахнутую дверь. Там у единственного оконца стоял самодельный стол с перекрещенными ножками. На нем — крупно нарезанные ломти хлеба, черный от копоти эмалированный чайник, две деревянные ложки, захватанный пальцами граненый стакан и чуть сплюснутая алюминиевая кружка. За столом, в углу, Слава увидел узкую кровать с перевернутой постелью. Возле нее — опрокинутая табуретка и новенькие женские туфли небольшого размера.

В избушку заглянул прокурор. Спросил у Голубева:

— На месте табора, Вячеслав Дмитриевич, нет характерных деталей?

— Кто-то на телеге торопился в сторону райцентра, Семен Трофимович, — ответил Голубев. — Надо следователю с криминалистом основательно там поработать.

— Здесь управимся, перейдем туда.

— У цыган лошадь была?

— Бригадир говорит, была у вожака старенькая монголка.

— Лыбопытно, куда обувь пасечника делась? Почему он босиком?

— Вчера утром, говорят, ходил в новых кирзовых сапогах. Приезжал в Серебровку за колесом для па-

сечной телеги. Получил его на складе, а куда дел — тоже неизвестно, так как телега стоит на старых колесах. Бригадир предполагает, что цыганам продал. У их телеги одно колесо совсем негодное было.

— Вполне такое возможно, за родником обломки старого колеса валяются. Что понятые о пасечнике говорят?

— В один голос с бригадиром заявляют, что Репьев выпивал лишнего, но дело свое исполнял старательно.

— Из местных жителей?

— Нет, приезжий.

— Это чьи? — показывая на женские туфли, спросил Голубев.

— Говорят, одной цыганочки из табора, Розой зовут, — прокурор достал из кармана пачку сигарет и закурил, — видимо, приласкал пасечник эту Розу, а у цыган на этот счет обычай строгий. Кстати, участковый такую версию выдвигает.

— Михаил Федорович! — позвал Голубев, и Кротов тотчас подошел. — У цыган было ружье?

— По моим сведениям, огнестрельного оружия в таборе не имелось.

Голубев сдвинул фуражку на затылок:

— Что за табор был, Михаил Федорович?

— Собственно, две цыганских семьи под водительством Козаченко Николая Николаевича, который имеет паспорт с временной пропиской в городе Первоуральске Свердловской области.

— Как вели себя цыгане?

— В первые дни цыганки продавали местным женщинам губную помаду, карандаши для глаз и бровей. Цену значительно завышали. Я побеседовал с Козаченко, и спекуляция прекратилась.

— Конфликтов с населением не было?

— Никак нет. Табор был склонен к оседлой жизни. Мужчины трудолюбивые, мастера по слесарным и жестяным работам. Селяне обращались за помощью, и цыгане охотно выполняли мелкий различный ремонт по слесарной части.

Заговорил прокурор:

— Может, зря, Михаил Федорович, мы цыган подозреваем? Нашли-то ведь гильзу от старой берданки. У кого из местных жителей есть такое ружье?

— Ружья системы Бердан, товарищ Белоносов, ме-

стными жителями давно не употреблялись. Теперь в моде высококлассные двуствольные бескурковки.

Подошли бригадир и следователь Лимакин.

— Извините, Семен Трофимович, — обращаясь к прокурору, сказал следователь, — надо бы избушку внутри осмотреть...

— Осматривайте, — ответил прокурор. — После этого тщательно поработайте с криминалистом на месте стоянки табора. Замерьте ширину тележной колеи, снимите отпечатки копыт лошади.

— Надо, по-моему, зафиксировать рисунок протектора автомашины, которая после телеги по тракту проехала, — подсказал Голубев.

Прокурор обратился к бригадиру:

— Сколько цыгане у вас зарабатывали?

— За последнюю неделю около двухсот рублей вышло. Наряды у меня в столе лежат, можно подсчитать точно.

— О Розе какого мнения?

Бригадир махнул рукой:

— Смазливая цыганочка. Пляшет, поет, гадает, ребятам подмигивает. Вот Гриня за ней и приударил.

— Сколько же лет Репьеву было?

— Тридцать с небольшим... Мертвый он значительно старше выглядит.

— Холостяк?

— Да.

— Увлекался женщинами?

— Не сказал бы. Впервые на него какая-то дурь с этой цыганочкой нашла. Предупреждали ведь и я, и Кротов: «Не шути, Гриня, с огнем», нет, не внял разуму. Видно, судьба...

Помолчали. Прокурор опять спросил:

— Слушай, Гвоздарев, а из местных никто с Репьевым не мог счеты свести?

Бригадир отрицательно крутнул головой:

— Нет, за местных я ручаюсь. Гриня, конечно, не ангелом был, и прозвище «Баламут» к нему не случайно прилипло. Иной раз попадала ему шлея под хвост, цапался с людьми. Но из наших селян на убийство ни один человек не решится.

— А из гостей?..

— Гости в Серебровку обычно по субботам да по-скресеньям наплывают, а сегодня — середина недели.

Прокурор повернулся к Голубеву:

— Будем отрабатывать версию с цыганами. Мы сейчас закончим здесь прочесывание местности и уедем, чтобы в райцентре допросить цыган. Тебе же, Вячеслав Дмитриевич, придется на денек остаться в Серебровке и по поручению следователя потолковать с народом...

Глава 3

Смерть пасечника вызвала у серебровцев неподдельное удивление. Все, с кем пришлось беседовать Славе Голубеву, будто сговорившись, заявляли, что врагов у Репьева в селе не было.

В Серебровке Репьев появился пять лет назад, освободившись из исправительно-трудовой колонии. Где он отбывал наказание и за что — никому из серебровцев не рассказывал. В колхозе начал работать шофером — водительское удостоверение у него было, — затем пробовал трактористом, комбайнером, куда-то уезжал из Серебровки, но быстро вернулся и упросил бригадира Гвоздарева направить его на курсы пчеловодов. Проучившись зиму в Новосибирске, прошлой весной принял колхозную пасеку. С той поры поселился в пасечной избушке. В деревню наведывался лишь за продуктами. Подвыпив, любил разыгрывать стариков и «качнуть права» начальству. Трезвый был замкнутый, нелюдимый и как будто стеснялся своих пьяных выходов. Несмотря на «художества», пчелиное хозяйство Репьев вел добросовестно и колхозный мед не разбазаривал, хотя на пасеку частенько подкатывали горожане. Своим же колхозникам по распоряжению бригадира и председателя меду не жалел. Об отношениях Репьева с цыганами никто из серебровцев ничего толком не знал, за исключением того, что Гриня «крутил любовь» с Розой.

Поздно вечером Голубев, допросив по поручению следователя около десятка сельчан, пришел в бригадную контору. Гвоздарев, кивком указав на стул, подбил на счетах итог, записал полученную цифру и сказал Голубеву:

— Двести сорок один рубль тридцать четыре копейки надо было получить цыганам за прошедшую неделю.

— Такие деньги шутя не оставляют... — проговорил Слава. — Витольд Михалыч, а можно сейчас пригласить сюда кого-нибудь, кто сегодня утром начинал работу с цыганами?

— Пригласим... — Бригадир посмотрел на приоткрытую дверь. — Матрена Марковна!..

В кабинет заглянула уборщица:

— Сходи до Федора Степановича Половникова. Скажи, бригадир, мол, срочно в контору зовет.

Когда уборщица скрылась за дверью, Гвоздарев повернулся к Голубеву:

— Половников — кузнец наш. В прошлом году на пенсию вышел, а работу не бросает. По моей просьбе он как бы шефствовал над цыганами.

— Что они хоть собою представляли, эти цыгане?

— Всего их десятка два, наверное, было. Мужчины в возрасте от тридцати до сорока. Один, правда, парень молодой, лет двадцати — двадцати двух. Красивый, на гитаре, что тебе настоящий артист, играет. Старуха годов под семьдесят да двое ребятишек кудрявых. Старшему, Ромке, лет около десяти, а другой года на три помладше. Ну, да вот Роза еще...

— Сам Козаченко как?..

— Мужик деловой! Слесарь первейший и порядок в таборе держит — будь здоров! Я как-то смехом предлагал ему стать моим заместителем по дисциплинарной части.

Только-только Голубев и бригадир разговорились, как в кабинет вошел кряжистый мужчина. Взглянув на Голубева, одетого в милицейскую форму, он смял в руках снятый с рыжей, как огонь, головы кожаный картуз и, невнятно буркнув «Добрывечер», словно изваяние застыл у порога.

— Проходи, Федор Степанович, садись, — пригласил бригадир. — Разговор к тебе есть. Ты о цыганах ничего нам сказать не можешь?

— А чого я про них скажу?..

— Как они сегодня с работы ушли? — спросил Голубев.

Кузнец пожал плечами:

— Дак, кто ведает, как...

Бригадир нахмурился:

— Ты не был, что ли, с утра на работе?

— Был.

— Ну а в чем дело, Федор Степанович? Почему откровенно не говоришь?

— Я ж ничего особого не знаю.

— Тебя про особое и не спрашивают. Вопрос конкретный: как цыгане сегодня ушли с работы?

Кузнец помолчал, кашлянул. Затем, обдумывая каждое слово, медленно заговорил:

— К восьми утра все десятеро под главенствованием самого Миколы Миколаевича Козаченки явились в мастерскую. Не успели перекурить, Торопуня на своем самосвале подкатил. Правую фару, видать, по лихости умудрился напрочь выхлестать...

— Это шофер наш, Тропынин фамилия, а прозвище за суетливость получил, — объяснил Голубеву бригадир.

Кузнец, будто соглашаясь, кивнул:

— С Торопуниной фарой занялся сам Козаченко. Быстро управился, и цыгане всем гамузом стали домкратить списанный комбайн, на котором в прошлом году Андрюха Барабанов работал. Хотели годные колеса с комбайна снять... Часов в десять прибег Козаченкин Ромка и во весь голос: «Батька! Кобылу украли!» Козаченко — к табору. Совсем недолго прошло, опять Ромка прибег. Прогорготал с цыганами по-своему: «гыр-гыр-гыр», — и вся компания чуть не галопом подалась из мастерской. Больше я не видал их...

— Это при Тропынине произошло? — уточнил Голубев.

— Нет, Торопуня уже после ремонта фары отъехал с Андрюхой Барабановым. Больше часу с его отъезда миновало, как Ромка первый раз прибег.

Бригадир пояснил Голубеву:

— Барабанов — наш механизатор. Поехал покупать «Ладу». Вчера утром из райпотребсоюза звонили, что очередь его подошла. — И повернулся к кузнецу. — Значит, Андрей с Торопуней в райцентр уехали?

— Ну, — подтвердил кузнец.

Голубев, перехватив его настороженный взгляд, спросил:

— Цыгане не упоминали в разговоре пасечника Репьева?

— Этот раз нет.

— А раньше?

— Вчерашним утром пасечник в мастерскую заходил.

— Зачем?

— Чего-то с Козаченкой толковал.

— Что именно?

— Навроде про тележное колесо разговор шел. Не знаю, на чем они столковались.

— Репьев предлагал колесо цыганам?

— Так навроде.

— А цыганочку Розу знаете?

— Знаю.

— Она не родня Козаченко?

— Сестра. Миколай Миколаевич в строгости ее содержит, а Роза подолом так и крутит.

Кузнец заметно успокоился, однако лицо его по-прежнему казалось напряженным. Задав еще несколько вопросов и не получив в ответ ничего существенного, Голубев закончил писать протокол и предложил кузнецу расписаться. Тот с неохотой вывел в нужных местах неразборчивые закорючки, правой рукой перекрестился и поспешно вышел из кабинета.

— Верующий он, что ли? — спросил Голубев бригадира.

— Есть у него такая слабость... — Гвоздарев усмехнулся. — Потешная штука с религией получается. Взять, к примеру, того же Федора Степановича. Всю сознательную жизнь при Советской власти прожил, а в бога верит. Поддался с молодости религиозной мамаше. Понимаете, даже семьи собственной не завел, бобылем живет. Но мужик честный до беспредельности, труженик.

— Кажется, что он что-то недоговаривает.

Бригадир задумался:

— Умолчать Федор Степанович, конечно, может, но соврать — никогда не соврет. Преступление-то страшное, вроде как перепугались в Серебровке люди...

Ночевал Голубев в избе участкового Кротова. Заснул, как всегда, быстро, однако спал на редкость беспокойно. Видимо, не мог избавиться от дневных впечатлений. Поначалу снилась пляшущая молодая цыганка. Голубев силился разглядеть ее лицо, надеясь опознать Розу, но это никак не удавалось. Совершенно невероятным образом цыганка вдруг превратилась в красочную этикетку одеколона «Кармен» и, взвившись над пасекой, исчезла в голубом небе. Потом приснился на маленькой лошадке, словно всадник без головы, пасечник Репьев. В ту же минуту из колка вышел медно-рыжий кузнец Федор Степанович. В одной руке он держал новенькое двуствольное ружье, а в другой — кирзовые сапоги. Кузнеца сменила длинная вереница марширующих по Серебровке здоровенных парней со странными, размахивающими крыльями, рюкзаками. Один из парней

вдруг громко кашлянул и голосом участкового Кротова сказал:

— Нашлась цыганская лошадь!...

Голубев открыл глаза — в дверях комнаты стоял одетый по форме Кротов.

— Нашлась, говорю, цыганская лошадь, — повторил он.

— Где?! — вскакивая, спросил Голубев.

— У железнодорожного разъезда Таежное, который на полпути от Серебровки к райцентру.

— Едем туда!

Голубев, торопясь, стал одеваться.

— Лошадь уже здесь, во дворе стоит, — участковый, словно оправдываясь, принялся объяснять: — В шесть утра мне позвонили с разъезда, что со вчерашнего дня там бродит какая-то пегая монголка, запряженная в телегу. Я немедленно на мотоцикл — и в Таежное. Как увидел лошадку, сразу признал — цыганская. Оставил у начальника разъезда мотоцикл и на подводе сюда...

Голубев вместе с Кротовым вышел на крыльцо. Лошадь, с натугой вытягивая шею из хомута, жадно срывала зубами растущую во дворе густую траву. Рядом стоял бригадир Гвоздарев и хмуро разглядывал на телеге бурое пятно величиною с тарелку. У передка телеги желтела кучка свежей соломы и стояла завязанная в хозяйственную сетку трехлитровая стеклянная банка, наполненная чем-то золотистым. Поздоровавшись с бригадиром, Голубев спросил:

— Это и есть цыганская лошадь?

— Она самая, — ответил бригадир и показал на левое переднее колесо. — А вот это от пасечника Репьева к цыганам перекочевало...

Голубев подошел к телеге. Бурое пятно на ней оказалось засохшей кровью.

— Было соломой прикрыто, — сказал Кротов. — Банка тоже под соломой была. На месте обнаружения в присутствии понятых все это документально зафиксировал.

— Молодец. Что в банке?

— Натуральный мед.

— Давай-ка, Михаил Федорович, срочно приглашай еще понятых. Для гарантии сделаем с каждого пятнышка отдельные соскобы. И надо срочно укрыть теле-

гу целлофановой пленкой, чтобы сохранить все для осмотра экспертом. Есть надежная пленка?

— Так точно, в парнике имеется.

Закончив юридические формальности, связанные с обнаружением кровавых пятен, Голубев принялся звонить в прокуратуру. Прокурорский телефон на вызов не ответил. Не оказалось на месте и следователя Лимакина. Лишь начальник РОВД подполковник Гладышев снял трубку после первого же гудка. Обстоятельно доложив ему о лошади, Голубев спросил:

— Что делать, товарищ подполковник? Прокурор со следователем на мои звонки не отвечают.

Гладышев у самой телефонной трубки, похоже, чиркнул спичкой. Видимо, прикуривал. Голубев представил, как насупились густые брови подполковника, и тут же услышал:

— Прокурор и следователь разбираются с цыганами. Вчера мы их здесь тормознули, ну и весь табор перед прокуратурой свои шатры раскинул...

— На чем цыгане добрались до райцентра?

— Говорят, на попутной машине, а лошадь якобы у них украли... Ты поручи теперь оперативную работу Кротову, пусть он держит нас в курсе дела. А сам гони цыганскую лошадь сюда. Здесь решим, чем дальше заниматься.

Глава 4

Передав лошадь с телегой эксперту-криминалисту Семенову, Голубев зашел в свой кабинет. Вскоре позвонила секретарь-машинистка и предупредила, что в двенадцать ноль-ноль у подполковника Гладышева собираются все участники следственно-оперативной группы, выезжавшей на серебрянскую пасеку. Занятый текущими делами, Голубев и не заметил, как пролетело время. Когда он вошел в кабинет подполковника, там, кроме самого Гладышева, уже сидели прокурор, следователь Лимакин и судмедэксперт Борис Медников. Все четверо разговаривали о цыганах. Точнее, говорил Медников — остальные слушали. Сразу же за Голубевым появился эксперт-криминалист Семенов с неизменной кожаной папкой. Разговор прервался. Подполковник посмотрел на часы:

— Товарищи, минут через пятнадцать к нам приезжает новый начальник отдела уголовного розыска.

— Любопытно, кто?

— Скоро увидите. — Подполковник обвел взглядом присутствующих. — Есть предложение подождать, чтобы... новый товарищ сразу включился в дело.

— Резонно, — сказал Медников и, не ожидая согласия других, продолжил прерванный рассказ. — «Так вот, значит, дело так было. Один морской капитан нанял цыганскую бригаду покрасить пароход. Написал договор, выдал цыганам краску и ушел на берег. Возвращается — пароход сияет, как новенький, а цыган-бригадир деньги за выполненную работу ждет. Пошел капитан проверять сделанное. Смотрит — другой борт совершенно не крашен. Спрашивает цыгана: «Какие ж вам деньги, дорогой товарищ? Вторую сторону ведь не покрасили». Цыган достает договор: «Ты сам, капитан, эту бумагу написал?» — «Сам». — «Так читай, батенька, чего написал: «Мы, цыгане, с одной стороны, капитан парохода — с другой...»

Все засмеялись.

Дверь кабинета внезапно распахнулась. Появившийся в ее проеме широкоплечий рослый капитан милиции проговорил:

— Прошу разрешения, товарищ подполковник.

— Разрешаю, — живо отозвался Гладышев и быстро представил вошедшего: — Вот и Антон Игнатьевич Бирюков — новый начальник нашего отдела уголовного розыска.

— Антон?! — словно не веря своим глазам, воскликнул Голубев. — Вернулся?!

Бирюков поздоровался со всеми. Прокурор, придерживая его руку, спросил:

— Сколько проработал в областном управлении уголовного розыска?

— Два с лишним года.

— Уезжал туда, помнится, старшим оперуполномоченным, а вернулся начальником отдела. Молодец, хорошо вырос!

Бирюков засмеялся:

— Генерал приказал вырасти.

Судмедэксперт Медников, пожимая широкую ладонь Бирюкова, упрекнул:

— Впустую из-за тебя веселую историю рассказал. Только было смеяться начали, а тут ты пожаловал.

— Давай вместе посмеемся.

— Смех у нас невеселый, Антон Игнатьевич. В Се-

ребровке вчера пасечника убили, — со вздохом сказал прокурор и повернулся к следователю Лимакину. — Что ж, Петро, рассказывай.

Лимакин открыл записную книжку. Утешительного в его рассказе было мало. Опрошенные цыгане объясняли свой внезапный отъезд из Серебровки опасением, что их могут обвинить в убийстве Репьева, который накануне отдал жожаку Козаченко колхозное колесо для телеги. Первым увидел убитого пасечника цыганенок Ромка — искал якобы угнанную неизвестно кем лошадь и забежал на пасеку.

— В это можно бы поверить, но один факт потрясающе... — Лимакин задумчиво помолчал. — Кто-то очень жестоко избил цыганочку Розу. Когда я предъявил ей обнаруженные в пасечной избушке туфли, она страшно перепугалась и стала утверждать, будто Репьев угостил ее медом и предложил остаться на ночь. Роза отказалась. Тогда пасечник отобрал туфли и стал хлестать Розу кнутом. Вот тут и возникает «но»... По словам бригадира Гвоздарева, Репьев жестокостью не отличался, да и кнута у него на пасеке никакого не было...

Подполковник повернулся к судмедэксперту:

— Что показало вскрытие?

— Вот официальное-заключение. — Медников протянул бланк. — Коротко могу сказать. Пасечник находился в легкой стадии алкогольного опьянения. Весь заряд дроби пришелся ему в сердечную полость и застрял там. Смерть наступила вчера между девятью и десятью часами утра.

Едва Медников замолчал, снова заговорил следователь:

— Могу добавить, что особое внимание мы уделили осмотру ступней Репьева. Они чисты. Обувь снята уже с мертвого... Из груди Репьева извлечено двадцать восемь свинцовых дробинок четвертого номера. Выстрел произведен из гладкоствольного оружия небольшого калибра, что также подтверждается найденными на месте происшествия газетными пыжами и латунной гильзой. На одном из пыжей — часть фотоэтюда с названием «Тихий вечер». Удалось установить: оба пыжа сделаны из районной газеты за девятое августа этого года. Порох для заряда был применен охотничий, дымный. Характер пороховых вкраплений в области ранения показывает: выстрелили в Репьева с расстояния не да-

лее двух метров. При нормальной длине ружейного ствола заряд дробы на таком расстоянии практически не успевает рассеяться. В данном случае — заметное отклонение от нормы. Можно сделать предположение, что стреляли из ружья с укороченным стволом...

— Из обреза? — удивился подполковник.

— Да, что-то в этом роде.

— А что подсказывает дактилоскопическая экспертиза?

Прежде чем ответить, эксперт-криминалист Семенов взял из папки несколько увеличенных фотоснимков, среди которых были и дактилоскопические, и молча передал их Бирюкову. Тот, внимательно рассматривая каждый снимок, стал по очереди передавать подполковнику.

— На стакане из пасечной избушки, — сказал Семенов, — обнаружены отпечатки пальцев Репьева и Розы. Есть отпечатки пасечника и на фляге с медом, которую нашли под хворостом. Однако унес ее туда не Репьев. На ручках и на самой фляге имеются отпечатки ладоней, но кому они принадлежат, пока не установлено. На цыганской телеге — человеческая кровь второй группы с положительным резус-фактором. У Репьева была третья группа...

Наступило молчание. Бирюков с интересом продолжал рассматривать фотографии. Подполковник Гладышев взял лежащую на столе пачку сигарет, закурил.

Прокурор, рассуждая вслух, сказал:

— Не ранил ли Репьев перед смертью своего убийцу...

— Чем, Семен Трофимович? — спросил следователь Лимакин. — На пасеке мы даже столового ножа не обнаружили.

— Между тем нож у пасечника был, — вдруг заметил Бирюков. Он быстро отыскал среди снимков сфотографированный стол, где отчетливо были видны ломти нарезанного хлеба. — Вот, Петя... Это не топором нарублено. Кроме того, как можно жить на пасеке, не имея ножа?..

Прокурор, разминая папиросу, поддержал:

— Был, конечно, у Репьева нож. Вопрос в другом: куда он исчез?

— Отпечатки следов ног на месте происшествия обнаружены? — спросил Бирюков.

— Трава там. Что в траве обнаружишь... — хмуро ответил Семенов и передал Бирюкову снимок трехлитровой банки, наполненной медом. — Вот на этой посудине есть отпечатки пальцев — и Репьева, и еще одного человека. Кто этот человек — устанавливаем...

Бирюков, отложив снимок, выбрал другую фотографию, на переднем плане которой отчетливо просматривался след телеги, проехавшей по жнивью, а через реденькие березки темнела пасечная избушка. Показывая ее следователю, спросил:

— Это что, Петя?

— Можно предположить, что от этого места на пасеку прошел человек и вернулся назад. Доказательств, что это был именно убийца, нет. Такое могло произойти до убийства или после него, — ответил Лимакин.

— Чья телега?

— По отпечаткам копыт лошади, ширине колеи и характерным особенностям колес установлено, что телега цыганская. После нее по старому тракту проехал груженный ЗИЛ. К сожалению, зафиксировать рисунок протектора не удалось — тракт сплошь покрыт травой.

— Барса у пасеки применяли?

— Барс не взял след.

— О пасечнике какие сведения?

— Установлено, что до приезда на жительство в Серебровку Репьев семь лет отбывал наказание по статье сто двадцать пятой.

— Семь лет по сто двадцать пятой? Детей воровал?

— Выходит...

— Предельный срок по этой статье за пустяк не дают. — Бирюков посмотрел на Голубева. — Запроси-ка, Слава, подробную справку на Репьева в информационном центре УВД. И вот еще что... Надо обзвонить все больницы и фельдшерские пункты в районе. Не обращался ли туда кто-либо с ножевым или огнестрельным ранением?

Голубев понятиливо кивнул, а Медников лукаво усмехнулся

— Вот, Славик, взял тебя новый начальник в оборот. Стараются время не упустить, как Барс.

Бирюков усмехнулся:

— Опасаюсь, Боря, что время мы уже упустили. Лошадь обнаружена на разъезде Таежное, где в сутки ос-

танавливается больше десятка электричек, идущих в оба направления. Преступник мог воспользоваться любой из них. — Повернулся к прокурору. — Семен Трофимович, из цыган никто не исчез?

— Козаченко говорит, все на месте. Но мы ведь не знаем, сколько их было в действительности.

— В колхозе сколько работало?

— Те, что работали, все в наличии.

— О лошади что говорят?

— «Кто-то угнал...» Цыганки в то время в палатках находились, не видели, а из мальчишек слова не вытянешь. — Прокурор помолчал. — Подозрительным кажется поведение Розы. Мне она сказала, что спала в палатке, а другие цыганки говорят, будто Роза догнала табор на шоссе, когда цыгане «голосовали», останавливая попутные машины.

— Может, она просто отстала?

— Может быть, но что-то тут не то. Роза сильно запугана, без слез говорить не может...

После оперативного совещания у подполковника остались прокурор и капитан Бирюков. Все трое были невеселы. Посмотрев на Бирюкова, подполковник вздохнул:

— Видишь, Антон Игнатьевич, как приходится тебе вступать в новую должность. Будто нечистая сила подсунула это убийство! — И, словно стараясь приободрить нового начальника уголовного розыска, заговорил бодрее: — С жильем для тебя вопрос решен. Иди в горисполком, там возьмешь ордер на квартиру. В новом доме...

— Спасибо, Николай Сергеевич. Но лучше я, не тратя времени, поеду в Серебровку.

— Считаешь, Голубев не справится?

— Мне легче, чем ему. В Серебровке как-никак мои земляки живут.

— Да! — словно вспомнил подполковник. — Ты ведь родом из Березовки, а от нее до Серебровки, как говорится, рукой подать. Родителей попутно проведешь. Давно у них был?

— В прошлом году.

— Значит, едешь?

— Прежде переговорю с Козаченко и Розой, — Бирюков встал. — А там доберусь на какой-нибудь попутке.

Сутулясь на стуле, Козаченко исподлобья смотрел на Бирюкова и молчал.

— Почему нам не разрешают уехать из райцентра? — наконец хрипло выдал Козаченко. — Мы не совершили никакого преступления...

Бирюков облокотился на стол:

— Подозрение, Николай Николаевич, на ваших людей легло.

— Подозрение — не обвинение.

— Да вас ведь и не обвиняют. Но пока обстоятельства дела выясняются, придется вам побыть в райцентре.

— Больше десяти суток ждать не будем. Не предьявите за это время обвинение — уедем.

— Думаю, что за десять суток все выяснится, — сказал Бирюков. — Вам доводилось отбывать наказание?

— Нет, я не нарушаю закон.

— Откуда же вы знаете уголовно-процессуальный кодекс?

— Я старший в таборе, мне все надо знать.

— Почему, как старший, не хотите отвечать на вопросы, касающиеся убийства пасечника?

— Потому что не убивал его. Я прокурору уже отвечал...

— Неубедительно отвечали. Сами, Николай Николаевич, посудите: разве взятое у пасечника колесо может послужить поводом для обвинения цыган в убийстве? Уезжая из Серебровки, вы чего-то другого испугались... Чего?

Не отводя от Бирюкова немигающих глаз, Козаченко словно воды в рот набрал. Светлая половина лица его нервно вздрагивала, как будто ее кололи иголкой. Чтобы не играть в молчанку, Бирюков, заговорил снова:

— И еще неувязка, Николай Николаевич, получается... Никто из находившихся в таборе не видел, как угнали вашу лошадь. А ведь прежде, чем угнать, лошадку запрягли в телегу...

— Ромка, сын мой, запрягал кобылу, — неожиданно сказал Козаченко. — В столовку с братаном хотел съездить.

— Столовой в Серебровке нет.

— В Березовку хотел ехать. Пока братана будил — кобылу угнали.

Сказанное могло быть правдой, однако чувствовалось, что Козаченко боится запутаться в своих же показаниях.

— Кто избил Розу? — спросил Бирюков.

— Гришка-пасечник.

— За что?

— Пьяный, собака, был. Кнутом хлестал.

— У него не было кнута.

— Кобылу Гришка на пасеке держал... Как без кнута с кобылой?

— Не было у Репьева кнута, Николай Николаевич.

Козаченко хотел что-то сказать, но передумал. Чуть приоткрывшись, он тут же замкнулся, как испуганная улитка. Проводив его, Бирюков снял форменный китель и повесил на вешалку. Появляться в цыганском таборе в милицеской форме не имело смысла. В кабинете заглянул Слава Голубев и спросил:

— Что Козаченко?..

— Ничего конкретного. У тебя какие успехи?

— Больницы обзвонил — никаких раненых. Сейчас начну по фельдшерским пунктам шерстить.

— Давай шерсти. А я попробую встретиться с Розой.

Три серые цыганские палатки пузырились за домом прокуратуры, на опушке соснового бора, рассеченного широкой лентой шоссейной дороги, уходящей из райцентра на восток. У обочины шоссе, метрах в двадцати от палаток, пустовал синенький летний павильон автобусной остановки. Подойдя к павильону, Бирюков присел на скамью. Будто ожидая автобуса, стал приглядываться к табору.

У крайней от дороги палатки старая цыганка в пестром наряде сама себе гадала на картах. Чуть подальше от нее молодой чубатый цыган медленно перебирал струны гитары. Рядом с ним худенькая цыганочка кормила грудью ребенка. За палатками двое шустрых цыганят бросались друг в друга сосновыми шишками.

Вызвать из палатки Розу оказалось не так-то просто. Старая цыганка, раскладывая карты, прикинулась глухой, а чубатый цыган отрицательно покрутил головой. Пришлось показать служебное удостоверение. Глядя в красные корочки, цыган не столько читал, что там написано, сколько сверял фотографию с оригиналом. Убе-

дившись, кто перед ним, он нехотя проговорил что-то на своем языке сидящей рядом цыганке, только что прекратившей кормить ребенка. Та поднялась и вместе с ребенком скрылась в одной из палаток.

Прошло не меньше десяти минут, пока появилась Роза. Бирюков узнал ее по синякам на смуглом лице. В отличие от своих соплеменниц, одетых в крикливо-пестрые наряды с длинными юбками, Роза была в светленьком современном платье, обнажающем до колен загоревшие стройные ноги, исполосованные синяками. Густые, смоляного цвета волосы были откинuty за спину. На шее — бусы из разноцветных крохотных ракушек, в ушах — клипсы-висюльки. Но Бирюкова особенно заинтересовали Розины глаза. Большие, с сизоватым отливом, они были переполнены ужасом.

Едва Бирюков заговорил о пасечнике, Роза, прижав маленькие ладони к ушам, закричала:

— Не знаю! Ничего не знаю!..

— Вы послушайте! — начал было успокаивать Антон.

— Не буду слушать! Ничего не буду слушать!

— Кто вас так напугал?

— Кровь! Кровь! Кровь!.. — истерично раз за разом выкрикнула Роза и убежала к палатке.

Чубатый цыган с силой ударил по струнам гитары.

— Что это с ней? — сумрачно спросил Бирюков.

Лицо цыгана нервно передернулось:

— Собака-пасечник до крови изувечил.

Бирюков повернулся и зашагал к райотделу.

Слава Голубев успел обзвонить все фельдшерские пункты, расположенные вблизи Серебровки и в райцентре. Ни в одном из них медицинскую помощь подозрительно раненому не оказывали.

Решив немедленно ехать в Серебровку, Антон надел форменный китель и фуражку.

Глава 6

В разгар уборочной страды поймать попутную машину легче всего у районного элеватора. Именно туда и «подбросил» Антона Бирюкова шофер милицейского «газика».

От ворот хлебоприемного пункта тянулся хвост груженых «Колхид», самосвалов, бортовых ЗИЛов, армейских трехсоток и «Беларусей» с прицепными тележка-

ми. Бирюков показал вахтеру удостоверение, прошел на территорию элеватора, тоже забитую машинами, и огляделся. У весовой площадки, в кузове очередного ЗИЛа, пухленькая лаборантка в белом халате, запуская длинный металлический зонд в золотистый ворох зерна, брала пробы. Подойдя к ЗИЛу, Антон спросил:

— Девушка, с кем тут в Серебровку можно уехать?

Лаборантка, стрельнув подкрашенными глазами, оглядела с высоты многочисленные машины и звонко крикнула:

— Тропынии!.. Иди-ка, родненький, сюда!

— Поцеловать на прощанье хочешь? — слышалось издали.

Лаборантка, как пикой, погрозила блеснувшим на солнце зондом.

— Вот этим поцелую — долго помнить будешь.

— Ради этого не пойду.

— Иди, родненький, попутчик тебе есть.

— А не попутчица?..

— По-пут-чик!

— Я больше попутчиц уважаю, но на безрыбье, как говорится, и рак рыба.

— Болтун, человек тебя ждет.

Поигрывая цепочкой с ключом зажигания, из-за кузова ЗИЛа вышел веселый парень в нейлоновой куртке на многочисленных замках «молниях». Увидев одетого в милицмейскую форму Бирюкова, он опешил:

— Здравия желаю, товарищ капитан?

— Здравствуй, земляк, — улыбнулся Антон.

— Вам куда?

— До Серебровки.

— С ветерком прокачу.

Пропылив по окраине райцентра, парень вырулил на магистральную щебеночную дорогу и повел свой самосвал так лихо, что за приоткрытыми стеклами кабины и впрямь запел ветерок. Разгоняясь на спусках, машина легко взбегала в гору, и встречные грузовики пролетали мимо, как пули.

— Не залетишь на крутом повороте? — спросил Антон.

— По семь ездов в день на элеватор гоняю. Не только повороты, каждый камушек на дороге изучил.

— Тебя как зовут?

— Торонуня... — Парень смущенно поморщился. —

То есть фамилия моя, конечно, Тропынин. А по имени-отчеству я полный тезка академика Королева.

— Сергей Павлович, значит?

— Угадали. А вы не родня нашему председателю?

— Сын его.

— То-то, смотрю, вылитый портрет Игната Матвеевича, с той лишь разницей, что лет на тридцать моложе. — Тропынин, не отрывая взгляда от смотрового стекла, помолчал. — А что в Серебровку едете, а не в Березовку, к родителям?

— Дела ведут, Сергей Павлович.

— По убийству пасечника, наверно?..

— По нему. Что в Серебровке об этом говорят?

— А чо говорить?.. Укокошили цыгане ни за грош, ни за копейку. — Тропынин скосил глаза на Антона. — Слышал, в райцентре около прокуратуры табор осел. Наверно, прокурор за цыган взялся?

— Допустим, — ответил Антон.

— Козаченку жалко — дядька мировой. Да и не он убил Гриню.

— Кто же?

— Левка или Розка.

— Какой Левка?

— Чубатый гитарист из табора.

— Почему так думаешь?

— Предполагаю на основе фактов...

Самосвал стремительно спускался к мостику через узкую, поросшую камышом речушку, названную из-за крутых спусков к ней Крутихой. Перед самым мостиком Тропынин резко тормознул и, прижав машину к правой кромке дороги, выключил зажигание. Достал из-под сиденья резиновое шоферское ведро, склеенное из куска старой камеры.

— Водички надо подлить...

Бегом спустился под мостик, зачерпнул воды и так же быстро вернулся. Наливая воду в горловину радиатора, заговорил:

— Вот, товарищ капитан, чтоб в рубашках двигателя не образовывалась накипь, воду на охлаждение беру только в Крутихе. Речка вроде как все другие, но вода в ней будто с антинакипином...

— Так какие же у тебя факты, Сергей Павлович, по убийству Репьева? — спросил Бирюков, когда самосвал угрожающе зарычал и, разгоняясь, рванулся через мостик в гору.

— А на основе фактов, товарищ капитан, такое кино получается, — продолжил прерванный разговор Тропынин. — Левка-гитарист без ума любит Розку, но по каким-то цыганским обычаям ему жениться на ней нельзя. Обычай — обычаем, а цыганская кровь кипит... Гриня Репьев, конечно, от скуки за цыганочкой ухаживал, но Левка всерьез это принял. Однажды говорил мне: «Зарежу собаку-пасечника, если к Розке приставать не перестанет». Я, конечно, Гриню предупредил, но Гриня же — баламут. Зальет, бывало, глаза водкой — и все ему до фонаря. Вот доигрался...

— Когда убили пасечника, Левка с другими цыганами в мастерской работал, — сказал Антон.

— Не было его там.

— Кузнец говорит, что утром все цыгане вышли на работу.

— Может быть, в восемь утра и все, но полчаса девятого Левки в мастерской не было. В это время я туда подъехал фару подлатать. Козаченко за час ее выправил, и мы укатили с Андрюхой Барабановым. Левки все еще там не было.

— По пути его не видел?

— Нет. Я сразу рванул к комбайнам на Поповщину. Так по старинке у нас зовется пшеничное поле, которое правее пасеки.

— Знаю я это поле.

— Ну, значит, загрузился я от комбайнов и по старому тракту газанул к шоссейке. Поравнялся с пасекой — сигналю... — Тропынин внезапно осекся. — Стоп, машина, задний ход... Пропустил один факт. Когда ехал к комбайнам, у пасеки посадил Андрюху Барабанова. Меду тот хотел прихватить для родственников — в райцентре живут. Договорились, что Андрюха будет ждать меня против пасеки на старом тракте. Подъезжаю — нет его. Посигналил — глухо. Тормознул, еще посигналил — в ответ ни звука. Значит, думаю, махнул Андрей на шоссейку пешим порядком и на другой попутке укатил...

— В какое время ты сигналил у пасеки? — спросил Антон.

— Ровно в одиннадцать, — посмотрев на часы, ответил Тропынин. — Андрей завтра прикатит из Новосибирска на новой «Ладе». Вы его порасспрашивайте толком. Может, он потому и не дождался меня, что на пасеке ЧП случилось.

— Барабанов в Новосибирск за машиной уехал?

— Ну! Машины-то оформляют на оптовой базе облпотребсоюза, которая в Клещихе находится.

— Почему он через райцентр поехал? Проще было сесть на электричку в Таежном.

— Пятьсот рублей у Андрея не хватало на «Ладу», и он хотел в райцентре в долг прихватить у родственников.

Бирюков вспомнил, как следователь Лимакин рассказывал об автомобильном следе, пригладившем след телеги.

— Цыганскую подводу, Сергей Павлович, не видел, когда ехал по старому тракту?

— Подводу — нет, а самих цыган видел, когда порожняком возвращался с элеватора. На шоссе они «голосовали». Это уже в половине первого было.

— Левка и Роза были среди цыган?

— Не разглядел. — Тропынин резко остановил самосвал и показал на жнивье влево. — Вот, как раз на этом месте весь табор мельтешил.

Бирюков вылез из кабины и перешел через дорогу. Судя по затоптанной стерне, на ней не раньше, как вчера, топтались десятка два человек. По разбросанным консервным жестянкам можно было догадаться, что люди здесь также обедали. Пыль от беспрестанно проносящихся по дороге машин успела прикрыть жнивье, и искать здесь что-то характерное было бесполезно.

Антон знал это место еще с детской поры, когда на нынешнем жнивье в летнюю пору буйно кудрявился цветастый клевер. До серебрянской пасеки отсюда было километра два, а до железнодорожного разъезда Таежное, где нашлась цыганская лошадь, — около пяти. Через дорогу от жнивья до самой Серебровки зеленели густые березовые колки.

Неожиданно вспомнилась фотография завязанной в хозяйственную сумку банки с медом на цыганской телеге. Подойдя к самосвалу, Антон спросил:

— Сергей Павлович, в какую посуду Андрей Барабанов хотел меду взять?

— Стекланную трехлитровую банку в сетке он из Серебровки вез, — ответил Тропынин. — А что такое?..

— Да так, ничего, — сказал Бирюков.

Едва только он сел в кабину, Тропынин включил скорость и посмотрел на часы:

— В Серебровку вас отвезу да еще одну езду на

элеватор успею сделать. Обещал бригадиру сегодня рекорд поставить.

— О Розе что-нибудь можешь рассказать?

— А чо о ней говорить?.. С виду Роза легкомысленная, но на самом деле строгая.

— Ты говорил: Левка или она убили пасечника.

— Ну, это я так, от фонаря, сказал, хотя Роза может номер отмочить... Гриня Репьев имел привычку с девушками руки распускать. Вполне могло случиться: сунулся он к Розе, а та сгоряча и полоснула его ножом в сердце. Дед Лукьян Хлудневский вчера рассказывал, что у Грини вся грудь была в крови...

— Ружья никакого у пасечника не было?

— В прошлом году держал Гриня на пасеке казанцевскую переломку шестнадцатого калибра. Кажется, участковый Кротов у него это ружьишко конфисковал, потому как незарегистрированное было.

— Друзья к Репьеву приезжали?

— Ни разу не видел. Гриня о своих прошлых друзьях даже пьяный ни слова не говорил. Может, он на пасеке скрывался от них, а?..

Бирюков промолчал. Среди поредевших березок показались шиферные крыши серебровских домов. Тропынин быстро спросил:

— Вас к бригадной конторе подвезти?

— К участковому, — ответил Антон.

Глава 7

Участковый инспектор Кротов с наслаждением ел арбуз. Отрезав огромный ломоть, он пристально разглядывал его, кончиком ножа терпеливо выковыривал каждое зернышко, вздыхал и сочно вгрызался в рубиновую мякоть. Управясь с одним ломтем, неспешно вытирал руки и затем губы полотенцем. Хрустя спелой арбузной коркой, отпахивал новую порцию и повторял дальнейшее в строгой последовательности.

— Разрешите, Михаил Федорович? — входя в распахнутую дверь, проговорил Антон.

— Добро пожаловать, товарищ Бирюков! — отчеканил Кротов. Он энергично потрянул протянутую для рукопожатия ладонь и снизу вверх посмотрел рослому Антону в глаза. — С прибытием на родную землю!

— Спасибо, Михаил Федорович.

— Недавно звонил подполковнику Гладышеву. Хо-

тел доложить о некоторых результатах, однако тот посоветовал дождаться вашего прибытия.

— Есть новости?

— Относительные. — Участковый широким жестом указал на арбуз: — Присаживайтесь к столу, товарищ Бирюков, угощайтесь. Вчера райпо порадовало нас дарами юга, вся деревня их покупает. — И, не дожидаясь согласия Антона, разрезал остатки арбуза на крупные ломти.

Антон, усевшись за стол, выбрал один из ломтей. Кротов пристроился напротив и в свойственном ему канцелярском стиле стал рассказывать, как неделю назад жена бригадира Гвоздарева, работающая в Серебровке почтальоном, в середине дня слышала негромкий выстрел. Где стреляли, она толком не поняла, однако предполагает, что выстрел раздался или во дворе Степана Екашева, или в соседней от него усадьбе деда Лукьяна Хлудневского. Кротов пытался осторожно выяснить этот вопрос, но Хлудневский со своей старухой уверяют, будто стреляли у Екашева, а Степан Екашев говорит, что слышал выстрел у Хлудневских.

Смакуя тающую во рту арбузную мякоть, Бирюков спросил:

— У кого из них ружья?

— У Лукьяна Хлудневского одноствольная ижевка двадцать четвертого калибра. Ружье смазано. Признаков недавнего употребления на нем не обнаружено. Степан Екашев от рода огнестрельного оружия не имел. Правда, к нему приезжает из райцентра сын Иван — заядлый охотник...

Бирюков, вспоминая, задумался:

— Иван, кажется, самый старший из сыновей Екашева?

— Так точно. На кирпичном заводе в райцентре работает. Передовик труда, насколько мне известно. Районная газета неоднократно о нем писала.

— Давно он в Серебровке был?

— На прошлой неделе. Помогал Степану сдавать соленые грибы сельповскому заготовителю. Нынче у нас, как говорят, аномальный год выдался — вторая волна груздей вместо августа в начальных числах сентября пошла. Урожайность их — невиданная! — Кротов сделал многозначительную паузу. — И еще одна загадка, товарищ Бирюков, мне покоя не дает. Хлудневский заявляет, будто со дня выстрела у него про-

пал кобелек. Букетом звали. Безвредный был песик. Больше пяти лет жил, а тут пропал.

Антон положил на стол арбузную корку и вдруг спросил участкового:

— Михаил Федорович, Сергею Тропынину можно верить?

— Торопуне?.. При официальном разговоре, полагаю, можно. Парень работающий, хотя и любит почесать язык, в поведении ветреный. Непревзойденный проказник на всевозможные причуды по части шутливых розыгрышей.

— Так вот. Тропынин говорит, что в прошлом году Репьев держал на пасеке ружье...

— Так точно. Шестнадцатый калибр системы Казанцева. Из-за отсутствия регистрации и охотничьего билета одностволка у Репьева мною была изъята и сдана в районный охотничий магазин с оформлением всех установленных законом документов.

— А молодого цыгана Левку из табора знаете?

— Знаю. Вероятно, о его ревности слышали?

— Слышал. Это правда?

— Был такой случай, когда Левка брал Репьева за грудки, но до драки дело не дошло. Имею сведения, что после того они помирились. Вы другой информацией располагаете?

Бирюков чуть помолчал:

— Есть предположение, что цыгане крепко поссорились с Репьевым. Попытаться бы отыскать корни этой ссоры. И с выстрелом надо разобраться. Хлудневский дома?

Кротов посмотрел на часы:

— Вероятно. Вас проводить?

— Если не затруднит...

Участковый снял со стены в прихожей форменный китель с такими же, как у Бирюкова, капитанскими погонами и стал одеваться.

Небольшой светлый домик деда Лукьяна Хлудневского весело голубел наличниками через три усадьбы от дома Кротова. За ним прогнулась подернутая зеленоватым мхом крыша когда-то добротного дома. Большую часть его окон прикрывали перекошенные старые ставни, а сам дом от времени будто врос в землю и съежился. Участковый показал на него:

— Хоромы Степана Екашева. Надорвался мужик непосильной работой, совсем запустил усадьбу. Всего

второй год, как ушел на пенсию, а высох, что тебе щепка.

— Болеет?

— Трудно сказать... Ни сам Екашев, ни его старуха ни разу у врачей не были, хотя на болезни жалуются постоянно. Полагаю, от усталости у них это. Представьте себе, товарищ Бирюков, по четыре головы крупного рогатого скота держат. По сорок-пятьдесят центнеров ежегодно вдвоем сена накашивают. В три часа ночи уходят на покос и возвращаются в одиннадцать вечера. Старуха прибежит, управится со скотиной и опять — на помощь Степану. А тот, не разгибаясь, день-деньской машет литовкой. Так, по-бурлацки, в Серебровке, кроме Екашевых, давно уже никто не работает. В сенокосную пору правление колхоза выделяет специальный трактор, и тот по очереди всем накашивает для личного скота. А Екашевым невтерпех управиться с покосом, по старинке привыкли жили рвать.

— Помнится, раньше Екашев сапожным ремеслом подрабатывал, — сказал Антон.

— Сапожник он отменный. В послевоенные годы, можно сказать, всю Серебровку и Березовку обувал. Теперь народ привык к фабричной обуви, однако Степан своего ремесла не бросает — идут некоторые к нему с заказами.

— Что ж он дом не починит? Неужели денег нет?

— Каждый год по весне умирать собирается, не хочет связываться с ремонтом. Что касается денег, говорит, сыновьям отдает. У него, кроме Ивана, еще четверо. Трое из них в Новосибирске определились, семьи завели. А последний не удался. Был судим за хищение, и где теперь находится — неизвестно.

— Это Захар, что ли?

— Он самый. Знаете?

— В школе начинали вместе учиться, только он и восьми классов не закончил. Когда его осудили?

— Еще до того, как вы после института в наш райотдел приехали работать. Скотником в бригаде Захар числился и, представьте себе, занялся систематическим хищением комбикормов. В райцентре похищенное сбывал, на водку денег не хватало...

Разговаривая, подошли к домику Хлудневского. Кротов открыл калитку и пропустил Бирюкова вперед. Дед Лукьян, сидя на крыльце, перебирал свежие опя-

та. Увидев сразу двух капитанов милиции, он с завидной для его лет легкостью вскочил на ноги.

— Вольно, дед Лукьян, сам рядовой, — пошутил Кротов.

Старик смущенно потеревил белую бороду:

— Думал, военное начальство нагрянуло, а тут все свои. — И, прищурясь, посмотрел на Антона: — Если не ошибаюсь, Игната Матвеевича сын?..

— Он самый, — подтвердил Кротов. — Теперь начальник уголовного розыска нашего района. Имеет желание с тобой побеседовать. Букет так и не нашелся?

— Нет, Михаил Федорыч.

— Агата Васильевна в избе?

— В сельпо подалась Агата. Говорят, там со вчерашнего дня арбузами торгуют.

— Тогда води нас в избу. Составим разговор без посторонних наблюдателей.

— Милости прошу, милости прошу, — заторопился Хлудневский.

Кротов и Бирюков следом за стариком прошли в светлую горницу, обставленную современной мебелью. Весь угол занимал телевизор с большим экраном. Хлудневский быстренько переложил с одного из стульев на стол пачку газет.

— Да вы присаживайтесь, присаживайтесь! В ногах, как говорится, правды нет.

После разговора с дедом Лукьяном о том да о сем коснулись выстрела.

— У Степки Екашева за амбаром кто-то стрелял, — твердо сказал дед Лукьян. — Мы с Агатой во дворе грибы перебирали, а там не очень сильно бабахнуло.

— Не спрашивали у Екашева, кто стрелял?

— Дружбы мы с ним не водим.

— Почему?

— Не принимает моя душа таких людей. Жаден до невозможности Степка. Старухи наши встречаются, а мы со Степкой так... здравствуй — до свидания...

Бирюков машинально посмотрел на лежащие на столе газеты и вдруг вспомнил о пыжах, обнаруженных оперативной группой.

— За этот год газеты? — спросил он Хлудневского. Тот утвердительно кивнул.

— За этот. Интересный рассказ с продолжением печатается, вот и собираю все газеты подряд.

— Можно посмотреть?

— Почему нельзя?

Дед Лукьян придвинул газеты к Бирюкову. Антон быстро перебрал всю пачку и с удивлением отметил, что из августовских номеров не хватает одного-единственного номера за девятое число, то есть как раз того, из которого были сделаны пыжи. На вопрос — куда исчезла эта газета? — Хлудневский с искренним недоумением пожал плечами:

— Агата, должно быть, куда-то подевала. Берет газеты без ведома.

— А сами вы, случайно, никому не отдали этот номер?

— Ни-ни! Очень увлекательное продолжение второй месяц подряд читаю. Про наши места написано. Вот смотрите, «Тайна Потеряева озера» называется... — Дед Лукьян ткнул пальцем в рисованный заголовок и вдруг старательно принялся перебирать газеты.

Пока он занимался этим делом, из магазина вернулась с большим полосатым арбузом запыхавшаяся бабка Агата. Хлудневский встретил ее сердитым вопросом:

— Ты, старая, куда подевала газетку за девятое августа?!

— Будто я их разглядываю, когда беру, — подозревавшись с Кротовым и Бирюковым, ответила старуха, — чего случилось-то?

— Продолжение разрознила, елки-моталки! Сколько раз наказывал: не трожь без спросу газетки! — вспылil дед Лукьян.

— Тю, старый, какая муха тебя укусила? Чего, говорю, случилось-то?

— Ничего страшного, Агата Васильевна, — постарался успокоить Антон.

Старуха задумалась, и вдруг виновато посмотрела на деда Лукьяна:

— Две недели назад, может и позже, я в одну газетенку кусок соленого сала завернула для Екашихи. Это ж надо подумать! Люди на покос собираются и всего-навсего берут буханку хлеба да жбан молока. Много ли на таком питании протянешь? Сердце мое не вытерпело, отнесла Екашихе кусок сала.

— Сколько наказывал: не трожь газетки! — опять вспылil Хлудневский.

Бабка Агата с укором покачала головой:

— Клок негодной бумаги пожалел. — И обратилась к участковому:

— Федорыч, а до тебя Федя-кузнец направился. Арбуз от магазина вот помог донести.

— Чего это он ко мне надумал?

— Не ведаю, милоч. Хмурый шел...

Кротов вопросительно посмотрел на Бирюкова. Антон уже понял, что вряд ли дед Лукьян теперь станет откровенничать, и поднялся...

Возле угрюмо съезжившегося дома Екашевых стояли два самосвала с зерном. Их номера были городскими. Кротов недовольно проговорил:

— Зачастили приезжие водители к Степану в гости. Надо срочно прикрывать лавочку.

— Что они у него нашли? — поинтересовался Бирюков.

— Любители выпить разнюхали подпольный вин-завод.

— Екашев занимается самогонованием?

— Так точно. Уголовное дело против него возбуждено по признакам статьи сто пятьдесят восьмой. Подполковник Гладышев поручил мне провести дознание, но вот убийство Репьева все планы спутало... — Кротов кашлянул. — Полагаю, вы не случайно заинтересовались у Хлудневского газетой?

— На пасеке обнаружены пыжи, изготовленные из районной газеты за девятое августа.

Кротов чуть было не остановился:

— Предлагаю немедленно побывать у Екашева.

— Не надо, Михаил Федорович, спешить.

Глава 8

Худенькая, под статью самому Кротову, жена участкового, поившая на кухне парным молоком белобрысую внучку, на вопрос — заходил ли кузнец? — ответила в кротовском стиле:

— Только что здесь находился и вышел. По какому вопросу хотел тебя видеть, не сказал. Просил по возможности к нему домой подойти...

...Рассматривая избу кузнеца от порога, Антон сообразил, что, кроме черного кота, там никого нет. Кротов кашлянул и не то шутя, не то всерьез произнес:

— Федо-о-ор! Ау-у-у!!

— Ор-ру-у!.. — коротко отозвалось эхо.

Кот, вскинув голову, сверкнул зеленоватыми глазами и опять свернулся клубком. За дверью слышались

лись грузные шаги. Дверь скрипнула, и с подойником парного молока вошел кузнец. Сняв с медно-рыжей седеющей головы картуз, он поклонился Кротову:

— Здоров будь, Михаил Федорыч, — повернулся к Антону. — И вы, молодой человек, здравствуйте. — Прошагал к буфету. Достал из него несколько глиняных кринок. Начал сцеживать в них молоко. — Садитесь там... Разговор, можа, долгий получится... Вот, с хозяйством справлюсь...

— Так, Федя, и живешь, как на казарменном положении, — усаживаясь на лавку возле окна, вздохнул Кротов. — Корову сам доишь. Разве мужское это занятие, к примеру спросить?.. И чего только терпишь холостяцкую жизнь? Женился бы давным-давно, детишек завел. Это цветы жизни, можно сказать.

— Пошли тебе бог их полный букет.

— У меня, Федя, внучка уже имеется.

Кузнец промолчал. Он разливал по кринкам молоко неторопливо, словно тянул время. Затем плеснул остатки из подойника в консервную банку, скомандовал:

— Жук!

Дремавший на кровати кот черной молнией метнулся к банке. Кузнец молча вынес кринки. Достал из печи чугуна с горячей водой. Ополоснув подойник, выставил его за дверь. Погремел во дворе рукобойником. Шикнул на заготовавшего гуся, похоже, загнал в хлев корову и вернулся в дом. Однако начинать разговор не торопился. Придвинул к столу табуретку. Сел и уставился в пол.

— Как понимать твое молчание, Федя? — не вытерпел Кротов.

Кузнец тяжело вздохнул:

— Чудится мне, Михаил Федорыч, что погиб пасечник за золотой крест...

Кротов недоуменно переглянулся с Бирюковым. Кашлянув, сказал:

— Не совсем понятно, Федор Степаныч, твое заявление.

— Я не заявляю — подсказываю, из-за чего убийство могло совершиться.

— Нам подробности надо знать, — вмешался в разговор Антон, а Кротов тут же представил его кузнецу:

— Это товарищ Бирюков, начальник уголовного розыска района.

Кузнец ничуть не удивился:

— Бирюковых издали видать, — и с паузами, словно взвешивая каждое слово, стал рассказывать, как недавно пасечник Репьев предлагал ему за тысячу рублей архиерейский крест с изображением распятия. Крест был старинный и стоил намного дороже, чем тысяча.

— А где Репьев взял этот крест? — спросил Антон. — Не спрашивали у него?

— Спрашивал. Гриня сказал, что в роднике, близ цыганского табора нашел.

— Из Америки с подземным потоком выплыл? — иронично вставил Кротов.

Но кузнец вполне серьезно ответил:

— Нательные золотые, серебряные крестики и раньше в роднике находили. Часовня в старое время стояла там. С годами разрушилась. Остатки бревен Степан Екашев в войну на дрова к себе увез.

— Откуда же, Федя, кресты в роднике оказались? — недоверчиво спросил Кротов.

— Видно, служители после революции зарыли их в землю, а вода подмыла.

— По-твоему, Репьев на самом деле мог найти крест?

— Мог найти, а мог и украсть.

— У кого?

— У тех же цыган.

— Думаешь, за это цыгане и убили Репьева?

— Упаси бог так думать. Винить цыган не хочу. Верней всего, кто-то другой на Гриню руку наложил.

— Кто же, по-вашему? — спросил Антон.

— Я ж ничего не знаю. Только подсказываю, что у пасечника был золотой крест.

— Почему уверен, что после убийства Репьева этот крест на пасеке не обнаружен?

Кузнец растерянно посмотрел на Бирюкова, затем на Кротова, но ни слова не произнес.

— Вопрос поставлен конкретно... — строго-официальным тоном начал Кротов, однако, перехватив осуждающий взгляд Антона, закончил мягче: — Ты, Федор Степаныч, не скрывай, сам знаешь, преступник должен быть наказан.

— Я ж на самом деле не знаю, можа, нашелся крест на пасеке, можа, нет. У меня другая думка: пока

Григия не показывал золото — был жив и невредим, а как только показал — сразу жизни лишился.

Золотой крест не на шутку заинтересовал Бирюкова, но сколько он ни старался узнать у кузнеца что-нибудь определенное, тот отделивался туманными предположениями и вроде бы даже сожалел, что затеял этот разговор. Исподволь наблюдая за морщинистым рыжеватым лицом, Бирюков несколько раз заметил, будто кузнец хочет в чем-то признаться и никак не может набраться для этого решимости. Стараясь приободрить его, Антон сказал:

— Федор Степанович, коль уж решили помочь розыску, то помогайте до конца.

— Боюсь с толку вас сбить, — мрачно обронил кузнец.

— Не бойтесь, мы разберемся.

Лицо кузнеца как будто посветлело. Повернувшись к Бирюкову, он, словно извиняясь, заговорил:

— Вчерашним вечером бригадир Гвоздарев и молодой офицер из милиции спрашивали меня: все ли цыгане в день убийства были на работе? Со страху сказал, что все, а как после одумался, то одного не было...

— Кого именно?

— Левкой его зовут, — тихо сказал кузнец. — Не по злому умыслу сказал неправду, извелся от такого греха за сутки.

— Почему Левка не вышел в то утро на работу?

— Этого не ведаю.

Черный кот, долакав молоко, сыто потянулся, подошел к порогу и уставился на кузнеца светящимися в сумраке зеленоватыми глазами. Кузнец поднялся и выпустил его за дверь.

Бирюков, размышляя о золотом кресте, вспомнил, что при осмотре на пасеке не обнаружили даже столового ножа, необходимого в повседневном обиходе.

— Михаил Федорович, — обратился он к Кротову. — У Репьева был какой-нибудь нож?

— Безусловно. Охотничий... Понимаете, товарищ Бирюков, как зима ляжет, в селе начинается массовый забой личного скота. Это праздничный месяц для Григии Репьева был — нанимался резать свиней да бычков. Туши свежевать мастерски умел. Денег за работу не брал, а свеженины на закуску полную сковороду — обязательно.

— Сломал Гриня недавно тот ножик, — неожиданно сказал кузнец.

Кротов удивился:

— Мне этот факт неизвестен.

— Сам Репьев говорил, просил финку сделать. Я отказался, дескать, не имею права такие ножи изготавливать.

— Правильно поступил, Федя.

Антон, задумавшись, спросил:

— До того, как поселиться на пасеке, Репьев у кого в Серебровке жил?

— У Екашевых, — быстро ответил Кротов. — Имеются какие-то предположения?

— Просто связь ищу...

От кузнеца Бирюков и Кротов ушли поздно, когда деревня уже засыпала. Тишину прохладной ночи нарушал лишь приглушенный расстоянием рокот комбайнов, работающих в ночную смену.

— Полагаю, заночуете у меня? — спросил участковый.

— Нет, Михаил Федорович, пойду в Березовку, — ответил Антон. — Надо проведать родителей, почти год их не видел.

— Зачем идти? На мотоцикле через пять минут в Березовке будем. А утречком за вами подъеду.

Глава 9

В доме Бирюковых за полночь горел свет. Хлопотавшая на кухне невысокая худенькая Полина Владимировна не то удивленно, не то обрадованно всплеснула руками:

— Антоша, сынок! Вот не ждала — не гадала. Отца жду, слышу: мотор под окнами фыркнул. Подумала, наконец-то с полей вернулся, а тут ты заходишь. Надо долго ли заглянул?

— На одну ночь, — поцеловав мать, сказал Антон. — По работе приехал.

— Наверно, с пасечником серебрявским разбираться?

— С ним.

— Ох, сынок, какое несчастье сотворилось... — Полина Владимировна суетливо заметалась по кухне. — Да ты снимай пиджак, умывайся с дороги. Сейчас ужин соберу, отец вот-вот должен подъехать...

Повесив на вешалку фуражку и форменный китель, Антон засучил рукава рубахи, неторопливо умылся и, присев к столу, спросил:

— Дед Матвей спит?

— В поле с отцом на машине утащился.

— Все здоровы?

— Слава богу. С прошлой недели у отца в плече осколок заныл, так он у него с самой войны к непогоде ноет.

— Значит, ненастье ожидается?

— Позавчера, говорят, над райцентром весь вечер гроза бушевала, а у нас ни дождинки не выпало. — Полина Владимировна тревожно посмотрела на сына: — Видать, запутанное убийство, если тебя из Новосибирска прислали с ним разбираться?

— Я, мама, теперь в районе буду работать начальником отдела уголовного розыска.

Осветив окна фарами, у дома остановился «газик». Лязгнули дверцы, и тотчас послышался громкий голос деда Матвея:

— Не доказывай мне, Игнат, не доказывай! Поповщина — земля пшеничная, а за Винокуровским наделом пшеница никогда не родилась. Там же хвощ сплошной, закисленная почва...

— На удобрения с агрономом понадеялись.

— Чо, паря, твои удобрения? Химия есть химия. Отравили землю — и только.

— Ну, батя, это ты перегибаешь.

— Скажи, недогибаю!..

Полина Владимировна улыбнулась Антону:

— Опять просчет обнаружил наш дед Матвей. Бушует!

Дверь отворилась. Держа под мышкой огромный арбуз, в кухню вошел Игнат Матвеевич Бирюков. За ним, задиристо выставив белую бороду и сердито пристукивая дубовым батоном, сутуло ступал высоченный дед Матвей.

Антон обнял отца и деда.

За ужином шел обычный разговор. Дед Матвей не терпел бесхозяйственности и, обнаружив таковую, сурово отчитывал провинившихся. Вот и сейчас не скоро он отвел душу, но уж отведя и допив чай, почти сразу удалился на покой. Полина Владимировна собрала посуду. Антон и отец остались наедине.

— Ну что с сребровским пасечником? — сразу

спросил Игнат Матвеевич. — Кротов сказал: ты по этому делу приехал.

— Пока загадка, — ответил Антон.

— Не скрывай: на кого след наводит?

— Честно говорю, скрывать нечего.

— Неужели такой опытный преступник был, что все следы замел?

— Следов много, но их расшифровать надо. Пока все шишки на цыган валяются, однако, насколько я успел сориентироваться, не в цыганах дело. Старых дружков Репьева надо искать. Знаешь, откуда Репьев к вам приехал?

— Знаю. Но старые дружки, как мне известно, к нему не наведывались.

— Так они тебе и представлятся! Пасека на отшибе. Кто там у Репьева бывал, сам бог не знает. Кстати, Репьев о своем прошлом тебе не рассказывал?

— Беседовали мы с ним на эту тему. Наказание он отбывал с Захаром Екашевым, который в одном классе с тобой учился. Освободились из колонии они вместе. Захар сговорил Репьева захватить в Серебровку. Тому приглянулись наши места, решил остаться в колхозе.

— А за что в колонии оказался?

— Ребенка украл. Понимаешь, умерла молодая женщина, а зять с тещей не поделили годовалого мальчика. Жили они в разных городах. И вот эта самая теща за две с половиной тысячи уговорила Репьева выкрасть внука. А чтобы сразу не навести следствие на нее, условились, что Репьев с полгода подержит мальчика у своих родителей, выдав его за своего внебрачного сына. После этого старуха обещала заплатить еще две тысячи, а сама на пятый месяц отдала богу душу. Оказавшись в пиковом положении, Репьев надумал сорвать деньги за украденного ребенка с папаши. На этом «бизнесе» и попался.

— Уголовных привычек за ним не замечалось?

— Нехорошие замашки у Репьева, конечно, были — семь лет ведь человек с уголовниками общался, — однако ни воровством, ни хулиганством он не грешил. Вот выпивкой злоупотреблял. И то, надо сказать, последнее время умереннее стал пить. На прошлой неделе я заезжал к нему на пасеку, потолковали по душам. Он дал слово, что со временем избавится от водочной заразы.

— А где Захар Екашев сейчас? — опять спросил Антон.

— Где-то мотается по белу свету. Как-то разговаривал я со Степаном, говорит, что Захар как в воду канул. Из всех сыновей только старший, Иван, стариков проведывает. Остальные разъехались, и как будто не существует для них родителей.

— Что это они так?

— Сам Степан виноват. С детства замучил парней в личном хозяйстве, ни одному сыну образования не дал. Вот они как ушли на службу в армию, так и не вернулись. А Захар из-за судимости и на службу не попал, заколобродил.

Помолчали. Антон снова спросил:

— Почему Екашев так бедно живет?

Игнат Матвеевич нахмурился:

— У этого «бедняка» денег — тьма!

— Ты серьезно?

— Конечно, не шучу. От жадности Екашев задыхается. И дядька Осип, отец Степана, такой же скряга был. Работал как вол, от зари до зари, а в таких портках зачуханных ходил, что другой на его месте со стыда бы сгорел. В сундук все деньги складывал. Скотины полный двор имел, но мясо в доме было только по праздникам, и то не досыта.

— Екашевы из кулаков, что ли?

— Кулаки на чужом горбу наживались, а Осип Екашев сам спину гнул и Степана приучил.

— Помнится, Степан раньше в колхозных передовиках ходил, — сказал Антон.

— До самой пенсии безотказно трудился. Сколько правление ему премиальных выплатило — не перечсть! Двужильный мужик. С виду кажется: в чем только душа держится? А за дело возьмется — не каждый здоровяк со Степаном потягается... Держал до самого последнего времени корову, телку да пару бычков. Прикинь, сколько это надо литовкой помахать?

— Зачем вдвоем со старухой иметь такое хозяйство?

— Спроси его...

Глава 10

Несмотря на ранний час, в коридоре серебрянской конторы дым висел коромыслом. Как бы ни была отлажена работа в бригаде, на утренней разнарядке

всегда выявляется что-то «вдруг». У комбайна вдруг «рассыпался» подшипник и без мастерской-летучки там дело — труба; у одного из тракторов во втором цилиндре вдруг «полетел» поршень, который — страшный дефицит! — можно достать только в райцентре; кузнецу для ответственной поковки вдруг понадобился древесный уголь, а где его взять теперь, сам кузнец не знал. Даже скотники и те вдруг надумали перегонять дойный гурт на новые выпасы и пришли к бригадиру за советом: «А то обождем, Витольд Михалыч, денек-другой? Надои молока, кажись, пока не снижаются...»

Толклись люди в конторском коридоре. Судили-рядили о колхозных делах, шумели-спорили, дымили табак. И каждый норовил проскользнуть в кабинет к бригадиру раньше другого. Всем было позарез некогда, всем — срочно!

И бригадир Гвоздарев, сдвинув на затылок флотскую фуражку, которую не снимал даже в кабинете, срочно отправлял к остановившемуся комбайну мастерскую-летучку; на собственном мотоцикле гнал нарочного в райцентр за дефицитным поршнем; хватался за телефон в поисках древесного угля, которого «раньше на селе было хоть пруд пруди, а теперь — сгори он синим огнем! — в век электричества дефицитом стал»; вытирая вспотевший лоб, советовал скотникам, что не стоит, мол, дорогие товарищи, дожидаться, когда надои снизятся, — поднимать их тяжело будет, сами знаете. И скотники охотно соглашались: ясно дело, Витольд Михалыч, знаем...

По мере того как посетители покидали бригадирский кабинет, разноголосый шум за его дверью постепенно утихал. Уже в девятом часу, проводив взглядом монументальную повариху, приходившую жаловаться на лихача Торопуню, который самосвалом раздавил новехонькую алюминиевую флягу с молоком, бригадир наконец-то посмотрел на терпеливо сидящих у окна Антона Бирюкова и участкового Кротова. Облегченно вздохнул:

— Теперь перекурить можно...

На вид Гвоздареву было около сорока пяти. Плечисто-сутулый, с загоревшим до смуглости крупным лицом и воспаленными от недосыпания глазами, он в своей флотской фуражке больше походил на корабельного боцмана, чем на колхозного бригадира.

— Витольд Михайлович, — заговорил Антон, — когда Барабанов должен вернуться в Серебровку?

— Покупка машины — дело одного дня. Вчера вечером надо бы Андрею появиться, но пока что-то нет его... А что, нужен вам Барабанов?

— Он в день убийства утром на пасеку заходил и, вероятно, видел пасечника еще живого.

Антон рассказал, как Тропынин высадил Барабанова возле пасеки, где тот хотел взять меду для родственника из райцентра, у которого собирался занять деньги. Гвоздарев, внимательно выслушав, пустил к потолку густое облако табачного дыма и сердито заговорил:

— Неужели Андрей в райцентре загулял? Шурин там у него живет на улице Кирпичной, Костя Ляпин — брат бывшей жены. Неужели машину обмывают? Ну, всыплю, когда появится!

— Адрес шурина у вас есть?

— Номер дома не помню. Да там все Костю знают. Бирюков подсел к телефону.

Слава Голубев ответил так быстро, словно ждал этого звонка. Выслушав Антона, он сказал:

— Минут через двадцать буду у Кости Ляпина и, если Барабанов загостился, мигом направлю его в Серебровку.

— Поговори с ним насчет пасечника, — подсказал Антон. — И вот еще, Слава... Попроси Лимакина, чтобы он выяснил у чубатого гитариста Левки, где тот находился в день убийства. На работе, как стало известно, Левка отсутствовал. О результатах сразу звони мне, буду в кабинете бригадира.

Бирюков положил трубку. Участковый поднялся и зашагал по кабинету. Обращаясь к Гвоздареву, заговорил:

— Тебе известно, Витольд Михалыч, что Степан Екашев самогонованием занимается? Или тебе ничего не известно?..

Гвоздарев насупился:

— Зачем Степану самогон? Он же непьющий.

— За воротник льющий, — скаламбурил Кротов. — Приезжим шоферам продает. Ты понял, какие дела у нас под носом, можно сказать, делаются?

— За приезжих я не ответчик, — вроде бы с облегчением сказал Гвоздарев. — А с Екашевым сам меры принимай.

— Вон как!

— Ну, допустим, такое безобразие мы запросто прекратим. — Гвоздарев бросил в пепельницу искуренную папиросу и достал новую. — Надо сегодня же разбить у Степана самогонный аппарат да штрафануть его покрепче для острстки.

— Штрафануть! Против Екашева уже возбуждено уголовное дело. Происшествие с пасечником вот помешало вплотную заняться Степаном.

— Ну, Михаил Федорович, это лишнее. Степану жить от силы месяц осталось.

— Он еще нас с тобой переживет.

— Нет, — бригадир, прикуривая, крутнул головой. — Совсем плохим Степан стал. Вчера его видел. Говорит, в придачу к туберкулезу старая грыжа открылась, а в больницу ни под каким предлогом ехать не хочет.

— Екашев — туберкулезник? — заинтересовался Бирюков.

— Несколько лет уже барсучье да собачье сало пьет.

Антон быстро взглянул на Кротова:

— Не Екашев ли застрелил Букета?

— Полагаю, такое вполне возможно, — тоже быстро согласился Кротов. — Кобелек у Хлудневского был очень упитанный.

За окном внезапно закудахтали перепуганные куры. Тут же послышался приближающийся гул автомобильного мотора, и возле конторы, будто наткнувшись на невидимую стену, остановился запыленный самосвал. Увидев через окно выскочившего из кабины Тропынина, бригадир нахмурился:

— Как с цепи сорвался, молокодав. Сейчас оправдываться станет за новую флягу.

А Тропынин между тем достал из кабины что-то похожее на ружейный приклад, громко хлопнул дверцей и со всех ног бросился к конторе. Ворвавшись в бригадирский кабинет, он возбужденно оглядел присутствующих. Протягивая Бирюкову перемазанную подсохшим илом куцую винтовку, выпалил:

— В Крутихе нашел, товарищ капитан! У мостика...

Бирюков и Кротов стали рассматривать обрез. Это была старая винтовка со стволом, расточенным для стрельбы дробью и отпиленным примерно на три четвертых своей длины. Судя по ржавчине на месте от-

нила, сделан он был давным-давно. Повернув рукоятку, Антон осторожно открыл затвор. В патроннике тридцать второго калибра гильзы не было.

— Кулацких времен оружие, — насупленно сказал Кротов.

— Приглашай, Михаил Федорович, понятых. Надо это дело оформить юридически, — проговорил Бирюков и посмотрел на Тропынина. — Расскажи, Сергей Павлович, как ты эту штуку нашел.

— Просто, товарищ капитан. Радиатор у моего самосвала немножко подтекает. Первым рейсом зерно сдал — возвращаюсь из райцентра. Решил водички подлить, чтобы не запарился двигатель. Остановился у Крутихи, где всегда воду беру. Спускаюсь под мостик, а там кто-то передо мной черпал, муть со дна. Прошел метра два к камышу. Присматриваю, где бы поглубже место найти. Вижу — в прогалине между камышами приклад ружья под водой. Там сантиметров двадцать глубина, не больше. Разулся, забрел в речку — обрез! Сразу — в кабину и к вам...

Завязался оживленный разговор. Участковый привел двух понятых, и Бирюков стал оформлять протокол добровольной выдачи Тропыниным ружья. Едва только понятые расписались, зазвенел телефон. Бригадир Гвоздарев ответил и передал трубку Бирюкову.

— Антон Игнатьевич, — вот какое дело... — встревоженно заговорил на другом конце провода Слава Голубев, — Барабанов не появлялся у Кости Ляпина.

— А уговор между ними был насчет денег?

— Был, но Барабанов за деньгами не приехал. — Голубев вздохнул. — И из райпотребсоюза никто в Серебровку не звонил. Очередь Барабанова на машину подойдет только через месяц.

— Ты, Слава, ничего не напутал?

— Путать нечего. От Ляпина я сразу заехал к председателю райпотребсоюза. Он всех опросил, кто с машинами связан. Никто о Барабанове ни сном ни духом не знает. Мигом позвонили на базу в Клешиху. И там Барабанов не был.

— Подожди, Слава, — Бирюков повернулся к бригадиру. — Витольд Михайлович, с кем из райпотребсоюза говорил Барабанов насчет машины?

Гвоздарев встревожился:

— Я сам разговаривал. Позвонила оттуда женщина, назвалась секретаршей. Потом передала трубку будто

бы председателю правления. Тот мне все рассказал, а я сообщил Андрею Барабанову, что слышал. Барабанов сразу недостающие деньги занимать стал.

— Сколько денег он с собой повез?

— Деньги у него в райцентре на сберкнижке лежали. Но, видно, недостаточно. Тысячи полторы он в Серебровке занял. Я тысячу дал, да еще, по-моему, у кузнеца Андрей рублей пятьсот перехватил.

— У кузнеца он четыреста взял, а еще сотню — у деда Лукьяна Хлудневского, — уточнил Тропынин.

Бирюков, морщась, потер висок и сказал в трубку:

— Слава, с другого телефона позвони сейчас в сберкассу: был ли там Барабанов? Результат сразу мне. Я жду.

Вскоре снова послышался голос Голубева:

— Барабанов в сберкассе не был.

— Вот что, Слава... — Бирюков опять потер висок. — Передай следователю Лимакину, пусть немедленно возьмет Онищенко с Барсом, эксперта-криминалиста... Словом, полностью оперативную группу. И, начиная от речушки Крутихи до серебрявской пасеки, прочешите весь березник вправо от дороги. Каждый кустик проверьте. Скажи следователю: я просил. Понял?

— А слева от дороги не надо? — спросил Голубев.

— Слева — жнивье, там искать нечего.

— А в кустах что?..

— Что найдете, все наше будет.

— Понятно.

Бирюков положил трубку и встретился взглядом с любопытно насторожившимся Тропыниным:

— Тебе, Сергей Павлович, срочно надо ехать к Крутихе. Дождись там милицейскую машину и покажи оперативникам, где и как нашел обрез. Понял?

Тропынин, запнувшись за порог, выбежал из кабинета. Насулившийся Кротов тревожно спросил:

— Полагаете, организованное преступление?..

— Кажется, Михаил Федорович, очень ловко организованное, — ответил Антон.

— Каковы ближайшие планы?

— Все будет зависеть от того, что обнаружит оперативная группа между Крутихой и серебрявской пасекой.

— Будем ждать результата?

— Нет, сложа руки сидеть не будем. Сделаем осмотр

жилых и хозяйственных помещений Екашева. — Антон посмотрел на бригадира. — Витольд Михайлович, в Серебровке есть депутат сельского Совета?

— Я депутат, — ответил Гвоздарев.

— Прекрасно. С понятыми и с вашим присутствием поищем у Степана Екашева самогонный аппарат. Быть может, при этом посерьезней что-либо найдем.

Глава 11

Тропынин подъехал к Крутихе почти одновременно с оперативной группой. Подробно рассказал все следователю и стал наблюдать за оперативниками. Те что-то измеряли, записывали, фотографировали. Прошли через мост на другой берег и опять начали измерять, записывать, фотографировать. Тропынин поскущел. С минуту он поразглядывал красивую овчарку, которую держал за поводок пожилой милицкий сержант. Затем поднялся на подножку своего самосвала и крикнул:

— Эй, начальство! Мне некогда с вами прохлаждаться. Зерно возить надо...

Белобрысый молодой следователь махнул рукой — поезжай, дескать. Самосвал, лихо развернувшись, запылил в сторону Серебровки. Резво спускавшийся с пригорка встречный «Москвичок» испуганно вильнул и осторожно проехал мимо стоящих на мостике оперативников.

Зеркальная гладь воды у мостика желтела редкими пятнами опавших листьев. На одном из них растерянно елозила божья коровка с черными крапинками на глянцевиито-красной спине. Метрах в шести, раскачивая спелыми метелками, шелестел густо затянувший речушку белесый камыш, за которым скрывалась водная прогалина, где Тропынин наткнулся на старый винтовочный обрез. Несколько тонких камышинок перед ней надломленно склонили макушки. Приглядываясь к ним, эксперт-криминалист Семенов сделал шаг в сторону по мосту и сказал:

— Можно предположить, что вот отсюда бросили обрез в речку.

Слава Голубев подошел к Семенову. Прищурясь, подтвердил:

— Точно, макушки надломлены, похоже, прямо по траектории падения.

Следователь Лимакин сделал пометку в блокноте.

Судмедэксперт Медников с сожалением заглянул в пустую сигаретную пачку и недовольно проговорил:

— Меня зачем сюда привезли? Траекторию высчитывать, так я вам насчитаю...

— Сейчас, Боря, лес начнем прочесывать, — ответил следователь.

Осмотр березника начали от реки. Шли цепью — метрах в шести друг от друга: Слава Голубев — у дорожного кювета, правее него — Медников, дальше — криминалист, следователь: а в самой глубине леса — Онищенко с Барсом. По шоссе медленно двигался милицейский «газик», мимо которого то и дело проносились машины.

Освещенные сентябрьским солнцем березки, роняя желтый лист, тревожно лопотали на ветру. В глубине колков было сумрачно и тихо. Густую траву покрывали матовые пятна утреннего инея. От земли тянуло сырой свежестью. Впереди, будто накликаая беду, надсадно каркала одинокая ворона.

— Вот это фрукт! — внезапно воскликнул Борис Медников и показал Славе Голубеву ядреный, чуть не с фуражку, груздь. — Надо было корзинки взять, на всю бригаду запаслись бы грибами.

Опять пошли молча. Грузди попадались на каждом шагу. Целыми семействами они нахально выпирали из травы, хотя, судя по обрезкам грибов, здесь уже прошел не один отряд грибников. Видно, удачливый год выпал. Или место оказалось такое.

Выйдя с опушки очередного колка к шоссе, Голубев огляделся. От Крутихи было пройдено уже больше километра. Столько же оставалось и до серебровской па-секи.

Из колка вышел Борис Медников, подошел к Голубеву и показал на ладони старую обгоревшую спичку:

— Вот нашел. Посмотри, по-моему, шведская...

Голубев шутку не принял:

— Знаешь, Боря о чем сейчас мыслю?

— О чем, мыслитель?

— Вот с этого места убийца Репьева мог направить лошадь с порожней телегой к разъезду Таежное, а сам — на попутную машину и — в райцентр... Возможен и другой вариант. Сначала он направился на лошади до райцентра, а когда утопил в Крутихе обрез, сообразил, что до Таежного ближе, и подкатил на лошади прямо к электричке...

Медников прищурился:

— А если на попутную машину, но в другую сторону?

— Там сплошь деревни, нового человека сразу заметно.

— Зато участковых милиционеров нет, а в райцентре запросто на вашего брата нарвешься. Кстати, тебя не заинтересовал серебрянский шофер? Мне, например, показалось, что обнаружить в камышах обрез можно было только при очень пристальном внимании.

Оба задумались. Надсадно каркавшая ворона, ненадолго умолкнув, раскаркалась снова. Близко, за колком. Там же длинными очередями застрекотала сорока. Голубев повернулся к березнику:

— Что это птицы разговорились?

— Кстати, о птичках. У бегемота... — Медников широко развел руки и внезапно так и замер: из глубины колка раздался отрывистый лай Барса.

Придерживая кобуру с пистолетом, Голубев бросился в колок. Грузноватый судмедэксперт запыхтел следом. С березок густо посыпались желтые листья, под ногами захрустел валежник. Приостановившийся на шоссе милицейский «газик», словно по тревоге, свернул в придорожный кювет, выбрался из него и, оставляя в траве жирную колею, быстро помчался в объезд колка.

Метрах в пятидесяти от дороги, почти у самой опушки, Семенов и Лимакин смотрели на невысокую кучу хвороста. Тут же удерживал за поводок лающую собаку Онищенко. А из-под хвороста нелепо торчали две ноги в черных лакированных полуботинках. Бурые остатки раздавленных на корню груздей хранили вмятины шипов, похоже, от подошвы кирзового сапога.

— Понятых?.. — спросил Голубев.

— Конечно, — мрачно ответил следователь. — Выбеги на шоссе, останови кого-нибудь.

Минут через пятнадцать Слава привел в колок двух пожилых водителей. Им объяснили суть дела и начали разбирать хворост.

Убитый лежал на боку. Серый, в крупную клетку пиджак был растегнут. Под левой лопаткой виднелась прорезь, заполненная сгустком засохшей крови, пропитавшей и пиджачную ткань.

Подошедший шофер милицейского «газика» молча протянул экспертам их чемоданчики. Семенов сфотографировал труп с разных точек.

В карманах, кроме носового платка и тощего бумажника, лежали паспорт и сберкнижка Барабанова Андрея Александровича. На сберкнижке числилось ровно четыре тысячи рублей. Наличных денег не было ни копейки.

Глава 12

Просторный двор Екашевых был так густо изрыт свиньями, что походил на вспаханное поле. Все дворовые постройки, как и сам дом, почернели от времени и выросли в землю.

Антон Бирюков вместе с Кротовым, бригадиром и понятыми прошел через заполненные всякой рухлядью сени в такую же сумрачную кухню с потрескавшейся русской печью и широким обеденным столом. У стола на низеньком сапожном табурете, обхватив руками живот, сидел небритый сморщенный человек и раскачивался из стороны в сторону. Антон с большим трудом признал Степана Екашева, так сильно он изменился. На приветствие Екашев не ответил.

— В чем дело, Степан? Оглох, что ли? — хмуро бросил бригадир.

Екашев уставился на него и заплакал:

— Загибаюсь я, Гвоздарев.

— Почему не едешь в больницу?

— Чего там делать? Час мой подошел, к вечеру грыжа доконает. Папаша родной, помню, таким же манером загнулся. Болезнь-то, говорят, по наследству передается.

Бригадир огорченно вздохнул:

— Жадность у тебя, Степан Осипович, наследственная.

— Побойся бога, Гвоздарев. Чего мне жалеть, когда все хозяйство порушилось?

В доме сильно пахло перебродившей бардой. Участковый присмотрелся к Екашеву:

— Да ты в петрезовом состоянии, Степан!

— Не скрою, выпил стакашек. Предполагал, облегчение боли наступит, а распроклятая грыжа, туды-ее-нехай, еще больнее защемила.

— На каком основании самогон варишь?

— Чего?

— Самогоноварением, говорю, почему занимаешься?

— Не кати на меня бочку, Кротов, последний день доживаю...

Бирюков исподволь огляделся. В доме было мрачно-темно. На полу у печки громоздились черные чугуны. Тут же, на лавке, стояла немытая посуда. Грязный, затоптанный пол, облупившиеся стены, перекошенные мутные окна. Казалось, свет и то меркнет, проходя сквозь засиженные мухами стекла.

У порога переминались с ноги на ногу понятые. Бригадир, посмотрев на них, спросил Екашева:

— В доме у тебя стулья или табуретки есть?

— Нету, Гвоздарев.

— Ну ты даешь, хозяин!

— Чего даю?.. Старые износились, а новых не завел. Рассиживаться некогда было. Сыновья мои, как знаешь, непутевы удались, побросали родителей. Как хочешь, так и доживай теперь старческую судьбу.

— Иван-то часто навещает...

— Какая польза от его навещаний? Если бы он деньгами старикам помог, другое дело...

— Хозяйка-то где?

— По грибы подалась.

— Так вот, Степан, — вмешался участковый, — пришли мы, чтобы прикрыть твой подпольный винзавод. Добровольно выдашь аппарат или поиски начнем?

Екашев начал трезветь:

— Какой у меня аппарат, Кротов? Помру ведь сегодня к вечеру, тогда хоть весь дом переверни.

— Ты смертью не прикрывайся. У меня имеется официальное заявление, что спаиваешь приезжих шоферов. Прокурор дал разрешение сделать у тебя обыск. Что, будем искать?

— Ну, ищи, Кротов, ищи! — с неожиданной злостью выкрикнул Екашев. — Не найдешь — я на тебя в суд подам.

— А найду?

— Тогда что хочешь со мной делай!

— Так и отметим в протоколе: «Выдать самогонный аппарат гражданин Екашев добровольно не захотел». — Участковый повернулся к Бирюкову: — Полагаю, в первую очередь посмотрим надворные постройки?

Антон утвердительно наклонил голову. Понятые облегченно вздохнули — видимо, их смущала необычность положения — и торопливо вышли во двор.

— Ты в доме, Кротов, ищи, в доме! — опять крикнул Екашев.

— Подсказывать, Степан, не надо, — строго сказал участковый. — Прошу выйти вместе с нами и присутствовать при осмотре надворных построек.

Екашев, застонав, поднялся. Обул у порога обрезки от старых валенок и, еле-еле передвигая ноги, зашоркал позади всех. Увидев, что участковый с понятыми первым делом направился к амбару, на дверях которого висел здоровенный замок, он медленно опустил на прогнившее крыльцо и с натугой выдал:

— Кротов... Там нет аппарата...

Участковый обернулся:

— Это мы сейчас посмотрим. Неси ключи, Степан.

Екашев, обняв низ живота, продолжал сидеть, как будто сказанное участковым к нему не относилось.

— Ну в чем дело, Степан Осипович? — удивился бригадир. — Почему ключ не даешь?

— Потерял я его, Гвоздарев.

— Не валяй дурака. Думаешь, без ключа твой амбар не откроем?

— Чего к амбару прилипли? Говорю, нет там аппарата. Уничтожил я его.

Кротов опять перешел на официальный тон:

— Гражданин Екашев, не дадите ключ — будем взламывать дверь.

— А чинить кто будет? — обреченно пробормотал Екашев. Сунув руку в карман заношенных брюк, он кое-как отыскал ключ и со злостью швырнул его на землю: — На, Кротов, подавись!.. Сажай меня в тюрьму, а я к вечеру подохну... Велика радость тебе будет!

Замок никак не открывался. Пока участковый раз за разом проворачивал ключ, с улицы в екашевский двор, чуть не крадучись, вошли дед Лукьян Хлудневский и кузнец Федор Степанович Половников. Антон хотел было тут же выпроводить незваных свидетелей, но, подумав, что понятые все равно разнесут по селу подробности, смолчал.

Наконец замок щелкнул. Из амбара потянуло застойным запахом плесени. Бирюков вошел в амбар вместе с Кротовым и понятыми. Кругом стояли разошедшиеся старые бочки, громоздились друг на друга какие-то пустые ящики. Слева от порога стоял замкнутый на такой же замок, как амбарная дверь, старинный сундук. Рядом лежали велосипедные колеса с погнутыми ржа-

выми спицами, негодные обручи от бочек. В дальнем углу темнело дощатое сооружение наподобие ларя. Над ним пристроились широкие полати, заваленные изношенной обувью. Все было так густо покрыто пылью, что рыться в этом старье не имело смысла. Слой пыли покрывал и прогнивший пол амбара, по которому тянулась дорожка следов к сундуку.

— Надо посмотреть, что там, — показывая на сундук, сказал участковому Антон.

Прижавшись к дверному косяку, в амбар тревожно заглянул Екашев. Участковый спросил:

— Ключ подашь, Степан, или взламывать будем?

— Ломай, Кротов, чужое добро. Курочь без жалости.

— Попробуйте амбарным ключом, замки с виду одинаковые, — подсказал Бирюков.

Замок действительно открылся. Кротов поднял крышку. Сундук наполовину был заполнен старыми сапожными заготовками, покрытыми зеленоватой плесенью. В одном из углов заготовки поднимались бугром, и, судя по стертой плесени, их недавно ворошили. Участковый быстро разгреб бугор и неожиданно, сам удивившись, достал из сундука добротные кирзовые сапоги с торчащими из голенищ портянками из домотканого холста. Увидев их, дед Лукьян Хлудневский чуть не уперся бородой в лицо рядом стоящего кузнеца:

— Федя, кажись, Гриньки-пасечника обуви!

— По размеру вроде его, — растерянно сказал кузнец.

— Портянки Гринькины! — заволновался дед Лукьян. — Это моя Агата по весне ему кусок холстины отдала за то, что воску ей на лампадные свечи принес.

— Иуда-предатель! — вдруг взвизгнул Екашев.

Дед Лукьян мигом развернулся к нему:

— Преступник!

— Разговорчики!.. — строго прикрикнул Кротов и поставил рядом с Екашевым сапоги, голенища которых доходили тому чуть не до пояса. — Полагаю, размер тебе великоват, Степан, а?..

Екашев как воды в рот набрал.

— Почему молчишь? — опять спросил Кротов. — Сказать в свое оправдание нечего?

— Пасечник оставил...

— Позабыл обуться, когда в гостях у тебя был?

— Не бесплатно, ясно дело, оставил.

— А как?

— Пятерку займа выпросил.

— У тебя зимой снега не выпросишь, — быстренько сказал дед Лукьян.

— Иуда-предатель, — морщась, огрызнулся Екашев.

— Прекратите взаимные оскорбления! — Кротов, глядя на Екашева, прищурился: — Выходит, что за пять рублей Репьев и портянки тебе пожертвовал, и босиком ушел?

— Пошто босиком... Опорки старые у меня взял.

— Ой ли, Степан?..

Лицо Екашева болезненно покривилось:

— Не ойкай, Кротов. На какую холеру портянки без сапогов?.. Ей-богу, не вру. За день до своей гибели приперся вечером Гринька и вот оставил, на мою пропасть, в залог сапоги.

— Это мы установим, когда у тебя Репьев был...

Угрюмо насупленный кузнец неожиданно сказал:

— Правда, за день до смерти пасечник заходил в Степанову усадьбу. Я аккурат с работы шел, видел.

Екашев посветлел так, словно его боль разом исчезла:

— Слышал, Кротов, что человек говорит?! — поклонился кузнецу: — Спасибо, Федор, за искренние слова.

Участковый недоверчиво посмотрел Екашеву в глаза:

— Какие дела привели к тебе Репьева в тот вечер?

— Говорю, пятерку займа канючил.

— Ну и заливаешь, Степан Осипович! — вклинился Гвоздарев. — Репьев хоть и пил, но деньги у него всегда водились.

— Поиздержался, видать, с молодой цыганкой.

Гвоздарев махнул рукой — что, мол, разговаривать с человеком, который несет невесту какую чепуху. Кротов сокрушенно покачал головой и стал осматривать сундук. Заглянув за него, он вдруг вытащил кусок ветхой мешковины. Судя по густым полосам ржавчины и масляным пятнам на мешковине, в ней долгое время хранился винтовочный обрез. Металлическая оковка с торца приклада оставила четкий ржавый след, будто печать. Поддерживая мешковину на вытянутых перед собой ладонях, словно полотенце, приготовленное под хлеб-соль, Кротов показал ее понятным:

— Прошу определить, что здесь пропечталось?

Два молчаливых колхозника переглянулись друг с другом. Один из них пожал плечами:

— Кажется, ружейный приклад...

— Не кажется, а точно — приклад, — подтвердил другой.

Кротов повернулся к бригадиру:

— Вы, товарищ депутат сельского Совета, как полагаете?

— Чего тут полагать, Михаил Федорович? — хмуро ответил бригадир. — Обрез был завернут.

— А ты, Степан, что по этому поводу скажешь? — обратился Кротов к Екашеву.

Тот, обхватив руками живот, какое-то время молчал, как онемевший. Потом глаза его тревожно забегали, словно он хотел определить — кто же это из присутствующих так крепко его ударил исподтишка?.. И вдруг, сморщась, заплакал:

— Чего привязались?.. Пасечник тряпку оставил, ружье с обрезанным дулом приносил...

Бирюков решил, что настало время брать инициативу в свои руки.

— Зачем Рельев принес к вам это ружье? — спросил он Екашева.

— Собачка Лукьянова повадилась куриные яйца в гнезде уничтожать. Гринька прикончил ее, чтоб не пакостила.

Дед Лукьян Хлудневский всплеснул руками:

— Ой, воду мутишь, Степан! Ой, мутишь! Мой Букет никогда не трогал сырых яичек.

— В своем доме, может, и не трогал, а по чужим дворам давно пакостил.

— Бреешь, Степан!

— Сам ты брехун...

— Куда дели убитую собаку? — останавливая назревавшую перебранку, спросил Антон.

Екашев показал на роющихся в навозе кур:

— Там где-то пасечник закопал.

— Ружье куда дел?

— С собой ночью унес.

— А золотой крест Рельев не предлагал вам купить?

Ноги Екашева обмякли. С трудом удерживаясь за дверной косяк, он уставился на Бирюкова непонимающим взглядом:

— Какой крест?

— Золотой, говорю.

— Нет, не предлагал... — Екашев растерянно забегал глазами по хмурым лицам понятых, затем перевел взгляд на кузнеца и как будто обрадовался: — Федор, не дай соврать. Это ж тебе пасечник хотел продать крест.

— Откуда знаешь такое? — удивился кузнец.

— Гринька мне сказывал.

Пристально наблюдая за выражением лица Екашева, Бирюков интуитивно понял, что золотой крест у него. Обращаясь к участковому, сказал:

— Давайте, Михаил Федорович, поищем застреленную собаку, потом — крест.

— Может, сам покажешь, Степан? — спросил Екашева участковый.

— Нету у меня креста, Кротов. А самогонный аппарат в бане спрятан, под полом.

— Аппарат не волк, в лес не убежит.

— Ты ж за аппаратом ко мне пришел...

— Обстоятельства, как говорится, переменились.

— Не убивал я пасечника! — сорвавшимся голосом вдруг взвизгнул Екашев.

— А мы тебя пока в этом и не обвиняем. Может, все-таки добровольно выдашь золотой крест?

Екашев промолчал...

Найти останки Букета оказалось нетрудно. Приглядевшись к навозной куче возле загона, понятые вилами отрыли голову и шкуру собаки. Куда труднее было что-то отыскать в доме. Хозяева накопили здесь столько всякого старья, что, казалось, сам черт мог сломать в нем ногу. Неизвестно, сколько пришлось бы провозиться в захламленных комнатах, если бы не сам Екашев. Войдя в дом, он сел на свой сапожный табурет и стал отчужденно наблюдать за участковым и Антоном Бирюковым. Обследовав прихожую, они с понятыми вошли в большую комнату, где стояли два массивных сундука с навесными замками. Екашев сразу заволновался и внезапно спросил:

— Кротов, а если покажу крест, что будет?

— Зачтется, как добровольная выдача.

— Значит, отберешь?

— Не отберем, а изымем, как добровольно выданное вещественное доказательство.

— Крест же мой, а не Гринькин!

— Степан Осипович, мы во всем разберемся, — сказал Бирюков.

Екашев недоверчиво посмотрел на него, но встал, порывшись в карманах, вытащил ключ. Затем подошел к одному из сундуков, задумался, словно все еще не решил: открывать или не открывать? Тяжело вздохнул, отомкнул замок и, откинув крышку, перегнулся через высокий край. Как и все в доме, сундук был заполнен каким-то старьем, и Екашев, зарывшись в него, похоже, чуть не задохнулся. Выбравшись оттуда, он дрожащими руками протянул Бирюкову сверкнувший золотом крест. Антон впервые видел такую церковную реликвию. Он пригласил в комнату кузнеца:

— Это предлагал вам пасечник?

— Это, это... — не дав кузнецу открыть рот, затопился Екашев. — Я просил Гриньку продать. Перед смертью хотел деньжонок выручить, чтобы похороны себе справить...

— Где взяли крест? — спросил Антон.

— Когда часовню у родника разбирал, под полом нашел. — На глазах Екашева выступили крупные слезы. — В войну еще это было. Сгнила часовня, на дрова ее увез. С той поры хранил крест, а тут, чую, погибать стал, думаю, пропадет золото ни за понюшку табаку...

По деревне к бригадной конторе стремительно помчался милицейский «газик». Бирюков поручил участковому оформить протокол, а сам вышел на улицу. Машина, успев уже развернуться, мчалась назад. Едва она затормозила возле усадьбы Екашева, из нее выскочил Слава Голубев и стал рассказывать Антону об обнаруженном трупе Барабанова. Подошли Лимакин и Медников, только эксперт-криминалист остался в машине.

— Труп на попутном грузовике в сопровождении Онищенко отправили в морг, — скороговоркой закончил Слава. — У тебя как дела?

— Нашли сапоги пасечника и еще кое-что. — Бирюков повернулся к Медникову: — Боря, осмотри Екашева. Если не симулирует, надо срочно его в больницу.

— Неужели он? — многозначительно спросил Лимакин.

— Определенно сказать нельзя. Улики выдают, но в поведении Степана Осиповича много нелогичного.

— Цыгана Левку я допросил. Сыщенко его фами-

лия. Оказывается, в то утро он действительно не был в таборе. Тысячу рублей оформлял на аккредитив в райцентровской сберкассе.

— В какое время?

— Говорит, приехал в райцентр на попутке рано утром, а сотрудники сберкассы запомнили, что цыган был у них около двенадцати часов... У тебя не появилось фактов, связывающих убийство пасечника с убийством Барабанова?

— На опушке того лесочка, где обнаружили труп, мы нашли нож, которым, похоже, совершено убийство Барабанова. То ли обронил преступник, то ли умышленно бросил...

— Как бы его посмотреть?..

Лимакин позвал эксперта-криминалиста. Семенов, подойдя к ним, показал Бирюкову упакованный в прозрачный целлофан длинный охотничий нож. На остро заточенном лезвии и на плексигласовой наборной рукоятке ножа засохли бурые потеки крови. Внимательно осмотрев его, Антон сказал:

— Предъявим для опознания. — И поднял глаза на Семенова: — А мы здесь отыскиали застреленную собаку. Надо взять несколько дробинок на анализ.

Когда Бирюков и участники следственно-оперативной группы вошли в дом, Екашев понуро сидел на своем табурете. Понятые и Гвоздарев, примостившись кто где, наблюдали за пишущим Кротовым. Судмедэксперт, уже осмотревший Екашева, возился с замком своего чемоданчика, который упорно не хотел закрываться. На вошедших Степан Екашев не обратил ни малейшего внимания. Возможно, он был под впечатлением только что сказанного Медниковым: «Немедленно надо в больницу».

Предъявленный охотничий нож по наборной рукоятке и выцарапанной на ней метке «Л. С.», опознал кузнец Федор Степанович Половников. По просьбе цыгана Левки он на прошлой неделе выправлял у этого ножа зазубренное лезвие.

Глава 13

Убийство серебряевского механизатора Барабанова озадачило Антона Бирюкова. Собственно, само убийство, без всякого сомнения, квалифицировалось как преднамеренное, с целью грабежа, и загадки здесь ни-

какой, можно сказать, не было. Задуматься заставляло другое: сразу две смерти в небольшом тихом селе, где даже бытовая драка — явление редкое.

Оставшись после отъезда оперативной группы в Серебровке, Бирюков надеялся получить хоть какие-то дополнительные сведения от жены Екашева, которая лишь к вечеру заявила из лесу с двумя огромными корзинами груздей. Полусонная от усталости бабка Екашиха, как называли ее серебровцы, на все вопросы тускло отвечала одним и тем же: «Не знаю, родимый, врать не хочу». Только на вопрос о золотом кресте ответила по-иному:

— Поминал как-то старик, чтоб в гроб его соборо-
вали с золотым крестом, а где тот крест взять, не
сказал.

— Давно он это говорил?

— Не помню, родимый, врать не хочу.

Антон обвел взглядом убогое жилище, посочув-
ствовал:

— Бедновато у вас в доме.

Старуха дремотно клюнула носом:

— Мы усю жизнь у нужде.

— Сыновья не помогают?

— Сыны — отрезанные ломти, с них чего возьмешь.

— Где ваш Захар?

— У тюрьме сидит.

— Он же, говорят, освобождался.

— Ослободился и опять сел.

— Кто вам об этом сообщил?

— Старик мой.

— А старику кто?

— Вроде друг Захара какой-то объявлялся, перено-
чевал у нас и тем же разом сгинул.

— Давно это было?

— Несколько ден назад. Точно, родимый, не помню,
врать не хочу.

— Как он выглядит?

— Ростом высокий, а лицо не разглядела — по тем-
ноте пришел в дом.

— Один?

— С Гриней Репьевым.

— Они что, знакомы были?

— Не знаю, родимый, врать не хочу.

— О чем говорили?

— Не слухала я их болтовню.

— Как Репьев у вас на квартире жил? — опять спросил Антон.

Старуха пожала плечами:

— Как усе квартиранты живут. Пятерку у месяц за ночлег платил, а питался отдельно. Нам-то кормить его нечем было.

— Говорят, он выпивал часто... Не буянил пьяный?

— Не, не буянил, врать не стану. Лишь, как сильно перепьет, песни тюремные затягивал и плакал.

— Когда последний раз Репьев к вам заходил?

— Кажись, с Захаровым другом...

— Деньги в долг не занимал?

— Откуда у нас деньги, чтобы в долг раздавать...

— Хозяйство у вас приличное. Неужели не хватает денег?

— Старик ими усю жизнь правит. Не знаю, родимый, куда они у него расходятся, врать не хочу.

Старуха устало склонила голову и, как показалось Бирюкову, даже всхрапнула. Антон задал еще несколько вопросов и, не получив в ответ ничего вразумительного, попрощался...

В бригадной конторе, тихой в это позднее время, кроме бригадира, никого не было. В неизменной флотской фуражке, Гвоздарев подбивал на счетах какую-то сводку. Указав взглядом вошедшему в кабинет Бирюкову на стул у окна, он несколько раз двинул костяшками туда-сюда и с удовлетворением откинулся на спинку стула:

— Вот работнул сегодня Тропынин! Два суточных плана сделал! Придется простить парню раздавленную флягу с молоком, утром в его честь флаг трудовой славы поднимем. — Улыбнулся и без перехода спросил: — Что бабка Екашиха рассказала?

— Измученная она какая-то, спит почти на ходу, — ответил Антон.

— И сам Екашев, как присядет, так дремлет. Они ж, как египетские рабы, спин не разгибают. Хронически не высыпаются.

— Да что за нужда у них такая?

— Загадка! Я, например, ничего понять не могу. Степан пенсию хорошую получает, но дело даже не в пенсии. Прошлую осень наш бухгалтер из интереса подсчитал, сколько Екашев получил денег из колхозной кассы... — Гвоздарев придвинул счета и принялся отщелкивать костяшками. — Телку на четыреста рублей

сдал, двух бычков на восемьсот, кабана почти на двести пятьдесят да картошки на тысячу. Итого получается... две тысячи четыреста с лишним рубликов, не считая того, что еще одного борова Степан продал мясом в райцентре на базаре да, наверное, полдесятка овец туда же свез. Живут Екашевы вдвоем. В месяц, по словам продавца, тратят через наш магазин не больше двадцати рублей. Где остальные деньги?

— На сберкнижку, видимо, складывают...

— В том-то и дело, что у Екашева нет сберкнижки. Одеваются, сами видели, как. Сегодня перед отправкой говорю Степану: «Переоденься почище, не стыдно в навозных штанах в больницу ехать?» А он серьезно отвечает: «Нету у меня, Гвоздарев, во что переодеться». Ну, мыслимо ли в наше время такое?

— У них действительно в доме одни обноски.

— А в Серебровке издавна повелось: не годна одежда стала, тащи Екашевым, — доносят до последней нитки.

Антон невесело усмехнулся:

— Вот уж в самом деле, как сказал бы Кротов, загадочные обстоятельства. Может, все-таки Екашевы на детей тянутся?

— Дети от них отреклись. Старший Иван — мой ровесник, даже когда-то дружками были. Не так давно разговорились с ним, спрашиваю: «На вас, что ли, отец жилы рвет?» Тот с болью: «По конфетке внукам ни разу не купил. Одна песня у старика — на беспросветную нужду жалуется...»

Слушая Гвоздарева, Бирюков пытался уловить связи Екашева с пасечником или Барабановым, но никаких зацепок как будто не было. Самые разные мысли кружились в голове Антона. Он дотошно анализировал поведение Екашева, цыган, сложившуюся ситуацию и никак не мог соединить разрозненные факты в логическую цепочку. Цыгане, не получив в колхозе расчета и бросив на произвол судьбы лошадь, внезапно снялись с облюбованного места. Левкин нож найден почти у трупа Барабанова. Репьев, по словам Екашева, застрелил из обрезка собаку Хлудневского, а Тропынин, словно нарочно, отыскал этот обрез в Крутихе. Екашев непонятно из каких соображений спрятал в амбаре сапоги и портянки убитого пасечника. У него же оказался золотой крест, который Репьев хотел продать верующему кузнецу. Чей же это крест? Если Репьева, то где пасеч-

ник его взял? Кто телефонным звонком из райцентра спровоцировал Барабанова на покупку машины? Не Роза с Левкой?

— Витольд Михайлович, — сказал Бирюков, — мне бы еще о Барабанове узнать побольше.

— Отличный был механизатор. Демобилизовался из армии три года назад. В технике разбирался великолепно. Хоть на трактор его сажай, хоть на автомашину, хоть на комбайн. Норму пока не выполнит, с работы не уйдет. В прошлом году, помнится, снег рано припугивать начал, а у нас гектаров пятьдесят пшеницы в валках на полосе лежало. Будто на грех, задождило. Комбайны на подборке валков худо пошли. Андрей почти трое суток сам штурвал не бросал и других механизаторов за собой увлек. До последнего колоска все убрали. Вот такой это был работник...

— А как человек?

— И как человек хороший, хотя и легкомысленный.

— В чем?

— Женщины Андрею жить мешали. Внешностью парень был видный. Общительный, веселый и врун порядочный. Правда, врал без корысти, ради забавы. А женщины липли к нему, словно мухи к меду. Куда бы ни поехал в командировку — обязательно новую ухажерку заведет.

— Холостяк был?

— Как сказать... Женился он как-то смешно. Нынешней весной Тропынин в отпуск ушел. Самосвал пришлось на прикоп поставить. А тут наряд на фуражное зерно дали, срочно надо вывозить с райцентрального элеватора. Пришлось Барабанова на самосвал перевести. Вечером заявляется в контору: «Задание выполнил, Витольд Михайлович!» — «Невесту не нашел новую?» — смеюсь. «Нашел, — говорит, — в эту пятницу свадьбу гулять будем до понедельника. Официально вас приглашаю». Я посчитал это шуткой. Посмеялись. А он на самом деле в пятницу невесту привозит — лаборантку с элеватора. Верой ее звать...

— Пухленькая такая, хохотушка, невысокая? — догадался Бирюков.

— Точно. Знаете? — вскинул Гвоздарев брови.

— Вчера на элеваторе в попутчики меня к Тропынину определила.

— Правильно, она и теперь на элеваторе работает. Так вот. Преподнес нам Барабанов сюрприз со скоро-

палительной женитьбой. Пришлось в срочном порядке отдельную квартиру ему подбирать. За стенкой у меня пустовала половина дома — для агронома держали. Устроил я молодоженов туда. Веру агрономом назначили, она сельхозтехникум по этой специальности закончила. Отгуляли, значит, свадьбу. Зажили Андрей с Верой любо-дорого, пока ему командировка в Новосибирск не подвернулась. Мигом там кралю нашел, а Вере кто-то передал. Та собрала свои вещички и опять на эlevator. Случилось это в июле... А недавно видел Андрея в райцентре с какой-то новой красоткой.

— Барабанов не из местных?

— Из Подмосkовья. В Новосибирске служил, после демобилизовался, решил остаться в Сибири.

— Почему именно в Серебровку попал?

— Он еще солдатом на хлебоуборку сюда приезжал. Приглянулся мне, ну и уговорил я Андрея остаться. Родни-то у него никакой не было.

— А друзья были?

— Друзей — хоть отбавляй, особенно — подруг. Чуть не каждый день какие-то молодки из райцентра «Андрюшу Барабанова» по телефону спрашивали.

— Какое содержание разговоров было?

— Любовная травля, как говорят на флоте. Смешочки, разные намеки, приглашения в гости.

— А Репьеву в последнее время никто не звонил?

— Гриня, по-моему, вообще телефона боялся... — Гвоздарев задумался. — Вот письмо какое-то недавно Репьев получал. Жена мне рассказывала, она почтальонкой работает. Говорит, встретила Грину у бригадной конторы и передала ему письмишко. Он разорвал конверт, начал было читать, а потом, прикуривая, поджег письмо спичкой. Даже не дочитал до конца...

Неторопливо, сумрачно велась беседа.

В кабинете бригадира зазвонил телефон. Гвоздарев снял трубку, назвалсЯ и сразу передал ее Бирюкову. Слава Голубев сообщил, что необходимые экспертизы закончены. Во-первых, дробь, которой был убит пасечник и застрелена собака Хлудневского, оказалась по структурному составу схожей. Во-вторых, кровь на охотничьем ноже и на цыганской телеге по группе и резус-фактору соответствует крови Барабанова. В-третьих, все отпечатки пальцев с рукоятки охотничьего ножа стерты. Пересказав это, Голубев замаялся.

— В-четвертых, ничего нет? — хмуро спросил Антон.

— Есть, — со вздохом ответил Слава. — Левка с Розой из табора исчезли...

Глава 14

Солнечное утро выдалось ослепительно чистым и по-сентябрьски грустноватым. Шагая по росной траве вдоль Серебровки, Бирюков еще издали увидел на высоком флагштоке у бригадной конторы кумачовое полотнище. Здесь же, переговариваясь, курили собравшиеся на утреннюю разнарядку колхозники. Поздоровавшись с ними, Антон прочитал на фанерном щите, прибитом к флагштоку: «Флаг Трудовой Славы поднят в честь шофера С. П. Тропынина, выполнившего задание предыдущих суток на 200 процентов».

Вскоре появился и сам виновник торжества. Разогнав с дороги кур, тупоносый самосвал рывкнул сиреной и чуть не стукнулся радиатором в флагшток. Тропынин выскочил из кабины на подножку, хотел что-то сказать испуганно отшатнувшимся от машины колхозникам, но, увидев Бирюкова, лишь смущенно поздоровался:

— Здравия желаю, товарищ капитан.

— Здравствуй, передовик труда. — Антон подошел к самосвалу. — Аварию когда-нибудь так сделаешь.

— Десять раз в день тормоза проверяю — гидравлика железная!

— А вчера раздавил флягу с молоком.

— Повариха виновата — бросает где попало.

— До райцентра подбросишь?

Тропынин нырнул в кабину и распахнул дверцу с противоположной стороны:

— Такси подано!

— Только, Сергей Павлович, без ветерка поедem, — усаживаясь, сказал Бирюков.

— Как прикажете, — Тропынин соскочил на землю. — Путевой лист у бригадира возьму, и покатым.

Минут через пять он выбежал из конторы. Отпустил несколько реплик набросившимся на него с шутками колхозникам, уцепившись сунувшуюся было к нему с какой-то просьбой доярку, отрицательно крутнул ей в ответ головой и прямо-таки ковбойским прыжком взлетел за руль на свое место. Повернувшись к Бирюкову, спросил:

— Что, опасаетесь быстрой езды?

— Дело в другом, Сергей Павлович... — Антон чуть помолчал: — Надо мне провести что-то вроде следственного эксперимента.

— А что это такое?

— Дорогой объясню.

— Тут две доярки просят подбросить их до Таежного. Не возьмем?..

Бирюков покосился на угол свободного сиденья рядом с собой:

— Если уместятся, возьми. Может, понятые потребуются.

Тропынин словно обрадовался и, высунувшись из кабины, крикнул:

— Танюшка! Топай с Олей сюда, разрешение на ваш проезд получено.

Девушки недоверчиво подошли к машине. Бирюков усадил их в кабину рядом с собой. Тропынин сразу выпалил:

— Понятыми будете!

— А нас за это в тюрьму не посадят? — тревожно спросила насторожившаяся Таня.

— Нет, за это на химию отправляют, — мигом встал Тропынин.

— Не пугай, Сергей Павлович, — улыбнулся Антон. — Сделаем мы с тобою контрольный рейс. Провези нас точно по тому пути, каким вез Андрея Барабанова, и попутно рассказывай: где что видел, кого обогнал, кого встретил. Словом, все самым подробным образом. Понял?

— Я понятливый, как утка, только отруби не ем. От мехмастерской рейс начнем, как тогда?

— Начнем с деревни.

— С деревни так с деревни.

Самосвал, рывкнув мотором, запылil по Серебровке. Поравнявшись с домом кузнеца, Тропынин быстро проговорил:

— Вот здесь Федора Степаныча гусыня чуть голову не сунула мне под колесо. Так?..

— Так, — глядя на часы, сказал Антон.

— А вот тут я своему собственному кабанчику на виду у своей собственной мамыши чуть бампером под зад не поддал. Так?..

— Так.

— Здесь бабка Екашина с пустыми ведрами хотела мне дорогу перейти. Сигналом ее отпугнул от дороги.

Дальше, до конца деревни, Тропынин молчал. Девушки-понятые попеременно смотрели то на него, то на Бирюкова, делающего пометки в блокноте. Выскочив из Серебровки на проселочную дорогу, самосвал запылil мимо березовых колков. Антон посмотрел на показания счетчика километража и перевел взгляд на спидометр — стрелка словно прилипла к цифре «60». Отмахав от околицы ровно километр, Тропынин, будто вспомнив свою обязанность, заговорил:

— А вот на этом месте догнал самого Екашева. С двумя корзинами за грибами топал. Тормознул, кричу: «Залазь, дядька Степан, в кабину рядом с Андреем! До пасеки подброшу, там самое грибное место!» Он рукой махнул — катись, дескать. Я опять газанул на всю железку... — Помолчал не больше полминуты и показал на приближающийся колочек. — Вот тут какой-то заезжий грибник пасся.

— Почему «заезжий»? — спросил Антон.

— В этом колке никогда грибы не растут, наши сюда не ходят.

— Как этот грибник выглядел?

— Здоровый бугай, в зеленом брезентовом дождевике.

— Дождь, что ли, был?

— Здесь — нет, а в райцентре накануне вечером хлестал здорово. Видать, этот мужик из райцентра сюда по грибочки приперся.

— Лицо его не разглядел?

— Нет. На четвереньках он елозил. Один лишь разок на самосвал зыркнул и в колок подался.

Бирюков попросил Тропынина остановиться. Вместе с ним и девушками-доярками вылез из кабины, подошел к опушке колка. Даже никакого намека на грибы здесь не было, следов — тоже. Располагался колок на взгорке. С его противоположного конца просматривалась как на ладони бывшая стоянка цыганского табора. Чуть подальше пестрели разноцветные ульи серебровской пасеки. За пасекой, мимо других колков, тянулся старый тракт, сворачивающий на шоссе против железнодорожного разъезда Таежное. Само шоссе, уходя влево, взбегало на небольшой подъемчик и ныряло в низину к речке Крутихе. За Крутихой начинался длинный подъем, с перевала которого, как знал Антон, уже видне-

лась окраина райцентра с высоким элеватором вдали.

На отдельном листке Бирюков быстро набросал план местности. Показав его Тропынину, спросил:

— Так, Сергей Павлович?..

— У вас зоркий глаз, товарищ капитан! — восхищенно проговорил Тропынин.

— Вот это и подтвердим своими подписями, — с улыбкой сказал Антон. — Потом поедem дальше.

Когда самосвал обогнул колок, Тропынин свернул к пасеке. Притормаживая, показал место, где высадил Барабанова. Спросил:

— Дальше куда, товарищ капитан?

— Точно той дорогой, как тогда ехал.

— Значит, на Поповщину. Загрузиться зерном можно?

— Конечно. Делай все так, как тогда.

— Понятно!

Вскоре впереди зажелтело широкое пшеничное поле, по которому уступом, друг за дружкой медленно двигались комбайны. Было их около десятка. Над передним горделиво трепыхался красный флажок.

Развернувшись на стерне, Тропынин притормозил. Придерживая правой ногой педаль газа и не выпуская руль, он вылез из кабины на подножку в полный рост и ловко пристроил машину к переднему комбайну. Подставив кузов под брезентовый рукав и уровняв ход самосвала с ходом комбайна, закричал:

— Петро-о-ович! Шуруй!..

Пожилой комбайнер, блеснув на солнце стеклами пылезащитных очков, оглянулся, и тотчас из брезентового рукава в кузов хлынул поток зерна.

Управившись, Тропынин сел в кабину.

— Опять, товарищ капитан, ехать, как тогда?

— Опять, — сказал Бирюков.

— В тот день на краю поля пшеницу убирали.

— Давай туда и заедем.

Самосвал, урча, покотился по мягкой стерне влево от комбайнов. Обогнув попавшийся на пути березничек, развернулся по часовой стрелке и вырвался с облегчением на старый тракт. Через несколько минут слева мелькнуло место цыганской стоянки. Впереди показалась пасека, отгороженная от тракта реденьким березовым колком. Подъезжая к ней, Тропынин нажал на сигнал ладонью, а поравнявшись, затормозил. Глядя на часы, сказал:

— Все в точности повторяю.

Еще раз продолжительно посигналил. Выждал по часам ровно минуту, скрежетнул рычагом скорости и пустил самосвал по тракту дальше.

— Никого здесь не видел? — спросил Антон.

— Перед пасекой тетерка почти из-под колес вылетела и несколько рябчиков через дорогу фыркнули. А после пасеки как в пустыне...

— До самого шоссе?

— Ну. Я даже подумал: «Что так тихо на дороге?» Обычно, когда по старому тракту мчишься, всякая живность из травы по сторонам разлетается.

Припоминая вычерченную следователем схему места происшествия, Бирюков про себя отметил, что после пасеки Тропынин ехал по следу недавно промчавшейся цыганской подводы. Потому и опустел перед ним затянутый травой старый тракт.

— Сергей Павлович, когда с Барабановым проезжал мимо цыганского табора, лошадей там не видел?

— Видел монголку. Запряженная стояла.

— А когда уже с зерном от комбайнов на тракт выехал?..

— Палатки, помню, слева виднелись, а лошадь, кажется... Нет, лошади тогда уже не было.

«Все сходится», — подумал Бирюков и, увидев приближающийся березовый колок, в котором, по рассказу Славы Голубева, опергруппа обнаружила труп Барабанова, попросил Тропынина остановиться.

Осенняя грусть подчеркивалась необычайной тишиной. Казалось, все живое в колке спряталось и природа умиротворенно ждет того часа, когда ее укроет белый снег.

Войдя в березник, метрах в десяти от опушки, Антон быстро отыскал кучу хвороста. Рассматривая оставленные оперативниками следы, задумчиво постоял и вернулся к машине.

Сразу за колком старый тракт пересекала наезженная проселочная дорога, идущая к шоссе. Тропынин свернул на нее.

— Этот поворот, по-моему, из Серебровки никак не миновать? — спросил Бирюков.

— Правильно, товарищ капитан! Если и по новой дороге, все равно на шоссе только тут выедешь.

— Припомни, Сергей Павлович, что видел на этом месте?

Тропынин задумался:

— Справа машин не было, а слева грузовой ГАЗ к Крутихе пылил. Я на шоссейку — и за ним.

Антон указал на виднеющееся впереди Таежное.

— А там?

— По линии электричка в райцентр катила.

— Лошадей на дороге не было?

— При выезде на шоссе — нет. Дальше, честно говоря, не смотрел.

— Людей каких-нибудь поблизости видел?

— Как в пустыне.

Бирюков мельком глянул на притихших девушек-доярок и сказал Тропынину:

— Сейчас, Сергей Павлович, завезем девчат в Таежное и покатым в райцентр. Попутно остановимся у Крутихи. Покажешь, где обрез выловил.

— Так меня же там следователь допрашивал, — будто испугался Тропынин.

— Я допрашивать не буду. Ты мне просто покажешь и расскажешь. Не бойся.

— А чо мне бояться...

Из Таежного возвращались вдвоем. Пропустив перед собой «Колхиду» с загруженным зерном прицепом, Тропынин выехал на шоссе и переключил скорость. Едва самосвал поднялся на взгорок, с которого начинался спуск к Крутихе, сказал:

— Когда прошлый раз сюда вот выскочил, идущий впереди ГАЗ мостик переезжал.

— Тоже с зерном? — спросил Бирюков.

— Порожний. В кузове один мужик сидел в дождевике с капюшоном. Как монах.

— Не зеленый был дождевик?

— ГАЗ пылил здорово. Разве разглядишь?..

— Может, машина была тебе знакома?

— Райпотребсоюзковский грузовик, с красной полосой на кузове. Арбузы в Серебровку привозил.

— Значит, он из Серебровки ехал?

— Ну!.. Только не по старому тракту, как я, а по новой дороге. На тракт там сворачивают перед самым выездом...

— Не видел, как ГАЗ сворачивал?

— Нет. Когда я к шоссе подкатил, он уже вовсю пылил к Крутихе.

Проехав скрипнувший под тяжестью груженого самосвала мостик через Крутиху, Тропынин свернул к

обочине и пошел показывать, где и как увидел в речке обрез. Тенью следуя за ним, Бирюков чуть ли не с первых слов понял, что лихой передовик труда лукавит самым беспардонным образом. А тот, не ведая об этой догадке, старательно показывал, где возле мостика была замутненная вода, как он обошел камыш и, приглядывая место почище, внезапно увидел под водою приклад обреза. Внимательно выслушав его, Антон спокойно проговорил:

— Обстоятельно, Сергей Павлович, рассказал, но, к сожалению, все рассказанное неправда.

Тропынин опешил:

— Что такое, товарищ капитан?

Бирюков подошел к мостику и показал на низкий, словно обрубленный, берег:

— Видишь, глубина почти метр. Как здесь, зачерпывая воду, ил со дна взмутишь? К тому же место проточное. Долго ли на течении ил удержится?..

Тропынин покраснел. Антон повел шофера к тому месту, где был обнаружен обрез. Берег здесь тоже круто обрывался, и возле него легко можно было набрать хорошей воды.

— Наклоняйся и черпай, — сказал Антон. — Зачем, Сергей Павлович, понадобилось тебе камыши разглядывать?

— Для убедительности я хотел поправдивее рассказать...

— Свидетель должен говорить правду, а не правдист. Давай начистоту.

— И так все чисто, товарищ капитан, самую малость заврался... — Тропынин протянул руку по направлению взгорка, с которого недавно спустились к Крутихе. — Помните, я говорил, когда прошлый раз на ту горушку выехал, ГАЗ через мостик проезжал? Так вот, показалось мне, будто в тот момент из кузова что-то в речку мелькнуло — даже камыш пригнулся. Сразу-то не сообразил, а вчера начал заливать радиатор, вспомнил. Думаю, дай погляжу... Прикинул на глазок, где могло упасть, подошел, разглядываю воду — обрез! Думаю, тут что-то не так. Достал — сразу к вам. Честно говорю...

Тропынин, похоже, теперь рассказывал правду, но в его голосе, как у всякого, только что уличенного во лжи, чувствовалась неуверенность. Он торопливо добавил:

— Наверное, мужик из кузова ГАЗа выбросил.

— Прямо у тебя на виду? — недоверчиво спросил Антон.

— Так он же спиной ко мне сидел! Ни разу не оглянулся. Даже когда после Крутихи я обгонял ГАЗ, морду в сторону отвел. Честно, клянусь!

Ответ показался Бирюкову искренним. Направляясь с Тропыниным к самосвалу, он, будто ненароком, упомянул Барабанова. Видимо, чувствуя неловкость за недавнюю ложь, Тропынин охотно подхватил новую тему и стал рассказывать, как однажды в бригадной конторе Андрей Барабанов «вот заврался — так заврался!».

— Зимой на перекуре мужики завели беседу про Левшу, который блоху подковал. Ну Андрюха и толкует: «Блоха — сказка! Вот у нас в Подмоскowie один старик часы деревянные сделал. И корпус, и пружинки, и шестеренки, и винтики-шурупчики — все из натурального дерева!» Бригадир спрашивает: «А стекло как же?» — «И стекло деревянное!» Представляете, что тут было!..

Тропынин вырулил с обочины на проезжую часть шоссе и резко прибавил скорость. Недолго помолчав, заговорил снова:

— Вообще-то про Андрюху много всяких анекдотов в Серебровке ходит, а вчера кто-то додумался распустить слух, вроде убили его в один день с пасечником...

— К сожалению, это правда, — сухо сказал Антон.

Тропынин широко открытыми глазами уставился на него:

— Да вы чо, товарищ капитан?! Кто, за что?

— Разбираемся.

— Ну, дела-а-а... Да лучше бы отказался Андрюха от той проклятой машины!.. Нет, ну дела... — Тропынин сокрушенно покачал головой. — Вообще-то «Ладу» Андрею мы с Верой накаркали. С его бывшей женой. Помните лаборантку, которая позавчера на элеваторе нас познакомила?

— Помню.

— Ну вот, значит, неделю назад сидим мы с ней в элеваторской лаборатории, болтаем от скуки. Вера с ночной сменилась, а мне очередь под разгрузку выстаивать. Чо делать? Там есть телефон. Говорю Вере: «Давай Андрюху разыграем. Позвоним в Серебровку, как будто из райпотребсоюза, и скажем, мол, очередь Барабанова на машину подошла. Пусть едет срочно выку-

пать. Вот потеха будет! У Андрея тысячи четыре еще до «Лады» не хватает — заегозит деньги занимать. Набегается, приедет в райцентр, а тут ему кукиш с маслом». Вера смеется: «Кто поверит в такой звонок?» — «Поверят! Ты секретаршей назовешься, а я за самого председателя басом отговорю». Трубку уже снял, но Вера отказалась. Слишком злая, мол, шутка получается. Да и сам я потом одумался... — Тропынин мельком взглянул на Бирюкова. — Поболтали вот так, а через неделю Андрею по правде пришлось деньги занимать.

Стараясь не пропустить ни малейшего оттенка тропынинского голоса, Антон Бирюков с трудом верил своим ушам и не мог понять: серьезно рассказывает это Тропынин или довольно нелепо пытается выставить себя в роли своеобразного провидца?

— Сергей Павлович, когда вы об этом разговаривали с Верой, кто еще находился в лаборатории?

— Вдвоем мы болтали. А что?..

— Разговор ваш кто-нибудь мог подслушать?

— Кому надо? Там только дежурные лаборантки взад-вперед мотались.

Самосвал натужно одолевал длинный подъем от Крутихи. Вот-вот должны были показаться окраинные домики райцентра, за ними вдали — махина элеватора, а справа от шоссе — двухэтажные кирпичные дома так называемого поселка «Целинстрой», который почти вплотную примкнул к райцентру. Тропынин скосил глаза на Бирюкова:

— А что, товарищ капитан, из того: слышал нас с Верой кто или не слышал?

— Дело в том, Сергей Павлович, что ложный был звонок Барабанову и в точности такой, как ты сейчас рассказал.

Глава 15

В это утро перед элеватором машин почти не было. То ли установили дополнительные весы, то ли рационализацию какую-то ввели хлебоприемщики, но машины с зерном шли теперь через ворота, как говорится, зеленой улицей.

Бирюков и Тропынин отыскиали Веру в светлой лаборатории, заставленной столами с микроскопами, колбами, пробирками и прочими премудростями, о назначении которых несведущий человек мог только гадать.

Свободным от всей этой «техники» был один небольшой канцелярский столик возле открытого настежь окна, сразу у входа. Как раз за ним сидела Вера. Зажав между ухом и приподнятым левым плечом телефонную трубку, она что-то записывала под диктовку в лежащую перед ней «амбарную книгу». Закончив писать и положив трубку на аппарат, с напускной строгостью спросила Тропынина:

— Разгрузился?

— Нет пока...

— Чего телишься, родненький? Из «Гранита» двадцать машин с зерном враз вышли. Вот-вот подкатят — опять начнешь искать блатные каналы, чтобы побыстрей разгрузиться.

— У нас разговор к тебе есть.

— Иди разгрузись, потом языки чесать будем.

Заметив нерешительность Тропынина, Бирюков подержал Веру:

— Иди, Сергей Павлович, иди...

Тропынин пожал плечами — мол, как вам угодно — и с неохотой вышел из лаборатории. Бирюков представился Вере и попросил ее рассказать о «розыгрыше» Барбанова с покупкой машины. Вера удивилась:

— Зачем вам эта чепуха?

— Не ради забавы, разумеется, — сказал Антон.

Вера пожалала плечами и довольно бойко, порою имитируя интонации и манеру Тропынина, заговорила. Судя по тому, как она почти дословно повторила рассказанное Тропыниным, память и наблюдательность у нее были превосходными. Когда Бирюков стал задавать уточняющие вопросы, Вера без труда вспомнила по именам и фамилиям всех трех лаборанток, которые в тот день работали:

— Зина Ласточкина пробу приносила, Надюха Чумасова журнал учета у меня брала, пани Моника анализ на влажность делала.

— Пани Моника?..

— Это Майку Тузовку шоферы так прозвали.

В голосе Веры просквозила откровенная неприязнь, и Антон тотчас вспомнил, как Гвоздарев недавно видел Барбанова в райцентре с «какой-то красоткой».

— Значит, Тузова ваш разговор слышала?

— Она не слушала, а мешала. Ужасно бестолковая — пока анализ сделала, тысячу вопросов мне задала.

— Тузкова знает Барабанова?

— Его все наши лаборантки знают.

— Как вашего мужа?

— Бывшего, — уточнила Вера и вдруг спохватилась: — Чего это вы Барабановым заинтересовались?

— Разыграли его с телефонным звонком, — ответил Антон, умолчав о главном.

Страшная весть о Барабанове, как видно, не доказалась еще до элеватора. Вера усмехнулась:

— И Андрей уголовному розыску пожаловался? Не похоже на него.

Записав показания Веры и Тропынина в протокол, Бирюков ушел из лаборатории. Получалось, что провокационный звонок в Серебровку могли организовать разные люди. Не высвечивалась определенно и цель звонка: то ли это была нелепая шутка, которой воспользовался преступник, то ли организованное убийство.

Не откладывая, Антон решил зайти на автобазу района, переговорить с шофером, который двое суток назад возил в Серебровку арбузы.

Отыскать шофера оказалось нетрудно — с арбузами по селам ходила всего одна машина. Но разговор долгое время не клеился. Низенький краснощекий шофер-первогодок, приняв Бирюкова за инспектора ГАИ, с пеной на губах начал доказывать, что никаких попутных пассажиров еще ни разу за свою короткую шоферскую жизнь не брал. Лишь через полчаса терпеливой беседы парень уразумел, чего от него добивается капитан милиции, и стал рассказывать откровенно. Выгрузив утром арбузы, он выехал из Серебровки в районцентр новой дорогой. На шоссе, перед Крутихинским подъемником, догнал идущего мужчину в зеленом брезентовом плаще. Мужчина поднял руку. Шофер остановился и предложил попутчику место в кабине. Однако мужчина предпочел ехать в кузове.

— Как он выглядел? — спросил Антон.

— Высокий. По годам, наверное, лет тридцать.

— Характерных примет не запомнили?

— Черный, как цыган. Левая рука вроде протезная или больная. Плащ у него наподобие солдатской накидки. Так он левую руку, даже когда в кузов залазил, из-под плаща не вынимал. Правой поймался за борт, на колесо наступил и — там.

— Где высадил его?

— А он сам вылез, — с неожиданной бодростью зая-

вил шофер. — К райцентру я подъехал, остановился. Открываю дверцу, спрашиваю: «Где вылазить будешь?» В ответ — ни звука. Заглянул в кузов — там пусто. Наверное, в целинностроевском поселке спрыгнул.

— Когда Крутихинский мостик переезжали, мужчины ничего в речку не бросал?

— Кузов пустой был. Чего оттуда бросать?

— И у мужчины ничего с собой не было?

— А что у него должно было быть?

— Скажем, корзина с грибами...

— Ничего не было.

Предположение Тропынина о том, что винтовочный обрез выбросили из райпотребсоюзовского грузовика, становилось сомнительным. И опять мысли Бирюкова вернулись к телефонному звонку, идея которого принадлежала Тропынину. Кто все-таки звонил в Серебровку? Через кого можно выйти на след «звонарей»? Вера, чувствуется, недолюбливает лаборантку Тузову, прозванную «Пани Моникой». Интересно, а как Тузова относится к Вере? Не поможет ли она разгадать загадку провокационного звонка?..

Глава 16

Кабинет Славы Голубева оказался на замке, и Антон прошел пустующим коридором в приемную начальника райотдела. Увидев его, секретарь-машинистка Любочка обрадованно защебетала:

— Ой, какие вы легкие на помин, товарищ капитан!.. Только что подполковник вас спрашивал. Я искала-искала... Заходите к нему, Николай Сергеевич один. — И доверительно сообщила: — Сегодня генерал звонил из Новосибирска...

Такую информацию Любочка выдавала далеко не каждому сотруднику, и это можно было расценивать как признак особого расположения секретаря-машинистки, у которой забота о сохранении служебной тайны, пожалуй, была выше заботы о собственной внешности.

Подполковник прикуривал папиросу. Затушив спичку, он поздоровался с Бирюковым за руку, пригласил сесть и спросил:

— Что выездил в Серебровке?

Бирюков подробно рассказал о результатах. Подполковник внимательно выслушал его и поделился своими новостями:

— Помнишь, на стеклянной банке с медом, снятой с цыганской телеги, кроме отпечатков пасечника Репьева, были обнаружены отпечатки еще одного человека? Так вот, это, оказывается, пальцы Андрея Барабанова.

— Значит, на этой телеге и всадили ему нож под лопатку, — сказал Антон.

— По всей вероятности... Слушай дальше. Козаченко подтвердил, что нож, которым убит Барабанов, принадлежал Левке, но... за сутки до убийства Левка выменял на него у пасечника то самое тележное колесо, которое оказалось у цыган. Продавать колхозное имущество Репьев якобы отказался, а нож, как говорит Козаченко, очень был нужен пасечнику. Признаться, что-то здесь мне кажется сомнительным.

Бирюков подумал:

— Пожалуй, Николай Сергеевич, этому можно верить. У Репьева было своеобразное хобби: по осени колоть скотину. Свой нож он, кажется, сломал. Просил кузнеца Половникова сделать ему новый — тот отказался. Поэтому вполне возможно, что Козаченко говорит правду. Кстати, куда Левка с Розой из табора делись?

— Перехватили их в Новосибирске на главном железнодорожном вокзале. Утверждают, в Первоуральск направились — там у них какие-то родственники. Следователь Лимакин на этих «беглецов» уйму времени потратил, а информации — ноль... — Гладышев нахмурил седые брови. — Генерал недавно звонил, предлагает помощь управления. ЧП, надо сказать, невиданное для нас.

— Что вы на это ответили?

— Сказал, что постараемся управиться сами, но теперь вот жалею. Версия с цыганами рушится. Ну подумай: с чего бы Левка бросил свой нож почти рядом с трупом Барабанова?..

— Уже думал об этом. Надо, Николай Сергеевич, начинать отработку другой версии.

— Какой именно?

— С телефонным звонком в Серебровку. По-моему, убийцу интересовал только Барабанов, а пасечник оказался жертвой случая... — Антон потер переносицу. — Правда, тут вмешивается старик Екашев...

Гладышев неожиданно перебил:

— Вот еще что новенькое: на фляге с медом, ута-

щенной в березовый колок, есть отпечатки ладоней и пальцев Екашева.

— Как его состояние?

— Плохое. Рак легких. Медников говорит, от силы неделю протянет.

— Сейчас в сознании? Следователь не допрашивал?

— Легочники обычно до последнего часа в сознании, однако допрашивать человека в таком состоянии — сам понимаешь...

— Где Голубев? — помолчав, спросил Антон.

— Сила Голубева в ногах, — сказал подполковник. — Помчался Слава беседовать со старшим сыном Екашева, Иваном. Через паспортный стол узнал его адрес.

— Иван Екашев, насколько мне известно, работает на кирпичном заводе?

— Верно.

— А живет где?

— По улице Целинной — это почти рядом с заводом.

— В целиностроевском поселке? — заинтересовался Бирюков.

— Да, — Гладышев затушил в пепельнице папиросу. — Имеет значение?

— Может иметь, Николай Сергеевич. Пассажир-то в зеленом дождевике исчез из машины как раз где-то у этого поселка.

— Если я правильно понял, шофер тебе говорил, что вез мужчину вроде бы с протезной рукой...

— Под дождевиком ведь не только протез можно спрятать, но и... обрез!

— Верно! — поддержал Гладышев. К месту сказать, дождевик — деталь любопытная. В день убийства и в Серебровке, и в райцентре солнце сияло. Зато накануне вечером у нас такая гроза молотила — чертям тошно. Значит, что?..

— Значит, мужчина этот выехал из райцентра в Серебровку накануне. Как раз в тот день, когда Барабанову насчет машины позвонили. Звонок был утром. А гроза началась здесь?..

— В середине дня.

— Выходит, мужчина выехал после телефонного звонка.

Подполковник ногтем указательного пальца постукал по папиросной пачке:

— Не зря говорится, что курочка по зернышку клюет. Собирай, Антон Игнатьевич, эти зернышки, собирай. Так, пожалуй, и до истины доклюемся...

От начальника райотдела Бирюков направился в прокуратуру, чтобы передать Лимакину протоколы проведенных допросов и поделиться с ним своими соображениями о новой версии. Там тоже появились новости. На последнем допросе следователю удалось вызвать Козаченко на откровенность, и тот показал, что в момент убийства Репьева Роза находилась в пасечной избушке. При ней заявился Барабанов и попросил налить ему «в кредит» трехлитровую банку меда. Репьев открыл флягу, которая стояла на телеге, и наполнил банку. Недолго о чем-то поговорив с пасечником, Барабанов завязал банку в хозяйственную сетку и пошел по направлению к старому тракту. Репьев, заглянув в избушку, сказал Розе, что сейчас принесет «сотовую рамку из настоящего воска, а не из синтетического». Взял большую миску, Левкин нож и пошел к ульям. Минут через десять Роза через окно увидела, как за редким березничком недалеко от пасеки остановилась мчавшаяся рысью цыганская телега. От нее к пасеке пробежал мужчина в зеленом плаще, и почти у самой избушки раздался выстрел. Перепуганная Роза несколько минут ждала Репьева, но, видя, что тот не приходит, выскочила босиком за дверь — пасечник с окровавленной грудью лежал навзничь возле телеги. Позабыв о своих туфлях, Роза бросилась в Серебровку, однако, испугавшись обвинения в убийстве, не добежала до деревни и спряталась в лесу. Когда часам к одиннадцати, одумавшись, она тайком пробралась к роднику, цыгане уже снялись с места, и Роза догнала их лишь на шоссе, где они пытались остановить попутные машины.

— Тут Козаченко и «поучил» сестру цыганским кнутом, — закончил прокурор.

— Чего сам-то он испугался? — спросил Антон. — Почему весь табор на ноги поднял?

— Пока Козаченко искал угнанную лошадь, табор стихийно снялся. Цыганенок Ромка панику поднял. Он после выстрела примчался к пасечной избушке. Увидел окровавленного пасечника и убегающую Розу, перепугался. И с криком — в табор: «Розка Гриню насмерть заporола!..» Цыгане все до единого дословно подтверждают показания Козаченко. Вину отрицают полностью.

— Чего ж Левка с Розой надумали улизнуть, если не чувствуют вины?

В разговор вмешался Лимакин:

— Козаченко говорит, они не первый раз пытаются порвать с табором. Любовь, дескать, у них.

— Каких-либо примет того мужчины, который подбегал к пасеке, Роза не заметила? — опять спросил Антон.

— Только зеленый плащ вроде солдатского. Мы пробовали за эту примету ухватиться, но такими плащами в районе с самой весны торгуют, — Лимакин усмехнулся: — Даже у нас с Семеном Трофимовичем по такому плащу для осенней охоты на уток имеется.

— Да, да, — подтвердил прокурор и обратился к Антону: — Хотя бы общую картину преступления представляешь?

— Предположительно. — Бирюков положил на стол схему к протоколу следственного эксперимента, собрался с мыслями. — Вот здесь схематически все расписано. Серебровцы обычно добираются в райцентр электричкой от разъезда. Из Серебровки до Таежного, как правило, идут пешком — там близко. Мужчина в зеленом плаще считал, что Барабанов, отправляясь покупать машину, поступит так же, и с обрезом под полой ждал его на проселочной дороге возле березничка на взгорке, откуда просматривается вся панорама вплоть до Таежного. Однако Барабанов проехал мимо в кабине тропынинского самосвала. Глядя вслед, мужчина отлично видел, как Барабанов вылез из машины у пасеки и оттуда, уже с банкой меда, зашагал по старому тракту к Таежному. Догнать его можно было только на лошади, которую так кстати запряг Ромка...

— Зачем же он пасечника убил? — спросил прокурор.

— Может быть, чтобы избавиться от свидетеля, может, нож Левкин приглянулся... Короче, на цыганской лошади мужчина догнал Барабанова, предложил подвезти его и довез до ближайшего колка...

— Если он забрал у пасечника нож, то почему обрез до самой Крутихи под полой тащил?

— По всей вероятности, опасался навести розыск на след Степана Екашева.

— Предполагаешь, Екашев — соучастник?

— Трудно сказать... Бесспорно лишь одно: к этой печальной истории старик какое-то отношение имеет.

Не могу сообразить: зачем Степан Осипович спрятал в березовый колок тяжеленную флягу с медом? У него же в амбаре оказались и репьевские сапоги с портянками...

— Для нас с Семеном Трофимовичем это тоже загадка, — сосредоточенно читая показания шофера Тропынина, проговорил Лимакин. Он закончил чтение и поднял глаза на Бирюкова: — Любопытные сведения выдал твой земляк...

— Петя, что Козаченко о Екашеве говорит? — спросил Антон.

— Ровным счетом ничего.

— А пасечник не предлагал цыганам купить у него старинный золотой крест?

— Предлагал. Сначала заломил две тысячи, потом до одной сбавил, но Козаченко все равно отказался.

Бирюков задумчиво побарабанил по столу пальцами:

— Не этот ли крест привел Екашева на пасеку?..

Прокурор вздохнул:

— Умрет не сегодня завтра старик, и придется нам, пожалуй, не только на кресте крест поставить...

Глава 17

Районная больница, где находился Екашев, была на окраине райцентра, в густом сосновом бору. Бирюков прежде всего встретился с Борисом Медниковым, спросил его:

— Боря, Екашев хоть ненадолго поправится?

— Нет.

— Что-то, не задумываясь, отвечаешь.

— Если бы ты спросил: «Можно ли в спортлото трижды подряд угадать все шесть номеров?» — я, возможно, и задумался бы: «Чем черт не шутит, когда бог спит»... С Екашевым думать нечего — все ясно. Самолечением человек угробился. У него рак легкие доедает, а он собачьим салом от туберкулеза себя потчевал.

— Знает о том, что не выживет?

— Догадывается. Утром сегодня на обходе потихоньку шепчет: «Доктор, загнись на днях. Скажи, судить меня будут, как живого, или помилуют за смертью?» — «За что вас судить?» — спрашиваю. «Дак вот... с пасечником набедокурил»...

— Надо было посоветовать: со следователем, мол, лучше по этому поводу поговорить.

— Это мы догадались сделать без твоей под- сказки.

— Ну и что Екашев?

— На полном серьезе жалуется: «Следователю под- мазать надо, чтобы замаял дело, а у меня денег — ни гроша». Потом о тебе вспомнил: «При обыске, кажись, сын нашего председателя, Игната Бирюкова, присут- ствовал. Бирюковы — мужики справедливые, подачек не берут. Может, Бирюков-младший бесплатно за меня перед судьями заступится, чтобы принародно мои кости не полоскали? Земляки ведь мы с ним».

— Ты это серьезно?

— В подобной ситуации грешно шутки шутить.

— Как бы мне поговорить с ним?

Медников посмотрел на часы:

— Сейчас процедуры идут. Минут через двадцать организую встречу с земляком.

Екашев лежал в одноместной светленькой палате. Укрытый до подбородка свежей простыней, он, с закры- тыми глазами, походил на мертвеца. И только по тяже- лому, с прихрипом дыханию можно было догадаться, что старик еще жив. У кровати стояли больничная та- буретка и невысокая тумбочка. На тумбочке лежало румяное, чуть надкусанное яблоко. Бирюков сел на та- буретку, тихо окликнул:

— Степан Осипович...

Екашев медленно поднял веки. Почти полминуты глаза его абсолютно ничего не выражали. Затем вне- запно взгляд стал осмысленным, и старик еле слышно проговорил:

— Кажись, Игната Бирюкова сын?..

— Его. Антоном меня зовут... Как здоровье, Степан Осипович?

— Нет, Бирюков, здоровья... Загибаюсь основа- тельно...

— Давно надо было в больницу обратиться...

— Дак... где ж было время взять... Хозяйство, будь оно неладно, в доску замотало...

В палату вошла молоденькая медсестра. Извинив- шись перед Бирюковым, отсыпала из коричневого фла- кончика три таблетки и, подождав, пока Екашев за- пьет их, удалилась. Проводив взглядом медсестру, ста- рик озабоченно спросил:

— Не знаешь, Бирюков, сколько те лекарства стоят, какими меня потчуют?

— У нас лечение бесплатное, Степан Осипович.

— Это я понимаю... Только лекарства не за бесплатно делаются. Десятку наверняка стоят, а?..

— Есть и подороже.

— Что ты говоришь? — Екашев от удивления даже попытался приподняться. — Ой-ей-ей, в какую же копейку это лечение обходится... Не по-хозяйски так разбазаривать деньги... Ну, какая польза будет от того, что меня вылечат?.. Один убыток. Вот и получается: на меня — десятку, на другого, на третьего... А есть же пенсионеры, которые годами по больницам ошиваются. Это и в добрую сотнягу на их затраты не уложишься...

Наблюдая за Екашевым, Антон заметил, что, заведя разговор о деньгах, старик преобразился. Глаза его стали тревожно-колючими, крепкие, мозолистые пальцы нервно заперебирали по простыне. Даже первоначальная одышка, мешавшая говорить, уменьшилась.

— Ты, Бирюков, наверно, щас рассуждаешь: «Вот до чего жадный дядька Степан!» Неправильное такое рассуждение. Я, сколько себя помню, в труде спину гнул, потому знаю стоимость копейки, какая с потом и кровью достается. Потому и рассуждаю по-хозяйски...

— Вы, Степан Осипович, лучше расскажите о пасечнике. Что там произошло? — перебил Антон.

Екашев сразу сник. Сунул было под простыню натруженные ладони, но тут же вытащил и сосредоточенно стал рассматривать мозолистые пальцы. Затем тревожно посмотрел на Антона:

— Поможешь ли ты, Бирюков, мне оправдаться перед судом, если всю правду тебе выложу?

Антон пожал плечами:

— Сначала послушаю, что расскажете, а после станет видно, чем помочь...

— Плохое расскажу...

— Плохое плохому — рознь...

Екашев натянуто скривил губы, вроде бы хотел усмехнуться. Помолчав, заговорил:

— Другой, на твоем месте, золотые горы мне за признание наобещал бы, а ты — ничего. Все вы, Бирюковы, такие. Потому и уважаю вас... Хочешь, расскажу, как сапоги пасечника в мой амбар перекочевали?..

Старик закашлялся. Тяжело, с хрипом. Лицо его посинело, на худой кадыкастой шее до предела натяну-

лись жилы. Выждав, когда приступ утих, Антон сказал:

— Кое-что, Степан Осипович, я знаю.

Екашев моргнул. С натугой спросил:

— Чего, например?..

— Сапоги вы уже с мертвого Репьева сняли и флягу с медом в колок унесли...

— И свой золотой крест на пасеке забрал, — словно опасаясь, что не успеет сказать, натужно добавил Екашев.

Признание было ценным, но Антон сделал вид, будто и это для него не новость. Екашев сник, как азартный картежник, враз лишившийся всех козырей. Тяжело переводя дыхание, он упавшим голосом спросил:

— Как ты узнал, Бирюков?

— Работа моя такая, Степан Осипович...

— Я ж ни единой душе не рассказывал...

— Разве в этом дело?

— А в чем, Бирюков?

— Кто совершил преступление, узнать легче. Труднее — разобраться: почему преступление совершено?

— А какая необходимость тебе знать, почему я сапоги у Гриньки забрал?

— От этого зависит степень вашей вины.

Екашев долго хрипел, тяжело откашливался. Наконец тихо зашептал:

— Злость, Бирюков, меня погубила... Как флягу с медом доволоч на руках от пасеки до березника, в глазах помутилось, будто главная жила внутри лопнула... Мне же нельзя тяжестей поднимать, грыжа какой уж год мучает, туды-ее-нехай...

— Зачем же тащили флягу?..

— От злости... Думал, крест золотой пропал... Такая беда вышла: смерть свою я почуял. Папаша покойный приснился, спрашивает: «В чем, Степан, собороваться думаешь? Рубаха у тебя хоть есть добрая, в которой на вечный покой не стыдно отправиться?» — «Нет, — говорю, — нужда заела». — «А куда золотой крест подевал, что в старой часовне нашел?» — «Берегу как зеницу ока, — отвечаю. — С ним и в гроб лягу». — «Зачем тебе крест в гробу? Нагишом, что ли, перед нами тут щеголять будешь? Продай его за тысячу и справь соборование себе да старухе — ей тоже не сегодня завтра на погост...»

— Вы продали крест Репьеву? — воспользовавшись паузой, спросил Антон.

— Нет. Я только попросил Гриньку продать. Литр самогона ему спойл, а он не продал. Цыгане и кузнец Федор отказались купить.

— И Репьев не вернул вам крест?

— По моей подсказке хотел еще с Агатой Хлудневской поторговаться. Но не успел Гринька...

— Почему сами не продавали?

— Нельзя самому было, меня как облупленного в Серебровке знают.

— Кто выстрелил в Репьева?

— Шуруп, должно быть...

— Кто это? Откуда?

— Холера его знает. Тюремный дружок моего младшего сына. Захара помнишь?

— Помню.

— Дак вот, на отсидке они снюхались. И пасечник с ними раньше в одном и том же месте сидел. Но Гринька, как в Серебровку приехал, за ум взялся, хотя и выпивал...

Задавая вопрос за вопросом, Бирюков кое-как выяснил, что поздно вечером накануне убийства к Екашеву заявился пасечник Репьев с черным здоровым парнем, одетым в зеленый брезентовый дождевик. В компании с ним стал распивать самогон. При этом Екашев объяснил Антону, что пятидесятилитровую флягу «косорыловки» он выгнал еще весной из порченой свеклы.

Из разговора подвыпивших собутыльников Екашев понял, что они прошли не одну колонию, но Репьев освободился давно, а парень — недавно. Вспоминали они и Захара. Потом парень завел разговор о Барабанове. О чем говорил, Екашев не понял, но Репьев стукнул кулаком по столу и зло сказал парню: «Ну, Шуруп! Если пришьешь хоть одну душу в Серебровке, как самого последнего гада заложу или придушу своими руками!» После этого парень прижал уши, и когда Репьев ушел, спросил у Екашева: «У тебя, пахан, какого-нибудь завалящего ружьишка нет? Хочу уток на серебряровских озерах попугать». Екашев принес из амбара старый обрез, из которого иной раз стрелял тайком собак, чтобы добыть себе на лекарство сало. Парень привязался — продай да продай. Пришлось уступить ему за пятерку обрез и один заряженный патрон. Парень просил еще патронов, но у Екашева их не оказалось.

— Откуда, Степан Осипович, у вас этот обрез взялся? — спросил Антон.

— Под полом устарой часовни, что уродника была, вместе с золотым крестом еще в годы войны нашел.

— И столько лет хранили?

— Он пить-есть не просил.

— Почему теперь решили продать?

— Смерть, говорю, свою почуял. Хоть пятерку хотел выручить.

— Ну и... что дальше тот парень?

— Остался у меня ночевать. Про Андрея Барабанова опять разговор затеял.

— Он знал Барабанова? Знал, что тот собрался машину покупать?

— Ей-богу, Бирюков, первый раз про машину слышу.

В палату вошел Борис Медников, в этой больнице была его основная работа — хирургом. Пощупав у Екашева пульс, он показал Антону на часы — пора, дескать, закругляться. Екашев, заметив этот жест, встревожился:

— Обожди, доктор, обожди. Мне надо досказать Бирюкову главное. Слушай, Бирюков, слушай... Ушел тот Шуруп от меня часов в пять утра, а в восемь я сам за груздями подался. У поскотины поискал — нету. К пасеке — на грибное место — потопал. По пути Торопуня обогнал на самосвале, с Андрюхой Барабановым ехал. Подвезти хотел — я отказался, потому как задыхаюсь от бензинового духа в машине. Часу, наверное, не прошло, слышу, на пасеке будто из моего обреза пальнули. Я рядом, в колочке, находился. Думаю: «Мать родная! Этот Шуруп вполне может мой золотой крест у Гриньки заграбастать!» Со всех ног кинулся к избушке — из нее цыганка молоденькая мелькнула. Думаю: «Все! Накрылся золотой крест». Не помню, как докандыбал до избушки, и обомлел — Гринька с кровавой грудью у телеги плашмя лежит... Злоба лютая глаза мне тут застила. Будто в лихорадке затрясло. «Чего можно у пасечника вместо креста взять?» Сгреб в охапку с телеги флягу с медом, доволок до березничка — жила лопнула. Вернулся к избушке, новые кирзухи на Гриньке увидел. Зачем, думаю, такая роскошь мертвому?.. Ну, Бирюков, сам посуди, мертвецов ведь в сапогах не хоронят. Ботинки либо тапочки какие ни есть на ноги надвинут и айда — пошел в вечность... Когда кирзухи с Гриньки стянул, просветление наступило. Вспомнил, что пасечник на моих глазах прятал крест под свою постель. Сунулся в избушку, перевернул матрас. На месте крест! От радости

совсем рассудка лишился. Каким способом сапоги пасечника домой принес, не помню... — Екашев надсадно задышал. — Оправдай, Бирюков, меня перед народом. Разъясни суду, мол, лютая злоба разум старика помутила...

«Такая злоба, Степан Осипович, хуже называется», — хотел было сказать Антон, но, заметив, как лицо Екашева натужно стало синеть, промолчал. Медников быстро принес в палату кислородную подушку. Следом вбежала медсестра. Чтобы не мешать им, Антон тихо вышел...

Глава 18

Квартиру Ивана Степановича Екашева Голубев отыскал быстро, однако на продолжительные звонки никто не отзывался. Слава хотел было постучать в соседнюю дверь, но та вдруг, как по шучьему велению, приоткрылась, и остроносенькая старуха с любопытством спросила:

— Вам кого надо, молодой человек?

— Екашевых, бабуся.

— На работе они, милый.

Поскольку Славу интересовал Иван Степанович, то он тут же направился к кирпичному заводу.

У заводских ворот стриженный наголо парень любовался только что вывешенным фанерным щитом, на котором жизнерадостный большеротый забияка в комбинезоне, замахнувшись мастерком, похожим на саперную лопату, лаконично призывал: «СТРОИТЕЛЯМ РАЙОНА — ПРОЧНЫЙ КИРПИЧ».

Голубев посмотрел на парня.

— Слушай, где Ивана Степановича Екашева найти? Знаешь такого?

— Так это ж наш временный профорг! Постоянный профорг в отпуске. Иван Степанович его замещает. — Показал на заводскую контору. — В коридоре первая дверь налево.

За первой дверью налево оказался узенький длинный кабинетик. У окна плечистый смуглый мужчина с забинтованной левой рукой сосредоточенно оттирал мокрой тряпочкой бурое пятно на зеленом плаще-накидке.

— Вы — Иван Степанович Екашев? — спросил Слава.

— Да, — спокойно подтвердил мужчина, не отрыва-

ясь от своего занятия. — Одну минутку. Ототру вот, чтобы не засохло.

— Кровь плохо оттирается, — взглянув на пятно, подсказал Слава. — Надо в химчистку.

— Это не кровь. Художник на вешалке кистью зацепил... — ворчливо ответил Екашев и, видимо, чтобы сгладить вынужденную паузу, заговорил: — Качество кирпича у нас плоховатым стало. Комиссия из области была. Говорят, наглядной агитацией не занимаемся. Теперь в срочном порядке ликвидируем этот пробел. А помоему, вся беда не в агитации — в глине. Новый карьер надо открывать... — Екашев поднес плащ к самому окну: — Вот, пожалуй, оттер кое-как...

— Профоргом здесь работаете? — стараясь издалека подойти к сути, спросил Голубев.

— Экскаваторщик я, член месткома. Недавно руку поранил, на больничном нахожусь. Вчера директор вызвал и поручил наглядную агитацию проверить. Тут, мол, не рычаги двигать — головой кумекать надо. Вот и кумекаю с художником, как могу...

— Что с рукой?

— Бытовая травма. Соседкин ухажер крепко подгулял, столовым ножом размахался. Я сунулся его успокаивать, да неловко за нож схватился — до самой кости развалил ладонь. — Екашев посмотрел на погоны Голубева. — Неужели в милиции об этом стало известно?

— Нет, Иван Степанович, я — по другому вопросу. Давно в Серебровке были?

— Перед тем, как руку поранить.

— По каким делам?

— Родители там живут. Который год уговариваю стариков ко мне перебраться — квартира позволяет. Не хотят. Замордовались с хозяйством, словно дикари. Отец — черт с ним. Мать жалко.

— Что об отце-то так?

Иван Степанович махнул забинтованной рукой:

— К старости совсем помешался. Собственно, он и в прежние годы каким-то ненормальным был. Еще мальчишкой, помню, после войны все вздыхал: «Эх, Ванюха, скопить бы нам миллион. Вот бы зажили при теперешней жизни!» Всю семью экономией извел, в соседских обносках, можно сказать, выросли. А в сорок седьмом году при денежной послевоенной реформе его чуть паралич не разбил. В райцентр помчался, сколько-то там обменял накопленных денег, на остальные полную

бочку повидла привез. Первые дни всей семьей ложками ели, потом из экономии запретил такую «роскошь». Так почти вся повидла и пропала... — Екашев тяжело вздохнул. — Нас, ребят, работой измотал. Сверстники, бывало, в колхозе копны на лошадях возят при сенокосе, а мы от зари до зари для собственной скотины литовками машем. Еле с сенокосом управимся — на полмесяца собственную картошку копать. По целому гектару сажали. Пока не выкопаем, в школу не пускал. Да и учились-то мы до пятого класса, кто до седьмого, полностью никто школьного образования не получил. Это я уж в армии с техникой познакомился, специальность там приобрел. Вернулся со службы, плюнул на отцовские порядки и вот сюда, на завод, устроился. Глядя на меня, другие братья так же поступили. Лишь самый младший из-за судимости в армию не попал — так балбесом и остался...

— Где он теперь?

— Черт его знает. Уже несколько годов ни слуху ни духу от него нет.

— А серебрянского пасечника знаете?

— Гриню Репьева? Видал мельком несколько раз, когда он квартировал у моих родителей. Вот с тем же Репьевым... Отец брал с него за квартиру десять рублей в месяц, а матери говорил, что всего пятерку Гриня платит.

— Зачем он деньги копит?

— Этого никто из нашей семьи не знает. И куда прячет накопленное, тоже не ведаем.

— Может, в сберкассу складывает?

— Какая сберкасса!.. — Иван Степанович грустно усмехнулся. — Старик не верит никаким сберкассам. Да что об этом говорить... Он в долг никому никогда копеечки не дал.

— У него золотой крест был?

Невеселые глаза Ивана Степановича насторожились, однако ответил он по-прежнему спокойно:

— Помню, еще война не кончилась, показывал желтый металлический крест. Золотой, нет ли — не знаю, но тяжелый. Подержать его дал и говорит: «Вот, Ванюха, сколько у твоего папаши золота! Может, на целый миллион!»

В общей сложности Голубев проговорил с Иваном Степановичем больше часа. На все вопросы тот отвечал обстоятельно и так спокойно, что казалось, будто гово-

рит он не о родном отце, а о совершенно постороннем человеке, которого ненавидит всей душой, стараясь, правда, не показать эту ненависть. Но о покупке Барабановым машины и об убийстве пасечника Иван Степанович, судя по его ответам, ничего не знал.

Одно только насторожило Голубева: Екашев-младший так ни разу и не спросил, что это вдруг милиция заинтересовалась его отцом?.. Невольно напрашивался вывод: или Иван Степанович настолько сдержан, что не позволяет себе задавать вопросы сотруднику милиции, или осведомлен обо всем происшедшем ничуть не меньше этого сотрудника...

С кирпичного завода Голубев направился на железнодорожный вокзал, чтобы узнать — не замечали ли там дежурные в последние два-три дня каких-либо подозрительных приезжих лиц? Ничего заслуживающего внимания он на вокзале не узнал и на попутной машине доехал до райотдела.

Погода испортилась. К шести вечера, когда в кабинет внезапно вошел Бирюков, сумерки сгустились уже так, что Голубев сидел при включенной настольной лампе.

— Информационный центр УВД прислал справку о судимости Репьева? — спросил Антон.

— Так точно, — Слава достал из сейфа отпечатанную на машинке страницу. — Редкая судимость.

Бирюков внимательно прочитал текст — официальное сообщение полностью подтверждало то, что рассказывал Бирюкову-старшему сам Репьев.

Разговорились. Антон заинтересовался было ранением руки Ивана Степановича, но, подумав, сказал:

— По-моему, Иван в этой истории сбоку припека. Кстати, соседа-буяна за шуточки с ножом привлекать надо. Но сейчас меня другое беспокоит... — Антон поднялся и заходил по кабинету. — Скажи, Слава, в районе есть уголовник по кличке «Шуруп»?

— Первый раз такую кличку слышу.

— Я тоже. Давай вместе рассуждать. Может, какой-нибудь Шурупов есть?

Голубев задумался:

— Нет Шурупова... Винтиков есть!

— Черный, здоровый?

— Наоборот. Беленький сморчок-карманник.

— Не тот. Еще?..

Слава по памяти перебрал все знакомые фамилии

привлекавшихся в последнее время по уголовным делам, но ни одна из них не подходила, чтобы стать производящей для клички «Шуруп». Начали прикидывать от обратного — опять ничего не получалось. После получения бесплодных догадок Бирюков сел к столу и, глядя на Голубева, сказал:

— Ладно, Слава, давай подумаем, кто мог организовать провокационный звонок в Серебровку? У Ивана Екашева есть домашний телефон?

— Есть. Поначалу я пытался дозвониться к нему, но дома никого не было.

Антон взял телефонный справочник. Найдя фамилии, начинающиеся с буквы «Т», задумчиво проговорил:

— Может, и у «пани Моники» есть на квартире телефончик.

— У кого? — не понял Слава.

— У одной из знакомых Барабанова. — Антон быстро пробежал взглядом короткий столбец фамилий и словно обрадовался: — Есть! Тузкова М. Л., улица Целинная, двадцать четыре, квартира восемь. И номер телефона, пожалуйста...

— Майя Тузкова? — удивился Голубев.

Бирюков поднял на него глаза.

— Она. Лаборанткой на элеваторе работает. Знаешь?

— Не только Майю, но и самого Тузкова — бывшего ее мужа, который повесился, знал когда-то.

— Повесился? Как?..

— Довольно оригинально. Пьяный забрался в платяной шкаф. Знаешь, в современных квартирах есть такие ниши с дверками. Так вот, спрятался Тузков в нишу и на шелковом галстуке... Ушел, как говорится, в мир иной.

— Причина?

— Белая горячка. И воровал.

— Как Майя к этому относилась?

— Прятала краденое. — Слава оживился. — Однажды додумалась тайник в Госбанке устроить. Она там тогда работала. Туфли и золотой браслет в служебный стол спрятала. Больше месяца мы их искали, пока мне в голову не стукнуло на работу к Майе заглянуть. Только присел к ее столу, она и обомлела. Сам Тузков по этому делу полтора года получил, а Майя столько же схлопотала условно. Из Госбанка ее, конечно, уволили, и она устроилась на элеватор. Между прочим, после су-

ли в районной газете фельетон моего собственного сочинения был напечатан под детективным заголовком «Тайник в Госбанке».

— Ух, ты, детективщик, — Антон улыбнулся. — А как теперь Тузкова?..

— По уголовным делам больше не проходила, но с дружками бывшего мужа, по-моему, общается. Недавно видел ее возле ресторана «Сосновый бор» с Сашкой Бабенко.

— Кто это такой?

— Тунеядец. Дважды привлекался за злостное хулиганство. Последнее наказание отбыл две недели назад.

— Как выглядит внешне?

— Черный... Здоровый...

— Кличка?

— До судимости был «Сашок», в колонии могли перекрестить.

— Сашкой, говоришь, зовут?.. — Антон вдруг нахмурился. — Значит, Шура... Шур... Шуруп, а?..

— Вполне возможно! — подхватил Голубев, на секунду задумался, заглянул в раскрытый телефонный справочник и торопливо заговорил: — Смотри. Игнатьевич!.. Тузкова живет в том же доме, что и Иван Екашев. У нее восьмая квартира, а у Ивана — шестая...

Глава 19

Антон Бирюков прекрасно понимал, что многие события и факты, кажущиеся поначалу необъяснимыми совпадениями, на самом деле закономерны и объяснимы. Надо только настойчиво и быстро искать ту невидимую нить, которая впоследствии увяжет все «случайности» в единую логическую цепь.

— Не Сашку ли Бабенко успокаивал Иван Степанович, когда руку поранил? — неуверенно произнес Голубев.

— Возможно. Еще?

— У Тузковой и Екашева на квартирах есть телефон. С любого из них Майя и Иван Степанович, сговорившись, могли без свидетелей разыграть Барабанова с покупкой машины.

— Сколько лет Тузковой?

— Не больше тридцати.

— Ивану, насколько знаю, за сорок... — Антон придвинул к себе телефонный аппарат, задумался: — Сей-

час, Слава, проведем психологический эксперимент. Я звоню Тузковой и спрашиваю, знает ли она Андрея Барабанова...

— Что это даст?

— Во-первых, по тому, как отреагирует Тузкова, можно узнать, насколько близка она была с Барабановым. Во-вторых, если только Майя принимала участие в розыгрыше, она от неожиданности должна растеряться или хотя бы замешкаться. Согласен?

— Логично. Но как ты назовешься? Скажешь, что ты из уголовного розыска?

— Я ничего не скажу, я спрошу.

— А дальше?

— Будем действовать в зависимости от того, как отреагирует Майя.

— Дерзай, Игнатьич!

В телефонной трубке долго раздавались длинные гудки, словно в квартире никого не было. Бирюков совсем уж было разочарованно положить трубку, но в это время гудки смолкли, и, похоже, нетрезвый женский голос нараспев протянул:

— Да-а-а...

— Майя? — быстро спросил Антон.

— Да-а-а...

— Вы знаете Андрея Барабанова из Серебровки?

— Андрея? — Голос как будто протрезвел, в трубке громко треснуло, и тотчас зачастили короткие гудки.

Голубев вскочил из-за стола.

— Что?!

— Она бросила трубку, — поднимаясь, сказал Антон. — Вот что, Слава! Я немедленно еду к Тузковой, а ты звони ей. Ответит — говори, что хочешь. Не ответит — все равно набирай ее номер. Пусть думает, что тот, кто только что звонил, не отходит от телефона...

— Слушай, Игнатьич, — забеспокоился Голубев. — Если у Тузковой окажется Бабенко, он может много шуму наделать.

— Постараюсь сработать без шума и пыли, — пошутил Антон.

Оперативный «газик» стремительно промчался по сумеречному райцентру. Минут через пять Бирюков уже надавил кнопку звонка возле двери Майи Тузковой. В ответ — ни звука. Где-то внизу, под лестницей, тягуче промяукала кошка. Антон, оглядев пустующий тихий подъезд, нажал на кнопку еще раз и долго ее не отпус-

кал. За дверью слышались осторожные шаги, словно к двери кто-то подкрадывался. Вроде бы тот же женский голос, что отвечал по телефону, протянул:

— Кто-о-о?..

— Уголовный розыск. Откройте, пожалуйста!

— Бросьте разыгрывать! Я сейчас в милицию позвоню!

— Если не верите, приглашу соседей.

Шаги за дверью удалились, но вскоре опять слышались вблизи. Все тот же голос застенчиво проговорил:

— Подождите. Я сейчас оденусь.

Ждать пришлось долго. Наконец за дверью раздался тяжелый вздох. Замок щелкнул, дверь медленно отворилась на длину запорной цепочки, и в образовавшейся щели Бирюков увидел невысокую женщину в коротком ситцевом халатике, внешне очень похожую на пани Монику из популярной в свое время телепередачи. В том, что перед ним Майя Тузкова, Антон не сомневался, однако для порядка спросил:

— Ваша фамилия Тузкова?

— Да-а-а...

— Мне с вами надо поговорить.

— Покажите документы.

— Пожалуйста.

Бирюков раскрыл служебное удостоверение, Тузкова изучала его слишком долго. Затем вялым движением сняла с двери цепочку.

— Входите.

Антон вошел в узкую прихожую, по укоренившейся профессиональной привычке огляделся. Слева была кухня. Хотя лампочка в ней и не горела, но на кухонном столе можно было различить остатки недавнего пиршества и массивную пепельницу с грудой белых папиросных окурков. Справа — небольшая квадратная комната, ярко освещенная люстрой. Из комнаты — дверь в спальню, где виднелась кровать вроде бы с наспех разобранной постелью. В квартире сильно пахло табачным дымом, а под потолком, как показалось Антону, даже еще не успели раствориться сизоватые дымные полосы. В спальне настойчиво звонил телефон.

— Вы одни? — спросил настороженную Тузкову Антон.

— Да-а-а. Что вам нужно?

— В первую очередь — присесть, чтобы поговорить.

— Говорите стоя.

— Разговор серьезный...

— Да-а-а? — Тузкова с неохотой повернулась к Антону спиной и пошла в комнату. — Проходите.

Пройдя за ней, Бирюков, опять же по привычке, прежде всего сориентировался. В спальне так же, как в кухне, света не было. Балконную дверь и широкое окно в комнате прикрывала плотная красная штора. Справа — диван-кровать, на которой таращил глаза-пуговицы большой плюшевый медвежонок, и в углу — крупноэкранный телевизор на высоких черных ножках. Слева — полированный шифоньер, а рядом с ним — выкрашенная в голубой цвет двустворчатая дверь, прикрывающая нишу платяного шкафа, где, судя по рассказу Голубева, повесился Тузков. Посреди комнаты — квадратный стол, возле которого четыре стула.

Тузкова поставила один из стульев так, чтобы усадить Бирюкова спиной к двери и к платяной нише. Сама села на диван-кровать, обхватила ладонями локти. Тускло сказала:

— Садитесь...

Бирюков сам выбрал место. Слева от него оказалась Тузкова и открытая дверь в спальню, справа — полированный, как зеркало, шифоньер и голубая дверь ниши, а прямо — выход в прихожую.

Притихший на несколько секунд телефон зазвонил снова. Тузкова не шелохнулась. Бирюков встретился с ней взглядом:

— Кто так настойчиво звонит?

— Хулиган какой-то.

— Он и поговорить нам не даст. Разрешите успокоить?

На лице Тузковой не дрогнул ни один мускул. Несколько затянув ответ, она пожала плечами:

— Успокойте, если можете.

С самой первой минуты, как только Антон вошел в квартиру, его не покидало предчувствие, что здесь, кроме самой хозяйки, присутствует еще кто-то. Поэтому, входя в спальню, он приготовился ко всему. Однако спальня оказалась пустой. Антон поднял телефонную трубку.

— Бирюков из уголовного розыска. Кого надо?

— Игнатьич, она ни разу мне не ответила, — протаторил Голубев.

— Вы не туда попали... Будешь хулиганить — я тебе позвоню! Понял меня?..

— Понял, жду, — мигом догадался Слава.

Положив трубку, Бирюков окинул взглядом расправленную, но почти не измятую постель. Когда он вернулся в комнату, Тузкова сидела в прежней позе, обхватив ладонями локти, и тряслась, как в приступе малярии. Видимо, стараясь унять эту лихорадочную дрожь, она крепко прижала к груди лупоглазого медвежонка. Халат при этом высоко задрался, обнажив красивую загорелую ногу, но Майя будто этого и не заметила.

— Температурите? — спросил Антон.

— Не-е-ет... — протянула Тузкова. — Знакомые приходили, немножко посидели...

Бирюков решил заговорить о том, ради чего сюда приехал:

— Скажите, Майя, вы Андрея Барабанова знаете?

— Конечно, — спокойно ответила Тузкова. — Бывший муж одной нашей лаборантки.

И замолчала, словно никакой Барабанов не интересовал и не мог ее интересовать. Пришлось Антону опять проявить инициативу:

— Когда вы с ним в последний раз встречались?

— Я с Барабановым вообще не встречаюсь.

— А на позапрошлой неделе?..

— Что на «позапрошлой неделе»?

— Вас видели в райцентре с Барабановым.

— Где?

— Вам лучше знать...

Тузкова замешкалась и вдруг перешла в нападение:

— На каком основании я должна перед вами отчитываться? Вы что, муж мне?..

— Я сотрудник уголовного розыска, — начал было Антон, но Тузкова грубо оборвала его:

— И это дает вам право врываться ночью в квартиру и задавать дурацкие вопросы?

— Во-первых, сейчас далеко еще не ночь, во-вторых, я вошел в квартиру с вашего позволения, а в-третьих, не надо из мухи раздувать слона. — Бирюков посерьезнел. — Я пришел к вам не ради амурного разговора.

Тузкова, вероятно, осознав беспочвенность своего возмущения, тихо проговорила:

— Ну а что вы Барабанова мне кленте...

— Вы не слышали, как серебрянский шофер Тропынин хотел по телефону подшутить над Барабановым насчет покупки машины?

Тузкова растерянно отвела взгляд в сторону:

— Хотите сплетницей меня выставить?

— Нет, хочу знать правду.

— А потом скажете Тропынину, что я на него наговорила?..

— У сотрудников угрозыска есть нерушимое правило: собирать информацию, но не распространять ее.

— Честно, Тропынин о нашем разговоре не узнает?

— Не будем торговаться.

Майя нахмурилась, прикрыла полый халата обнаженную ногу и стала рассказывать, как лаборантка Вера и шофер из Серебровки Тропынин хотели подшутить над Барабановым. Сейчас Тузкову нельзя было узнать. Антону даже показалось, что она всерьез подражает телевизионной пани Монике.

Слушая, Бирюков никак не мог избавиться от тревожного предчувствия и краем уха стал ловить посторонние звуки. За стенкой крутили магнитофон, в подъезде тоскливо мяукала кошка, на кухне журчала вода, бегущая потихоньку из крана.

— Вера и Тропынин звонили при вас? — спросил Антон, когда Тузкова замолчала.

— Не-е-ет. Тропынин снял трубку, чтобы позвонить, а я закончила анализ и ушла из лаборатории.

— Но вы вроде как уверены, что они звонили.

— Конечно, уверена. Вера на каждом шагу мстит Барабанову.

Бирюков хотел задать очередной вопрос, однако вдруг показалось, будто то ли у шифоньера, то ли у платяного шкафа скрипнула дверца. Он чуть-чуть косил глаза вправо и заметил, что одна из голубых створок ниши, начавшаяся было раскрываться, медленно прижалась на прежнее место. Лицо Тузковой окаменело, но она тут же, видимо, стараясь отвлечь Бирюкова, капризно вздернулась:

— Собственно, что вам от меня нужно?

— Вы Шурупа знаете? — вдруг спросил Антон.

На лице Тузковой промелькнуло похожее на испуг недоумение:

— Кого-о-о?

— Сашку Бабенко.

— Сто лет его не видала, — с усмешкой ответила Майя, но от внимания Антона не ускользнуло, какой силы воли стоило ей ответить спокойно. Придерживаясь намеченного принципа неожиданности, он опять спросил:

— Кто у вас в квартире прячется?

Лицо Тузковой вспыхнуло. На несколько секунд Майя даже онемела, но тут швырнула медвежонка на пол и подскочила как ужаленная:

— Вы не фантазируйте!

Бирюков тоже поднялся.

— Откройте шкаф.

— Хотите мои платья поглядеть?

— Нет, хочу увидеть Бабенко, чтобы поговорить с ним.

— Это произвол!

— Я приглашу понятых...

— Вы с ума сошли...

— Нет, я в здравом уме и трезвой памяти. — Антон быстро подошел к телефону и краем глаза приглядывая за дверью ниши, набрал номер Голубева: — Слава, срочно с опергруппой — на Целинную! Не забудьте санкцию прокурора на обыск у Тузковой.

— Через десять минут жди! — выпалил Голубев.

Бирюков опустил телефонную трубку и, по-прежнему не выпуская из вида нишу, громко сказал:

— Выходи, Бабенко, говорить будем!

Около минуты в квартире царило гробовое молчание. Затем дверь ниши с треском, словно ее пнули изнутри, распахнулась, и оттуда, из-за развешанных на плечиках женских платьев, вылез похожий на цыгана здоровенный детина. Явно бравирюя перед Тузковой, он ощерился в улыбку:

— Все, начальник. Я сам перед тобой нарисовался. Пока твои не подъехали, давай разойдемся мирно. Отваливаю тебе полторы тысячи. Больше нету, честное слово.

— Вот ты какой, Шуруп... — медленно проговорил Антон. — Легким испугом отделаться хочешь?

Бабенко глубоко задышал и тяжело двинулся вперед. Антон был готов к нападению...

Наступила немая сцена. Бирюков еще издали услышал звук приближающейся милицейской сирены. Внезапно по зашторенному окну блеснул свет автомобильных фар, и тотчас у подъезда захлопали двери оперативной машины.

Майя Тузкова, зажав ладонями рот, стояла возле дивана будто заледеневшая. У ее ног непонимающе таранил пуговицы-глаза плюшевый медвежонок...

Мягкое сентябрьское солнце заполняло просторный кабинет начальника райотдела, поигрывая бликами на настольном стекле, где лежала пухлая пачка денег. Разговор участников следственно-оперативной группы, среди которых отсутствовал лишь следователь Лимакин, начал было переходить на отвлеченную тему, однако подполковник Гладышев вернул его в прежнее русло. Посмотрев на деньги, он спросил:

— Значит, Бабенко рассчитывал взять у Барабанова больше?

— Да, Николай Сергеевич, — ответил Антон. — Шуруп считал, что Барабанов будет иметь при себе не меньше пяти тысяч рублей, а у того наличными оказалось всего полторы тысячи.

— Ну а чего Бабенко бушевал с ножом, когда Ивану Екашеву руку поранил?

— Сцену ревности Тузковой закатывал.

— За секретаршу вымышленного председателя райпотребсоюза по телефону говорила Тузкова?

— Да. Но об истинном замысле Бабенко она не знала. Майя случайно в разговоре передала Шурупу «идею» Тропынина. Тот мигом за нее ухватился и стал уговаривать Тузкову «подшутить» над Барабановым. Доказывая Шурупу свою верность, Тузкова согласилась. Кстати, в Серебровке Бабенко не в первый раз появился. Сразу после отбытия наказания он несколько дней тайком жил у Екашевых — привет от сына привозил, дешевым самогоном пробавлялся. Хотел докопаться, куда старик прячет деньги, но безрезультатно. Даже убив Репьева и Барабанова, он не терял надежды, как говорят, «колупнуть» старика.

Судмедэксперт Медников покачал головой:

— Ну, Шуруп... Чем Репьев ему насолил?

— Пасечник припугнул Бабенко, что выдаст его в случае убийства, а такие угрозы, Боря, убийцы не прощают.

— Непонятно, зачем он екашевский обрез до самой Крутихи под полой тасил?

— Чтобы отпечатки свои уничтожить и не навести на след Екашева. Я уже говорил, что насчет старика у Бабенко были дальние планы.

— Разве Шуруп не мог ножом покончить с Репьевым?

— Репьев был не из тех, кого легко ножом достать, — сказал Антон. — Бабенко это знал и решил бить наверняка. Кстати, за обрез он заплатил Екашеву двадцать пять рублей — дешевле старик категорически отказался продать.

— А Екашев говорил, за пятерку...

— Что касается денег, Степан Осипович все значительно уменьшает.

— Вот двужильный скряга... — Медников вздохнул и снова спросил: — Как же Левкин нож оказался у Шурупа?

— Репьев этим ножом вырезал свежие соты с медом для Розы, и Бабенко после убийства пасечника прихватил его, чтобы «поднапустить следователям тумана», — ответил Антон.

Через распахнутое окно кабинета с улицы донесся размеренный цокот лошадиных копыт по асфальту. Прокурор, подойдя к окну, сумрачно продекламировал:

— Цыгане шумною толпой покочевали в Серебровку.

— Чего они опять туда? — спросил подполковник.

— Заработанные деньги получать.

Бирюков тоже посмотрел в окно. Мимо райотдела неторопливо цокала пегая монголка. На телеге с тюками немудреного скарба величаво восседал бородатый Козаченко и сутуло горбилась повязанная черным платком старуха. За телегой степенно шагали мужчины в ярких рубахах, за ними тянулся гомонящий хвост цыганок. Замыкал шествие кудрявый Ромка.

— Что-то Левки с Розой не видно, — сказал Антон. — Так и не вернулись они в табор?

— Нет, не вернулись... — Прокурор вроде бы хотел еще что-то добавить по поводу цыган, но вместо этого обвел взглядом присутствующих и словно подвел черту: — Что ж, товарищи, будем считать расследование законченным. Петр Лимакин уже над обвинительным заключением работает. На днях передадим дело в суд.

Степан Осипович Екашев скончался в районной больнице за неделю до начала суда. Вскоре после его смерти в подполье обветшало́го дома в Серебровке нашли тайник с необычным кладом. Глубокий, выложенный старинным кирпичом подкоп был битком заполнен перевязанными навощенной дратвой пачками денег. Половину из них сгноила плесень.

Валерий Гусев

...И ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ГОДА

ПОВЕСТЬ В НОВЕЛЛАХ

Когда начальник райотдела «передавал» Андрею Ратникову участок, он так завершил свои наставления:

— Ну, всего не расскажешь. На все случаи совета не дашь. До остального своим умом будешь доходить, лейтенант. В каждом вопросе — конкретное решение искать, соответствующие меры принимать. Но главное в твоей работе — что? Правильно понял — профилактика правонарушений. Хорошо вас теперь учат. А основа ее? Э, нет! Мыслишь верно, но узко. Конечно, пьянство — это такое вредное явление, с которым решительно надо кончать. Но основа профилактики — воспитание граждан. Всех, с кемходишь в контакт, с каждым, кто встречается на пути, даже с тем, который с тобой просто чаю попить ест. Схватываешь? Понимаешь? Потому что ты теперь всегда и везде — милиционер. Это, к примеру, токарь или механизатор — так токарь он на заводе и тракторист он в поле, а в бане или в кино — он просто человек, гражданин. А твоя профессия такая, что ты всегда и везде милиционер: и днем и ночью, и дома и в пути, и зимой и летом. И во все времена года. И без этой самой профилактики, без воспитания людей нам с тобой и товарищам нашим, и нашим детям, и ихним внукам на много лет вперед работы хватит.

КОШЕЛЕК

В первый день своей милицейской службы, ранним утром, Ратников шел по селу в новом обмундировании, при фуражке и кобуре, щедро бросая вокруг солнечных зайцев начищенными сапогами и яркими пуговицами.

Из палисадников ломились к нему кусты зацветающей сирени, подрагивая от холодного утреннего ветер-

ка. В старых ветлах сустились скворцы, занятые своими важными делами. Из-под крыш домов и сараев как камни, пущенные из рогатки умелой мальчишеской рукой, вылетали ласточки. Где-то далеко в поле ровно, деловито урчал трактор. Была хорошая пора конца весны, начала лета...

Навстречу Андрею, не видя его в упор, выскочил с почты и протрусил мимо суматошный сплетник и ярый пьяница Паршутин, зажав что-то в кулаке. «К Евдокии, — догадался участковый, — с утра пораньше. Где он только деньги достал, ведь кругом должен?» — но останавливать его пока постеснялся, вдруг по какому делу бежит. А вот с продавщицей поговорить надо будет сегодня же. Несмотря на строгости, держит она водку в доме. Немного, но держит.

У Василия Кружка, бригадира косарей, громко хлопнула дверь, и на всю улицу застрекотала его жена, весьма голосистая на ругань баба. Спасаясь, выскочил Василий за калитку и заспешил, оборачиваясь.

— Вот тебе, а не два рубля! — кричала Нюрка и совала ему вслед острые, злые кукиши. — Вот тебе — покуда лужок не выкосишь. С завтрава колхозное начнешь косить — дозовешься тебя тогда, как же!

Шел Андрей не спеша, старался выглядеть посolidнее, постарше, поувереннее и, главное, не смешным. Язычки у синереченских остренькие на редкость, таких больше нигде искать не надо — все равно не найдешь.

Шел Андрей и здоровался, прикладывая руку к козырьку, сдержанно, но приветливо улыбаясь. Шел и радовался хорошему утру, своей новой жизни...

А навстречу ему тихо шла и тихо плакала одинокая старушка Зотова. Дочь ее единственная жила в городе, жила плохо — муж (бывший) все время бегал от алиментов, девочка слабенькая была и часто болела. Зотова помогала дочери как могла со своей невеликой пенсии и с огородика, который возделывать как следует сил уже не было.

— Что ты, Елена Петровна, — тронул ее за плечо участковый. — Обидел кто?

— Сама себя и дочку с внучкой обидела, Андрюша, — она говорила и так же тихо продолжала плакать. — Собралась Анютке денежек послать, ведь ейный алиментщик обратно пропал, да где-то кошелек обронила — вся пенсия в нем была, нераспечатанная. Все

тридцать семь рубликов. — Зотова промокнула концами платка щеки и пошла было дальше.

— Постой-ка, — остановил ее Андрей. — Пойдем ко мне, разберемся.

Но разобраться сразу не успел. Записал только — какая сумма была в кошельке и сам он какого вида, успокоил немного бабушку Зотову — и тут с истошным воплем ворвалась к нему шустрая, как девчонка, семидесятилетняя старуха Чашкина с нелепым именем Афродита Евменовна. Почему и зачем ее так прозвали — это особый рассказ, да не о том сейчас речь.

«Не иначе пожар, или космонавты сели рядом, — решил Андрей. — Либо опять Венерка что-нибудь выкинула».

Венеркой односельчане с безошибочным коллективным юмором прозвали взбалмошную корову Евменовны. Она в хозяйку была — со странностями, мягко говоря. Частенько шлялась по лесам, жрала грибы, была, как гордилась Афродита Евменовна, большая охотница до вареной колбасы. Бабка Афродита уверяла также, что натура у Венерки нежная, чувствительная, что грубого слова она не переносит, а в жару у нее случается солнечный удар: тогда Венерка, пока не оправится, доится не молоком, а простоквашей. И потому при сильном солнце старуха Чашкина напяливала на буйную Венеркину голову старую соломенную шляпу с тряпичным цветком. Вид от того у Венерки делался глупейший.

Не ошибся Ратников — пропала Венерка. В положенный час домой не пришла, оставила стариков без молока и, считай, без ужина. Потому что глухой дед Пидя (законный Евменовны супруг) одним молоком уж лет десять перебивался: и в щи его не жалел, и чай забеливал, и в чистом виде потреблял.

Сперва старики не обеспокоились. Немошные они стали, хотя и старались это скрыть, особенно Евменовна — бодрилась, суежилась, а потому как накосить Венерке к вечеру охапку травы или еще чем к дому привадить, сил уже не было, то оправдывалась бабка тем, что перевела корову на прогрессивное беспривязное содержание. Вот и шлялась Венерка по полям, да чужим огородам — в своем-то старики давно уже почти ничего не садили — и часто домой являлась, когда уже неумоготу без дойки было.

Но вот Венерка в ночь не пришла и утром под окном не замычала. Тут и всполошилась Евменовна — куда бежать, где искать, кого о помощи просить? Хорошо, враз вспомнила, что свой милиционер теперь в селе, отсюда родом, на глазах Андрейкой рос — не прогонит, подскажет старухе, что ей в трудный час делать, как поступить.

Храбрилась по привычке Евменовна, шутила через силу, что, видно, мол, ее старая Венерка в полюбовники лося взяла и на полный кураж с ним загуляла, а на сердце тяжесть легла: куда им без коровы — ежели пропала она, вслед за ней им со стариком тоже пропадать. На новую уже ни сил, ни денег не собрать, да и к этой больно привыкли — другой и даром не надо.

Андрей ее слушал, вопросы задавал, в блокнотике пометки делал, а сам внутри себя изо всех сил сообщал — что делать: как и бабке помочь и честь мундира в первый же день не уронить?

Только когда бабка ушла, успокоился немного, собрался с мыслями, стал вспоминать, чему его в милицейской школе учили. Да никак не вспомнить подходящее к случаю — все науки преподали, такие тонкие штуки разъяснили — одними названиями голову сломишь, а вот такому — как корову пропавшую найти, да еще с характером — никто не учил.

«Эх, — махнул вроде рукой Андрей. — Розыск — так розыск. По всем правилам». И начал с опроса свидетелей.

Пошел по селу с блокнотиком. Ребятишек спрашивал, мужиков, кто в лесу чаще других бывал, и, составив такую схемку — кто, где и в какое время Венерку видел, — разложил на столе карту своего участка.

Вот теперь намечался, как в теории, «стройный, последовательный розыск» заблудшей коровы. Как великий полководец стоял Андрей над столом, постукивая карандашом по губам и напевая бодрый марш «Прощание славянки», намечая предполагаемые перемещения войск противника, наиболее вероятный маршрут и теperешнюю дислокацию шалой Венерки. Проложил на карте линию на основе обработанных данных, и получилась у него почти прямая — на север корова стремилась — напрямик, да покороче. Что ей там надо было, какое добро там оставила — никогда и никому не узнать.

Но расчет-то оказался верным. Бросил Андрей в коляску мотоцикла подойник и поехал к Красному бору. На краю его, где начинался густой подлесок, вышел он, как и предполагал, наперерез и в намеченной точке лазил по кустам, бренча подойником. Венерка сама сначала замычала, а потом и вышла на знакомый, долгожданный звук. Андрей погладил ее, почесал между рогами, подоил и стал думать, как дальше быть. К мотоциклу ведь не привяжешь, на буксир не возьмешь. Загнал он тогда свой транспорт где погуще, свечи на всякий случай вывернул и замаскировал ветками. После выбрал хворостину и погнал худосочную заблудшую Венерку по пыльной дороге к селу.

Дело-то, в общем, было знакомое, привычное с детства, но сейчас, в новой фуражке и при пистолете, с подойником и хворостиной в руке, было Андрею неловко — ведь только начинал свою службу. Весть разлетелась быстро, и все село выстроилось по обочинам, разве что аплодисментов не было. Шел Ратников как сквозь строй.

— Эй, милиция! — закричал ему бывший друг, хулиган Сенька-ковбой. — Ты теперь что, пастушком подрабатываешь?

Выскочил на дорогу злой, по-бабьи любопытный и трепливый Паршутин:

— За что же он ее, братцы? И какое же ей, родимой, теперь наказание выйдет? В район, что ли, повезешь, на отсидку? — выкрикнул он с нескрываемой ехидцей.

Кто улыбался, кто смеялся в голос, а Андрей краснел.

Выручил его Иванцов, прежний участковый, нынешний заслуженный пенсионер.

— Что это ты стесняешься, Андрей Сергеич? — намеренно громко спросил он. — Работа теперь твоя такая — заботиться о людях. Тебе власть дана, чтобы оберегать их покой и имущество. Евменовне эта корова дорога не меньше, чем председателю все племенное колхозное стадо. Ты долг свой исполняешь!

Односельчане задумались. А когда выбежала со двора обрадованная Евменовна, и Венерка, замычавей навстречу, побежала, болтая выменем, лизнула руку, щеку и, вздохнув, положила голову на плечо, роняя

густую слюну на потерявшую цвет от дождей и солнца бабкину телогрейку, кто-то жалостно вздохнул и молвил: «Соскучилась, бедная...»

Вечером пошел Андрей на колхозное собрание, посвященное предстоящему сенокосу. По хорошей погоде собрались не в клубном зале, а перед правлением, на зеленом футбольном поле, которое не успели еще истоптать ребята и изглодать козы.

Вышел председатель — в кепке, свитере и кроссовках — и стал в воротах, прислонившись к штанге. Пробежал среди собравшихся смешок, мол, а мячик где? — началось собрание.

Обсудили толково все проблемы, наметили план, а потом председатель сказал:

— Вопрос, товарищи колхозники, мы рассмотрели важный. Работать предстоит ударно. Тем более обиден такой факт — лучшая наша бригада косарей, в которую даже лентяй Паршутин просится, сегодня во главе с бригадиром устроила пьянку. Это дело мы так не оставим. И при подведении итогов учтем. А сейчас выступит наш новый участковый. Слушайте его внимательно.

Ратников поднялся с травы и тоже стал в ворота:

— Я, товарищи, первый день сегодня работаю и молодой еще. Так что извините заранее, если неправильно что-нибудь скажу...

Пожилые мужики, что сидели поближе, довольно закивали, бабы одобрительно платочки подзатянули — понравилось такое начало.

— Вы меня хорошо знаете, — продолжал Андрей. — И я вас всех знаю с детских лет. А сегодня будто поновому на вас посмотрел и удивился. Народ наш в селе всегда добрый был — и на слово, и на дело, заботливый к соседу. От вас же я слышал, как бедовали в войну, как делились коркой хлеба, и за столом своих и чужих детей не было, все были — одна семья. А вспомните, после войны — сколько семей под одного оставшегося мужика собиралось, как последнее друг другу отдавали...

— А сейчас хуже, что ли, стали? — обидчиво перебил кто-то.

— Не знаю. Отвечу примером. Вот я сегодня, когда Венерку искал, шестерых пионеров опросил. Все они

ее видели в лесу, и ни один не догадался домой пригнать. А ведь хорошие ребята, в тимуровском отряде состоят. Той же Евменовне по расписанию дрова колют и воду носят. Неужели же только потому, что это «мероприятие» у них в тетрадочку записано и галочкой отмечается, а?

Ну ладно ребята — нам их еще воспитывать. А вот ты, Тимофей Елкин, почему не задумался слабой старухе помочь? Шляться днями без работы можешь, а на простое доброе дело сил да времени нет?

— Побоялся, — пробурчал Тимофей. — Показалось, лось это. Вот и побоялся.

— Знаю я, как ты лосей боишься, — намекнул Андрей. — А ты, Степаныч, ведь ближайший сосед Чашкиным...

— Да что я, Андрей Сергеич, кружку молока, что ли, не налью им. Завсегда.

— Налъешь. А вот охапку травы разок-другой накосить старикам — руки отвалятся.

Не понравился колхозникам разговор, обидным показался. Тем более, что прав был участковый.

А он еще добавил, к главному подбираясь:

— Странно вы ведете себя, односельчане. Когда у вас самих мало было — последнее отдавали, а как разбегатели, так и лишнего жалко. Вот ты, Трофимыч... Что тебе с чужой тележки без колес, которую ты в огороде прячешь? Какая тебе с нее корысть, если у тебя «Жигули» собственные во дворе?

— Так хозяйство ведь, пригодится, — растерялся Трофимыч.

А Нюрка во весь голос завопила:

— Вот она где, а я-то обыскалась, думала, ребята ее сволокли. Ну, гляди теперь, сам чего-нибудь не досчитаешься!

— А я в милицию заявлю, — пригрозил Трофимыч при общем смехе.

Председатель грозно повел бровями, и все снова стихли.

— Сегодня, товарищи, у нас еще одна неприятность случилась. Потеряла гражданка Зотова свою пенсию, скорее всего, на почте.

Стало еще тише, даже комаров перестали хлопать.

— Как она перебивается, вам хорошо известно.

И, думаю, известно, что за черная душа подобрала тот кошелек. Но не об этом негодяе речь. А о вас, которые знают и молчат.

Не успел Ратников свет в комнате зажечь, планшетку на крючок повесить и окно отворить, как влетел через это окно и шлепнулся прямо на стол кошелек. Участковый даже на улицу не выглянул — и так знал, чья работа. Пошел он к Зотовой и вручил ей кошелек. Она опять заплакала одними глазами и сказала:

— Кошелек-то, сынок, мой, а деньги — нет. Тут больше получается и другими бумажками.

Андрей разницу у нее забрал и снова к себе вернулся. А уж на крыльце его Паршутин ждал, держась за щеку.

— Заявить пришел, — сказал он жалобно. — На грубое избиение и нанесение телесных повреждений и материального ущерба.

Паршутин отнял руку и показал синяк под глазом и оторванные с рубашки пуговицы.

— Давай, жалуйся, — согласился участковый. — Только ведь и на тебя я протокол составляю. И уголовное дело заведу.

— Это за что же? — удивился и испугался Паршутин.

— За кошелек, — отрезал Андрей, входя в дом и приглашая туда Паршутину.

Неизвестно, о чем они говорили. Лишь вездесущая Нюрка ухватила самый конец их разговора на крыльце, когда участковый запирает свою резиденцию, а Паршутин топтался рядом и все порывался пожать ему руку, не решаясь уйти.

— Так что заявление ты напиши. Я меры приму.

— Конечно, Андрей Сергееч, это не метод воспитания, что они выбрали. Но в данном случае он носил справедливый характер. Что заработал, то и получил. Будем считать, что состоялся товарищеский суд и мне нанесли законную резолюцию в верхнюю область лица. Они попрощались.

— Сдачу заberi, — сказал участковый. — Тут лишнее оказалось. Сам ребятам отдашь. Если возьмут.

— Уговорю. Я на них сердца не держу, Сергееч.

Понял — иной раз нелишне и нос набок своротить, чтобы кривую душу поправить.

Вот так и закончился этот первый рабочий день участкового Ратникова.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Василий с детства сильно мечтал о мотоцикле. И непременно с коляской. Сначала — чтобы хвастаться перед дружками-школьниками, затем — чтобы склонить Клавдию к взаимности и совместному ведению хозяйства, потом — чтобы сбежать от Клавдии куда глаза глядят, лучше всего — на самый край света.

За долгие годы сумел Василий купить «горшок» на голову с прозрачным козырьком и пару черных перчаток с отворотами до локтей. Да еще собственноручно обшил сзади старые брюки коричневой кожей и оклеил горницу картинками из журналов, на которых яркими красками сверкали мотоциклы всех систем, марок и видов. Вот и все. А своего мотоцикла не было. По лотерее выиграть никак не удавалось, а скопить — тем более. Жили они, правда, неплохо. Василий парень был добрый, не ленивый, от работы не бегал. Но жена его Клавдия, женщина скандальная и бдительная, взяла манеру сама его зарплату получать, мол, как бы не пропил. И куда она ее девала, никто, кроме нее, не знал. Василий жены боялся и активно и открыто не протестовал, но уж если заводился случайный рублик с левого или сверхурочного заработка, пропивал его безжалостно с друзьями — быстро, не раздумывая. Пьяницей-то он не был, но по его собственным словам, которые он где-то вычитал, и они ему очень нравились своей деликатностью, «был подвержен слабости, свойственной всякому человеку, а русскому в особенности». Выпив же, Василий начинал вслух мечтать о том, какой мотоцикл он скоро купит, как за ним будет ухаживать и куда на нем станет ездить.

Все его сверстники обзавелись техникой — и простой, и с колясками, и даже машинами. А Васька и велосипеда с моторчиком не имел. Над ним смеялись, его дразнили, приклеили ему дурацкую кличку — «Паровоз» после того, как дотошный и ехидный бухгалтер Коровушкин подсчитал Васькины доходы и объявил, что тот, если бы и правда хотел, да не пил, давно мог

бы купить себе не то что мотоцикл с коляской, а целый паровоз с тендером.

Время шло. С «горшка» облупилась краска, кожа на специальных штанах заскорузла и потрескалась, а перчатками Клавдия пользовалась, когда воевала у русской печки. Но мечта жила, не сдавалась.

Рано утром, едва участковый инспектор Андрей Ратников вышел на крыльцо, как стукнула калитка и подбежала к нему Клавдия, жена Василия. Растрепанная, платок сбилсЯ, телогрейка распахнута, в глазах — злые слезы. Клавдия была женщина вздорная, не очень умная, но упрямая. Говорить с ней было трудно.

— Андрюша! — закричала она, прижимая руки к груди. — Беда у нас, Ваську ночью украли!

— Ну уж, — недоверчиво усмехнулся участковый.

— Да не мужа — кабанчика увели. Что же теперь делать-то? Как дальше быть? Я ведь на него хотела холодильник справить, погреб-то, знаешь ведь, обвалился. А Ваську разве допросишься? Ему одно дело: глаза налить да сидеть на завалинке, про мотоциклу мечтать. Ну я ему покажу! На одну ночь дом оставила — и вот тебе! Радость! А кабанчик-то какой славный был, — захныкала Клавдия, — ласковый, как котенок, и глазки такие смышленные. А за Васькой-то собачонкой бегал, только что не лаял. И прибавлял быстро — чем ни корми!

— Ну, пойдем, Клавдия, — сказал участковый, спускаясь с крыльца. — По дороге расскажешь.

Клавдия заторопилась рядом — забежала вперед, рассказывая, заглядывала Андрею в лицо, успевала, здороваться и перекинуться словом со всеми, кто попадался навстречу, и без конца, как заведенная, поправляла платок.

— К мамаше я вчера ездила, у них и ночевала... Здравствуй, Петро, обокрали нас, слышал?.. Как уходить, я Ваську покормила и заперла...

— Кабанчика? — уточнил Андрей.

— Его. Значит, заперла его — мужик-то хоть и дурак, но как чуял: третьего дня замок навесил — и подалась. А нынче во двор вхожу — тишина. Сердце сразу замерло... Доброго здоровья, Иван Макарыч, беда у нас — в сарай залезли... Вот, замерло сердце: он, Васька...

— Кабанчик?

— Ага, он всегда визжит, радуется, как мои шаги слышит, а тут тишь. Я к сараю — дверь враспашку, замок валяется сломанный, а внутри — пусто. Я в дом, а Васька...

— Мужик?

— Паразит, — уточнила Клавдия деловито и серьезно. — Спит как младенец, с вечера нажрамшись. Растолкала, конечно, он лыка не вяжет. Где, говорю, кабанчик?

— А он?

Клавдия было замаялась, потом пересилила себя:

— Обругал меня, оттолкнул и обратно захрапел. Ну, ничего, он у меня попоет и попляшет... Здорово, Марья, заходи — кабанчика у нас ночью покрали.

К дому Василия подошли уже толпой. Андрей Клавдию пропустил в калитку, а перед остальными ее захлопнул, никого во двор не пустил.

Василий — небритый, лохматый, в нижней рубашке — сидел на крыльце, сжав опущенную голову руками — то ли переживал, то ли похмельем мучился.

Участковый положил ему руку на плечо. Василий поднял голову, покачал ею, тяжело вздохнул:

— Вишь, как получилось, Андрей Сергеич...

Клавдия с ненавистью взглянула на него (у, дурноглазый!) и, сильно толкнув коленом, поднялась в избу, загремела там посудой.

Андрей подошел к сараю. Подобрал замок, осмотрел: дужка его была ровно перепилена на две, почти одинаковые части, свежие спилы весело блестели на солнце. Андрей завернул замок в чистую бумажку и втиснул его в планшечку.

— Ты отпечатки на замке проверь, — посоветовал знающим тоном Василий. — Должны они быть.

— Проверю, — сказал Андрей и заглянул в сарай, не заходя внутрь.

Слева, сразу за дверью было отгорожено место для поросенка, в загородке — дверца на кожаных петлях, с вертушкой, распахнутая настежь. На влажной, грязной земле — четкие следы: большие и маленькие. Андрей сел на корточки и присмотрелся к ним.

— Вы когда заходили сюда последний раз?

— Кланька — с вечера, кормить ходила. А я вовсе дня два уж не заглядывал.

— Точно? Припомни.

— Да знаю я. Как замок повесил, так и не заглядывал — чего я там не видел?

— А что это тебе взбрело замок вешать?

Василий поскреб лохматую голову, почесал под мышкой:

— Да вот мечтал сарайчик под гараж приспособить, для мотоциклета. Он, вишь, какой серьезной постройки, со старых времен еще. Думал, Ваську продадим и мотоциклетку поставим: не на дворе же машину держать!

— Что, накопил уже? — серьезно спросил участковый. — Молодец!

— Набрал, — солидно ответил Василий. — Немножко осталось.

— Сколько же?

— Трояка не хватает, — он засмеялся.

— А где деньги держишь?

— Грамотный небось, — на книжке.

— Покажи, пожалуйста, — попросил Андрей.

Васька опять засмеялся:

— Спрятал далеко — от Кланьки в секрете держу. Ты уж не выдавай.

— Это уж как получится, — в тон ему ответил Андрей. — Зайди-ка сюда, посмотри.

Он посторонился, пропуская Василия в сарай.

— Чего там глядеть? — спросил тот, нехотя входя в сарай. — Глядеть раньше надо было, теперь нечего.

— Вон там, что у вас в углу? — Андрей словно ненароком подтолкнул его к влажному месту рядом с большим следом резинового сапога.

Василий приложил руку ко лбу, будто смотрел против солнца.

— Чего? Корзина там, бидон и мешки. Под слегой — косы. Вот и все богатство. Все как было. Ничего больше не взяли.

— Да? Ну, ладно, теперь меня пусти.

Андрей снова присел и стал разглядывать землю.

— Чего ты? — вдруг обиженно забеспокоился Василий. — Чего ты там ползаешь?

— Да, ерунда, — отмахнулся Андрей. — Найдем твоего кабанчика. Сегодня вечером.

— Как же! Вы найдете! — усмехнулся Василий.

— Особенно если ты поможешь...

— И помогу — я их видел позавчера.

— Ну? Что ж ты молчишь?

— Боязно — вдруг ошибусь, чего зря на людей врать? Расскажу, что знаю, а ты уж решай.

Они вышли из сарая, сели на лавочку под ветелкой. Василий закурил.

— Дело так было. Вышел я ближе к ночи — только-только кино в телевизоре кончилось — по нужде. Тихо так, темно. Гляжу, на той стороне, прямо у Корзинкиных под окнами двое стоят, папиросками светят. Хотел было окликнуть, думал, знакомые, да поостерегся. Прислушался. Один говорит: вон в том сарайчике, под деревом. А другой — сарайчик, мол, запирается? А что нам замок, этот отвечает. И ушли.

— Что же ты меня не предупредил? Я бы их с личным взял.

— Засомневался — мало об чем люди говорили. Я и сам тогда ничего такого не подумал.

— Ты их разглядел?

— А как же! Под самым окном стояли, а из окна — свет прямо на них. Один — высокий такой, худой...

— А другой, — перебил Андрей, — низенький, толстый?

— Точно! Ты их знаешь, что ли? Приметил уже?

— Приметил. У тебя ножовка по металлу есть?

— Откуда? Отродясь не держал. На кой она мне.

— Ну ладно, — Андрей встал, опечатал сарай. — Ты на работу не ходи сегодня, будешь мне помогать.

В магазине Андрей подозвал Евдокию — продавщицу, выложил на прилавок замок.

— У тебя есть такие?

Евдокия взглянула мельком:

— Только такие и есть.

— Не помнишь, кто их брал?

— Помню, как же. Их не больно-то берут. Силантьев брал, Лешка Козырьков и Васька-Паровоз.

— Дай-ка и мне один. Сколько он стоит? Оботри только от смазки, ладно?

Потом Андрей зашел в колхозную кузницу, попросил у Федора ножовку.

— Тебе какую?

Андрей показал перепиленную дужку.

— Эта — с большим полотном, по срезу видно. Васька-Паровоз тоже недавно такую же просил. Бал-

бес — мотоциклу хочет иметь, а инструментом не запасся. Когда вернешь? Она одна у меня.

— Вечерком, ладно?

Ближе к вечеру, управившись с другими делами, договорившись с дружинниками и побывав у Корзинкиных, участковый инспектор Андрей Ратников снова пошел к Василию, на место происшествия.

— Много непонятного в этом деле, Василий, — сказал Андрей, присаживаясь на лавочку. — Ну да разберемся. Вместе.

— Что уж тут непонятного? — недовольно спросил Василий. — Украли — и все. Найти сперва надо жуликов, а потом разбираться.

— Давай искать, — согласился участковый. — Пойдем-ка следы посмотрим в сарае. Видишь — тут только две ноги: большая и маленькая. Верно?

Василий сумрачно кивнул.

— Маленький след — это галоши твоей Клавдии, а большой — от твоих резиновых сапог. Верно? Чего молчишь? А чужих следов нет.

— И правда, — удивился Василий. — Вот ловкачи. И ты молодец, Сергеич, — разглядел. Удивительно!

— Удивительно не это, Вася. Удивительно вот что: здесь и здесь твои следы накладываются на Клавдины, видишь?

— Не шибко.

— ...А это значит, что ты запомнил — выходит, был ты после Клавдии в сарае. Когда? И зачем?

— Разве я помню? Ты же знаешь, поддатый я частенько бываю. Может, спьяну и забрел...

Андрей вздохнул, ему стало скучно.

— Ладно, пусть так. А вот откуда здесь твоего кабаника следы? Рядом с твоими, а? Гулять водили?

— Так выпускаем иногда, он забавный был, по двору любил побегать. А чего ты меня все расспрашиваешь? Вот пристал.

Андрей вышел из сарая, достал из планшетки новый замок, развернул газету, в которой была ножовка.

Василий настороженно, с сердитым интересом наблюдал за ним.

Андрей закрыл дверь, навесил замок и запер его.

— Ну-ка, Василий, проведем с тобой следственный эксперимент. Посмотрим, как дело было. Бери ножов-

ку, пили дужку. Нет, нет, не здесь — посередке. А вас, граждане, — пригласил Андрей топтавшихся за калиткой дружинников — братьев Ванюшку и Григория, — попрошу наблюдать за действиями потерпевшего Василия Кондратьева.

Василий сдвинул замок, приладился, попробовал пилить дужку — не получилось.

— Обратите внимание, граждане: при таком положении замка сделать пропил, идентичный проверяемому, практически невозможно, так как ход ножовки слишком мал, она упирается в доску дверной коробки.

Вспотевший Василий приспособился по-другому, присел на корточки и стал пилить. Дело пошло.

— До конца пилить, Сергеич?

— Достаточно. Прошу присмотреться, граждане: при единственной возможности перепилить дужку замка ножовка верхним краем оставляет заметный характерный след на двери в виде глубоких, ярко выраженных бороздок, чего не наблюдалось в первом случае. Так, Василий? И как же нам с тобой объяснить эти странные факты?

— Откуда мне знать? Я, что ли, этот замок распиливал?

— Объяснение простое: замок сначала был распилен, а затем навешен на дверь...

— Зачем? — Василий вылупил глаза.

— ...Навешен на дверь с целью создания впечатления взлома.

— Ну, ловкачи, — восхитился тот, хлопая себя по бедрам. — Умельцы! Но милицию не проведешь, верно, Сергеич?

— Верно, Василий, — согласился участковый и присел на лавочку. — Садитесь, ребята, отдыхайте.

Сидели долго. Пока совсем не стемнело. Василий курил, ерзал, цыкнул на жену, которая позвала его ужинать. Клавдия погрозила ему кулаком и хлопнула дверь.

— Для чего сидим? — наконец не выдержал он.

— Для чистоты эксперимента, — ответил Андрей. — Однако пора. Идите, ребята.

Андрей поднялся на крыльцо, поманил Василия. Дружинники тем временем перешли улицу, стали под окнами Корзинкиных: Ванюшка — худой и длинный, Григорий, хоть и родной брат — маленький и толстый.

— Так все было, Вася?

— В точности.

— Ну, тогда слушай, что они говорят.

Андрей свистнул — подал знак.

Дружинники стояли в полосе света из окна избы, было хорошо видно, как они жестикулируют, разговаривая, были видны огоньки и дымки их папирос, но... не было слышно ни слова.

— Так что они говорят, Вася? — спросил Андрей. — Я что-то не разберу.

Василий молчал.

— Они говорят, что в тот вечер у Корзинкиных света не было: они на другом конце села гостили. Так что и не слышал ты ничего и видеть не мог, верно, Вася?

Василий молчал, выдавливал каблуком ямку в земле.

— Так кому ты продал кабанчика?

Василий вздохнул.

— Степке Моховых, из Оглядкина. Он сына на неделе женит. Кланьке только не говори. Больно мне мотоциклу хотелось. Посадишь?

— Обязательно, — усмехнулся Андрей.

— Так за что? Свое ведь продал.

— За введение органов милиции в заблуждение. За дачу ложных показаний...

— Ого!

— «Ого» тебе Клавдия еще устроит. Деньги у тебя где?

Василий хлопнул по сапогу.

— Здесь. Надежно упрятал.

Андрей сошел с крыльца, отпустил дружинников и завел мотоцикл.

— Садись, Вася, поедem кабанчика твоего выручать. Может, успеем еще.

Василий снова вздохнул и залез в коляску.

— Ну, ладно, хоть на твоём мотоцикле покатаюсь...

Здесь можно было бы закончить этот немного грустный, немного смешной рассказ о непутевом Ваське-Паровозе. Но он имел неожиданное продолжение. Встала перед участковым трудная задача: как дальше быть, каким путем Василия наказывать? Кража ведь была, преступление совершено... Но кража-то у самого себя! Подумал Ратников — и решил передать дело товарищескому суду, чтобы прочесали Ваську как следует.

Но в суде обернулось все иной стороной. Поначалу, однако, все шло как надо: осуждали и стыдили Василия за нерадивость и лень, за пьянство, но когда вышла на сцену Клавдия и стала честить при народе своего мужика, настроение в зале изменилось.

Клавдия, ради такого события, где она главной была, принарядилась — покрылась алым платком, надела желтую кофту и зеленую юбку — издалека, из зала, была она похожа на испорченный светофор, у которого все огни горят разом. А Васька пришел с работы в затрапезе, сидел, неловко повернувшись боком, чтобы односельчане не видели под глазом синяка, наведенного Василию запальчивой женой.

Общее мнение выразил бригадир полеводов по фамилии Кружок, испортив всю назидательность важного мероприятия:

— Это же надо, граждане, довести собственного мужика, опору и надежу семьи, до такой позорной крайности. Васька тоже хорош, не спорю. Гордости в нем мужской ни на чих не осталось. Обидно для всей нашей половины человечества, что он такую мужскую несостоятельность проявляет...

В зале засмеялись.

— ...Я не об этом говорю, этого я не касаюсь. Я говорю об том, что на месте Василия за такое повседневное издевательство не только кабанчика — всю скотину со двора бы свел и пропил. Не Ваську надо судить, а главного в этом деле подстрекателя. Ты, Клавдия, самый близкий ему человек после отца и матери. Что же ты мужика родного понять не можешь? Ведь живете вы на одну твою зарплату, а Васькину ты на книжку ложишь, и он даже не знает, где ты ее держишь и сколько на ей денег. Унижаешь мужика. Ты сколько ему на обед даешь? То-то. А ведь он курить бросил через то, что ему стыдно стрелять папироски у товарищей.

Вот что, Васька, у меня в сарае старая «Ява» есть, испорченная, но хорошая еще, если руки приложить. Забирай ее себе, ремонтирувай и уезжай на ней от своей змеи Клавдии на край света!

В зале опять засмеялись и захолопали, Клавдия заголосила, Васька встал и выпрямился, развернув плечи и задрал голову.

Суд с улыбками и шутками вынес частное определение в Клавдин адрес и кассиру Ваське порицание и, в

общем, сработал, как надо. Разобрался в причинах, постарался их устранить, выразил общее мнение коллектива.

Андрей видел, что Клавдия и Василий вышли из суда вместе. Клавдия цепко держала мужа под руку, семенила рядом, даже немного опережала его и заглядывала ему в лицо. Василий шагал торжественно и величаво, на жену поглядывал снисходительно.

Улыбнулся участковый и пошел по другим своим нужным и трудным делам.

КРАСНАЯ ПАПКА

Бухгалтер Коровушкин был человек злой, въедливый, недоверчивый и совсем непьющий. Больше всего в жизни он любил критику. Не в свой адрес, конечно. Критиковал везде, по всякому поводу: с трибуны, на заседании правления колхоза, в конторе, на лавочке в своем палисаднике, даже в гостях, если его приглашали, что, понятно, случалось крайне редко.

Суть его критических выступлений была однообразна и сводилась к тому, что человек не имеет права на ошибку, и во всем, что с ним случается, виноват только сам. «Нечего жаловаться на судьбу и стихийные бедствия, — повторял Коровушкин. — На себя жалуйся».

Это была очень удобная позиция, годами выработанная на редкость черствым характером (мне вашей помощи не надо, но и от меня ее не ждите). Она надежно ограждала сухую душу бухгалтера от тревог и забот ближних, не позволяла нарушать ее покой чужой бедой, которую Коровушкин упрямо и привычно, в глаза и за глаза не бедой считал, а виной.

Все просто у него выходило: споткнулся человек — плохо под ноги смотрел, заболел — сам опять же виноват, лучше здоровье береги, если у кого-то что-то крали — не хвались недостатком, не искушай нечистого на руку соседа, если ветер разбивал окно не закрытым вовремя ставнем — нерадивый хозяин, худо за домом смотрит и так далее.

Лишне говорить, что Коровушкина, кроме его верной Жучки, никто не любил, хотя специалист в своем деле он был редкого класса, в высшей степени аккуратен и точен равно с цифрами и живыми деньгами. Правда, жену Коровушкина, когда скончалась, хоронили всем селом, с большим сочувствием его горю. По-

нимали, что с таким характером ему трудно будет одному, трудно идти дальше своей одинокой дорогой. Коровушкин, надо сказать, воспринял это как должное, а своей позиции не изменил. К беде соседа по-прежнему оставался на грани равнодушия и злорадства.

День начался для участкового, можно сказать, как обычно: разбудил его неистовый стук в окно и хриплый от волнения голос: «Андрюша, отвори!»

Ратников распахнул окно и отшатнулся. Под окном стоял Коровушкин. Всегда опрятный в одежде, собранный, он сейчас такой был непохожий на себя, что Андрей ощутил в животе холодок недоброго предчувствия: либо у него баланс на три копейки не сошелся, либо колхозную кассу ограбили, не иначе.

Коровушкин был небрит, взлохмачен, в грязной белой рубашке, из кармана пиджака висел мятый галстук — веревка веревкой, брюки держались на одной пуговице. И разило от него так, что у Андрея закружилась голова.

— Спасай, Андрей Сергеевич! Погибаю!

— Погоди погибать, — сказал Андрей. — Дай одеться.

Андрей оделся, поставил на плитку чайник — он понимал: человеку надо успокоиться, чтобы все толком рассказать, — и сел напротив Коровушкина.

— Ну, рассказывай теперь, Тихон Ильич. Что натворил?

Коровушкин вздохнул тяжело, со стоном, обхватил седую голову руками.

— Ох, и натворил, Андрюша, на старости лет. Всю жизнь при деньгах, при важных документах — и никогда ни пятнышка на моей биографии не было. Нынешний год на пенсию собрался, и вот тебе — опозорил свое честное имя навсегда. Папку я вчера потерял в районе.

— Так, — Андрей привстал. — А что в ней? Деньги?

— И деньги кое-какие были, по доверенности получил: девятьсот сорок два рубля тридцать шесть копеек — и прописью, как говорится, и цифрой. И документы, оформленные на премию колхозникам за посевную, и почетные грамоты победителям соревнования... Два письма гарантийных... Деньги — ладно. У меня по-

чти тысяча на книжке есть — покрою; на премню ко-
шые бумаги сделать тоже можно, задержим маленько,
конечно, но поймут люди, а вот что жалко — грамоты.
Весну ведь как хорошо поработали, разве можно это
не отметить, не порадовать людей!

— Ладно, давай-ка Расскажи все по порядку. И без
утайки, погулял ты, по всему видно, здорово. Не из лю-
бопытства спрашиваю: чтобы искать успешно, весь твой
вчерашний путь, как ни горько и стыдно, заново надо
пройти.

Вот что рассказал бухгалтер.

...Отправился он в райцентр человек человеком —
черный костюм, белая рубашка с галстуком, шляпу
положил на голову как подобает и платочек в карма-
шек; под мышкой — красная папочка с тесемками.

Уехал на машине, а вернулся нехорошо: поздно но-
чью, никто не видал как (и хорошо, что не видал), а
сам он не помнил. Собственную калитку нашел с тру-
дом и открыл ее не в ту сторону куда положено — так
и повисла она на оставшейся петле. Верная Жучка,
радостно бросившаяся было ему на грудь, вдруг смор-
щила морду, чихнула, заскулила и, отбежав к сараю,
долго испуганно лаяла на хозяина, который упорно и
шумно карабкался на крыльцо.

Уснул он прямо в сенях, до горницы не добравшись,
положив голову на старые валенки, круглый год ва-
лявшиеся под лавкой, и проснулся с чувством, что ни-
чего более ужасного в его жизни еще не случалось.

Да, так оно, собственно, и было. Жизнь свою он
провел правильно, прямым курсом, а вот тут такой
вдруг сбой допустил.

И ведь все шло хорошо: показал отчет, первым по-
лучил в банке деньги, потом — грамоты, в общем, все
сделал в полдня — быстро и аккуратно, и собрался до-
мой: одну ногу уже в машину занес, а тут кто-то ему
руку на плечо положил.

Оглянулся Коровушкин — стоит пожилой и полный
человек с портфелем, на руке дорогой плащ — и улы-
бается, ждет, когда бухгалтер в ответ рассмеется и на
шею ему бросится. Коровушкин так и поступил — но-
гу обратно выдернул и повис на толстяке:

— Ванюшка, родной! Откуда ты здесь!

Словом, встретились старые друзья, у которых бы-

ло общее детство и боевая юность, и годы разлук, у которых есть что вспомнить, у которых жизнь уже позади, и потому они особо друг в друге нуждались и рады были нечаянной встрече.

Коровушкин шофера с машиной отпустил — не любил он зазря государственное время мотать (сам-то с делами управлялся и с чистой совестью мог несколько часов другу посвятить).

Ну, куда деваться? Сели тут же в скверике на лавочку, да прохожие стали оглядываться: сидят трезвые старые мужики и то друг друга по плечам хлопают, то хохочут враз, не поймешь над чем, то вдруг замолкнут и слезу пустят, рукавом по щекам заскребут...

Короче, оказались они на вокзале, в ресторане. Справедливости ради надо заметить, что от первой Коровушкин пытался отказаться, но Ванюшка, друг его, с таким изумлением, даже обидой посмотрел на него, что бухгалтер махнул рукой и хлопнул стопку, а за ней и другую, хотя к вину был вовсе непривычен. За разговорами, ахами да охами, время пролетело быстро. Тут вспомнил Иван, что нынче видел в гостинице Настю Копейкину, старую любовь Коровушкина, с которой пути его еще в молодости почему-то разошлись и более не пересекались. Как было не навестить?

В гостинице Коровушкин, глядя на свою первую любовь, сразу засмущался, потерялся и, чтобы взбодриться и развязать язык, снова хлопнул — уже коньячку. Ему и без того было довольно, да Настя всполошилась, что во втором этаже Кузьма с Никитой живут (все они на одно совещание прибыли). Поднялись на второй этаж. А уж как спускались и вплоть до сего утра Коровушкин уже ничего не помнил. И где красную папку оставил или потерял — тем более...

— Ну, поехали, — сказал участковый.

Заскочили они к председателю и рванули в райцентр. По всем точкам прошли, по всем пунктам проверку сделали, всех старых друзей Коровушкина навестили, но без результата. Про красную папку так никто и не вспомнил. Андрей справился на всякий случай в райотделе и сказал Коровушкину:

— Поехали домой. Не здесь мы ищем.

Коровушкин, уменьшаясь на глазах по мере того, как таяли его надежды, удивленно посмотрел на ми-

лиционера и решил, что тот его просто утешает. А участковый так рассуждал: бухгалтер — человек крайне добросовестный и строгий, и в каком бы виде он ни оказался, папку с колхозными деньгами и документами из рук не выпустил бы, да и не вспомнил ее никто — ни Иван, ни Настасья, ни Кузьма с Никитой. И официант, который их обслуживал, тоже про папку ничего не сказал. Хотя, конечно, причина тут и другая могла быть. Но вряд ли — парень был хороший, молодой, не испорченный.

Соображений своих Андрей высказывать не стал, чтобы человека зря не обнадеживать. Пусть уж на всякий случай свыкнется со своей бедой. А уж если найдет он папку — что ж, от радости хуже не станет.

Подъехали прямо к правлению и — благо председателя машина, на которой вчера бухгалтер в район ездил, на месте была и из-под нее Пашкины ноги торчали — Андрей прямо к ней подошел, заднюю дверцу открыл, осмотрел и о чем-то Пашку, голову высунувшего, тихо спросил. Потом они снова на мотоцикл сели.

— Куда теперь? — тихо и безразлично поинтересовался Коровушкин. — За вещичками?

— Домой. Папку возьмешь — и в правление, к председателю. Он, хоть и моложе тебя вдвое, а я думаю, не постесняется ногами потопать и кулаком по столу постучать для профилактики.

— Калитку поправь, — сказал Андрей, проходя во двор.

Коровушкин махнул рукой, какая уж тут калитка... и остолбенел: Андрей подошел к окну и взял с подоконника красную папку.

— Посмотри для порядка, Тихон Ильич, все ли у тебя тут на месте?

Бухгалтер взял папку, прижал ее к груди и сел прямо в куст крыжовника.

— Ты ее в машине оставил, — пояснил Андрей. — Зря мы только в район гоняли.

— Боже мой, — заплакал Коровушкин. — Как же ты догадался!

— Сообразил, — улыбнулся Андрей. — Я, правда, еще здесь хотел в машине посмотреть — не верил, что такой человек, как ты, может потерять казенные деньги. Думаю, небось когда сажился в машину, положил ее на сиденье, а тут — Ванечка... Верно? У Павла спро-

сил, а он говорит: я ее утречком на окошко ему положил, будить не захотел. Вот так, гуляка.

— Андрюша! — торжественно сказал Коровушкин. — Спасибо тебе, низкий поклон за все. А особо — за науку. А за какую — сам знаешь. Душу ты мне повернул. Что тебе сделать? Как тебя отблагодарить?

ХУЛИГАН

Иванцов, прежний участковый, вышедший на пенсию раньше срока по болезни сердца и сильному ранению, своим вниманием Андрея Ратникова не обделял, большим своим опытом щедро делился, помогал ему на первых порах и словом, и делом. Особенно советовал налегать на профилактику правонарушений.

— А для этого, — говорил он, осторожно поглаживая ладонью грудь, — тебе нужно научиться, в привычку взять каждому такому факту давать свою оценку, анализ, словом, делать. Разберись, пойми и вывод найди: почему вдруг такое произошло с человеком; что его на кривую дорожку вывело; кто еще, кроме него самого, в том виноватый? Конечно, поумнее нас с тобой люди этим занимаются, но и ты свой вклад сюда внести должен. Тем более что порой снизу-то многое виднее бывает, конкретность выявляется в каждом отдельном случае. А уж из частности можно общее явление выявить, тенденцию заметить. Вот возьми хулиганство. Простая на первый взгляд квалификация преступления — грубое либо злостное нарушение общественного порядка. Но ведь ни один хулиган на другого не походит. Иной «разовый» бывает, а иной всю жизнь дурит. И каждый по своей причине. Ты не улыбайся, ты думай: почему оно так выходит? Один, к примеру, со зла хулиганит, от неуважения к людям, другой — по пьянке, когда его нелюдская суть наружу выхода ищет, третий — внимания к себе больше ничем привлечь не может, а очень ему того хочется, а который — и от возмущения или от сильной обиды неизвестно на что. Вот тут ты времени не жалея, внимательно разбирайся.

Когда закончились приемные часы населения и последний посетитель вышел, Андрей окошко широко растворил (он его почти всегда в это время закрытым дер-

жал — мало ли о чем ему люди жалуются, не всем же знать) и дал волю хорошему вечернему ветерку, который чем только не пах по весне. И ветерок, словно понимая, что все ему — такому — дозволено, вздул занавески, качнул абажур над столом и сбросил на пол листки бумаги.

И тут слышался издалека характерный, всей округе известный скрип ни разу не мазанного почтальоншина велосипеда, дребезг незакрепленного, болтающегося на руле звонка.

Почтальонша Люба вскоре проехала мимо окошка, сильно крелясь на сторону от большой своей сумки и напряженно глядя на дорогу. Сколько лет уж ездила, а велосипеда боялась, все время ждала от него подвоха или неожиданной хитрости, без посторонней помощи в седло садиться не могла. Да и слезала с трудом. Однажды упала в поле на скользкой после дождя тропке, в семи верстах от села, и так и шла пешком. Тянула велосипед, как упрямую козу, до бригады, где опять ее посадили и подтолкнули.

— Андрей Сергееч, — крикнула она куда-то вперед, не поворачивая головы, не моргая глазом. — Хулиган Петрович опять к соседям мириться пошел! Торопись!

Ох, этот Петрович! Инвалид, седой и старый, — буян и дебошир. Давно еще ему в драке оторвали и поломали хороший заводской протез, и он, вырезав липовую деревяшку, частенько с той поры использовал ее в своих боях. Теперь, когда уж немоготу терпеть его стало, им детей пугать начали: «Придет курлы — липовая нога, я тебя ему отдам!» Было у Петровича и еще одно прозвище, но об этом потом, в своем месте.

Петрович, как правило, начинал буяннить дома. Разогнав домашних, побив посуду и выкинув в окно цветы с подоконников, обыкновенно продолжал бой на соседской территории. С соседями они занимали пополам один дом, и участки у них были смежные, так что свеженький повод для войны всегда находился.

Сосед — тоже старик, но покрепче Петровича телом, ехидно используя его неустойчивость, спихивал того с терраски и, волоком оттащив его к крыльцу, бросал в сени и подпирал дверь слегой. Петрович стучал деревяшкой, орал, ругался, потом мирно засыпал, а проснувшись, брал бутылку и шел к соседям мириться.

Перемирие кончалось быстро, тут же — за столом. Сначала звенела домовито посуда, слышался умиротво-

ренный говорок противников, охотно идущих на взаимные уступки, совершались договоры по спорным вопросам. Потом голоса становились крепче, взвивался над селом «Хаз-Булат удалой...», а чуть позже — уже трещали рубахи, опрокидывался стол и... опять сосед волючил Петровича домой «на отсидку».

В этот раз Андрей решил припугнуть Петровича построже. Он — хотя рядом было — не пошел пешком, а перебросил через плечо ремешок планшетки, сел на мотоцикл.

У соседей петь уже кончили, наступило краткое затишье перед встречным боем. Андрей, нарочито стуча сапогами, строго поднялся в избу, вошел, осмотрел поле битвы, вынул из планшетки лист бумаги, черкнул что-то на нем, строго произнес: «Понятно».

Петрович, оставив для устойчивости липовую ногу, примерял в руке чужой, непривычный ему сковородник. Сосед прижимал к груди подушку с дивана.

— Так, — официально сказал Андрей. — Собирайся, Петрович, поедем.

— А, — обрадовался неостывший от азарта предстоящей схватки Петрович. — Вовремя ты, Андрюха. Иначе в этот раз уж точно пришиб эту чудовищу.

Андрей взял его под руку, вывел и усадил в коляску, нахлобучил на голову шлем.

— Куда едем? — наконец опомнился Петрович.

— В милицию, — спокойно, как-то даже равнодушно ответил участковый. — Хватит тебе безобразить. Пора ответ держать.

Петрович нерешительно засмеялся:

— Инвалида не посодют.

— Посодют, — уверил Андрей, выезжая на шоссе. — Еще как посодют. Работать, конечно, не заставят, а позору тебе до смерти будет. Сиди, сиди! А то вывалишься еще, опять ногу ломаешь.

Петрович выбросил на дорогу сковородник, насутился, думал.

— По всей форме, что ли, тюрьма будет?

— По всей. Я на тебя уже три рапорта написал. Начальство говорит — воспитывай. А у меня терпение лопнуло.

Петрович подскочил как ужаленный:

— Больно быстро! Худо ты свою службу справляешь. И начальство тебе правильно толкует. Ты форма-

лизму не допускай, с людьми работаешь... — и покоился: не обиделся ли участковый?

Андрей промолчал, про себя посмеиваясь, а на лицо хмурясь.

— Простил бы ты меня, а? Я больше не буду, — помолчав, по-детски попросил Петрович.

Андрей притормозил, остановился, сдвинул фуражку, будто раздумывая. Хотя только этого и ждал.

— Я ведь не со зла. Характер у меня такой боевитый. Дух у меня горячий, все в бой рвусь.

— Чего ж ты со старухой-то воюешь, да с внуками? Сколько от тебя терпят!

— А с кем же еще мне воевать, увечному? Меня боле никто и не боится.

— А зачем тебе, чтобы боялись?

— Авторитету хочу. Чтоб слушались и уважали старого дурака.

— Уважения хулиганством не заслужишь. Его надо добром и пользой брать. Ты всю свою пенсию в магазин носишь, а внучатам хоть раз конфетку подарил? Сказку им рассказал? На гармошке играть поучил? Других дедушками зовут, а тобой детей пугают. Дожил!

— Распустился, — покорно признал Петрович. — Боле не повторю безобразия. Слово даю!

— Ну, смотри, — как бы нехотя согласился Андрей и похлопал по планшетке. — У меня тут на тебя материала много, чуть что — сразу в ход пушу! Запомни!

— Не сомневайся, Сергеич! Не допущу.

Вернулись в село, подъехали к дому.

— Что скоро-то? — поинтересовался сосед. — Отсидел уже? А сковородник где дел?

Петрович подошел к нему, протянул руку:

— Прощай, сосед. Боле тебя видеть не хочу, не желаю. Рожа твоя в грех тянет — так и хочется тебя костылем огреть. Отворачивайся от греха при встрече, прошу тебя как человека, хоть ты и чудовища. Но верно люди говорят: с кем поведешься, от того и наберешься. А сковородник твой в поле ночевать остался. — Пошел к себе, обернулся: — Сергеич, а песни играть можно? Душу отвести.

— Можно, — усмехнулся Андрей. — Хоть весь день ори, но в двадцать три часа — отбой.

По правде сказать, не очень Андрей тем разговором успокоился. Вроде по обязанности он вышел, не по сердцу. Не было в нем нужного стержня. Что-то неясное осталось. Так, договор какой-то неустойчивый получился. Но все-таки поверил Петровичу. Не думал, что тот снова в бой ринется. Да ошибся — ненадолго Петровича хватило...

Как-то вечером Андрей в клуб собирался зайти, за порядком присмотреть, а уже из клуба за ним бежали. И впереди всех бедовый Вовка, Марусин сын, — руками махал, смеялся и что-то вовсе несурзное кричал. Вроде того, что Петрович в клубе телевизор бьет.

Так оно и было. Когда участковый вбежал в бильярдную, Петрович, изготавившись для дальнейших боевых действий, держал на отлете обломок костыля, а сосед-чудовище одну руку с кием как со шпагой вперед выставил, а другую на загривок положил (видно, досталось уже). Телевизор, разбитый вдребезги, лежал на полу. А вокруг стояли мужики и мальчишки, с интересом ждали продолжения, хрустели, переминаясь в нетерпении, битыми стекляшками.

Петрович, увидав Андрея, с горечью отбросил костыль и закрыл лицо руками. Андрей составил протокол, и они поехали на мотоцикле в милицию.

Добирались к шоссе проселком. Тут не до разговоров было. А как до перекрестка доехали, Андрей на обочину свернул, остановился. Что-то покоя ему не давало. Занозой сидело внутри чувство своей вины, непонятной еще, но колючей, досадной.

— Покури, Петрович, далеко еще.

Петрович вздохнул, свернул махорочную сигарку — с войны так и не отвык от нее, — приладил поудобнее протез.

— Не стыдно тебе? — вдруг спросил Андрей. — Ты у нас на всю округу один живой фронтовик остался. Примером для молодежи должен быть, а что творишь? Дожил старый солдат — и боятся тебя, и смеются над тобой.

— Примером... — буркнул Петрович. — Для пионеров, что ли? Да я этих пионеров и комсомольцев раз в год вижу, на Девятое мая, когда они меня в школу зовут... в президиуме посидеть. Первый раз пришел — таких слов наслушался об заботе, об светлой памяти,

что слеза пробилась, на другой раз — те же слова, но уж не плакал, а после, кроме обиды, вовсе ничего не тронуло. Музей в школе сделали, гимнастерку мою пробитую повесили, а чтоб просто так навестить либо в хозяйстве помочь — где они?

Андрей насторожился:

— А телевизор-то при чем? И сосед твой?

— Да, это все одной грустной песни слова. Задразнил меня сосед. Не говорил я никому об этом. Тебе первому. Все донимает: что ж, ты, мол, Петрович, воевать-воевал, а ничего не навоевал? Какая тебе благодарность вышла? Одни ордена да медали? Пенсия маленькая, с усадьбы крайние сотки отрезали. Тимуровцы и следопыты к тебе не ходят. Премии редко дают. Не очень глупый вроде мужик, а как ему объяснить, что не за эти сотки я воевал, а за всю Россию. Поневоле, если слов не хватает, за костыль возьмешься. Ведь это он меня «кастелянтом» прозвал. Загадочное слово, а обиды в нем много: как услышу, она вот так — прямо за горло берет.

Петрович закашлялся, бросил в кювет окурок, обхватил ладонью шею.

По-вечернему засвежело. Ветерок тихий пробежал, пошевелил листья на деревьях. На лужке, что прямо от дороги к лесу лежал, забелело чуть заметно — туман поднимался. Небо еще все светлое было, а на краю его одна звездочка зажглась, поторопилась.

Шоссе в оба конца пустое было, тишина кругом стояла.

Ратников эту историю с «кастелянтом» плохо знал. Началась она, когда Андрей в школе милиции учился, с год примерно назад.

Приехала тогда в село съемочная группа, чтобы «на натуре» сделать кино о войне. С ними прибыла и небольшая воинская часть, танки привезли, под немецкие переделанные, настроили рубежи да укрепления, колючую проволоку растянули, воронок и окопов нарыли как раз на этом самом лужке — они и по сей день остались, только сейчас не видны в тумане.

Солдатики, которых для съемок отобрали, тут же в палатках жили, а артистов во главе с режиссером в бороде и кепке устроили в селе — хорошо устроили, с уважением, с удобствами.

Ну, понятно, съемки эти вся округа смотрела. Добрался как-то раз и Петрович, интересно ему очень

было. И вот не удержался да замечание сделал — не понравилось что-то, неправильно было. Режиссер в бороде и кепке обрадовался, еще что-то спросил и заставил Петровича зачислиться консультантом, как он говорил, по вопросам деталей фронтового быта. Петрович поломался от неловкости и стеснения, но согласился быстро и взялся за дело всерьез.

— Всю фронтовую науку им преподавал, веришь, не забывается она. Показал, как шинельку подстилать и ею же укрываться, как наладить костерок недымный в окопе, где в нем нишу для гранат сделать и приступочку, чтобы ловко было выскочить, если команда выйдет в атаку бежать, ну все, как говорится, путем наладил. Слушались меня хорошо, уважительно. Даже машину за мной присылали попервости. И очень мне поначалу они понравились — старательно работу свою делали и переделывали, с умом и с душой трудились.

А потом у Петровича разлад с артистами вышел, да такой, что не обошлось без последствий.

— Вот, пойми, какой-то сначала у меня холодокк ним стал появляться. Вроде без ничего, без причин. Ну сядут они в кружок отдохнуть, понятное дело — люди ведь, и сразу разговоры про другое: кто про гараж свой — протекать стал, кто жалуется, что сапоги дочери какие-то особые все не достанет, кто про долги свои... Понимаешь, Сергеич, только что они плакали для кино, когда товарищей боевых хоронили, а тут же и жалуются на зарплату. Ну не сразу ведь, правда? Ну подожди маленько, потерпи ради тех, про кого кино снимаешь, и ради тех, для кого это делаешь...

Дальше — больше. Заметил Петрович, как одна артистка (она сандружинницу играла) после каждого взрыва, когда на нее землю сыпали, стала уж больно сердито отряхиваться, а потом и вовсе за воротник гимнастерки начала платочек закладывать.

— Не могу, говорит, земля за шиворот сыплется. Ну и другие за ней следом жаловаться пошли, трудно, мол, устали. Тут случись у них междусобойчик маленький — день рождения у кого-то совпал. Коньячку понемножку под кустиком хлопнули. Меня, конечно, тоже пригласили, поднесли с хорошим словом. Ну и разговор пошел обратно об усталости, об трудностях быта. И нет-нет, а кто-нибудь и вставит: видишь, отец (они меня кто отцом, кто дедом звали), тут у нас совсем как на фронте, верно?

Не стерпел я. Земля, говорю, вам за шиворот сыпается. А как же, говорю, по правде было, когда девушки наши месяцами не мыслишь, да все время под огнем, когда не знаешь, где тебя косяя ждет и сколько еще у нее терпения. А ты, говорю, вечером отряхнулась да в панике горячей повалилась. Трудно им! А мы за четыре года из окопов только в госпиталя вылазили. На голой земле спали, и платочков у нас вовсе не было. Я на войне ногу свою оставил и сердце. А они равняют... Словом, обложил их в четыре наката, плюнул и ушел.

Не простили. Бумагу на меня написали. Всю-то я не знаю, а про какое-то нетактичное поведение, про грубость и еще чего-то, забыл уже, мне в военкомате читали. Из-за этой бумаги меня с юбилейной медалью обошли. Сами в каждый срок проверяют на комиссии — не отросла ли нога, а медаль пожалели. Камень холодный на сердце лег. Не из-за медали, конечно. Я их с войны достаточно принес. На иных четверых хватит.

Андрей слушал и молчал. А что тут скажешь?

Петрович снова закурил, спустился в коляску мотоцикла поглубже и фартук набросил — озноб его брал.

— Вот с той поры, с того случая и задразнил меня сосед. Говорит, не получился из Петровича артист, один «кастелянт» вышел.

Наконец-то понял Андрей, из чего эта кличка вышла — из консультанта и костыля. Трудно с такой обидой жить, особенно когда о ней каждый день напоминают.

— Ну ладно, с соседом я разберусь, — пообещал участковый. — За дело ему от тебя доставалось. Да телевизор-то зачем ты разбил? Тоже виноват?

— Телевизор не виноват. Просто в тот момент режиссера с бородой и в кепке под рукой не оказалось — он аккуратно по телевизору и выступал, рассказывал, как этот самый фильм они снимали... И обратно про трудности — и в дождь, и в грязь, и в холод... А потом при всех своих артистах и при всех мужиках наших начал он обо мне рассказывать. Все хвалил, а я жду, когда же критика пойдет за нетактичное это мое поведение. И дождался. Знаешь, Сергеич, чего он сказал? Тут не то что телевизор, собственную голову расшибить будешь рад.

Петрович перевел дух — собирался с силами, снова все переживал.

— И вот, говорит, этот бывалый ветеран, инвалид войны, прошедший сквозь... это... горло, что ли?..

— Горнило, — подсказал Андрей.

— Во-во, через это горнило огня и смерти, посмотрел, как мы работаем, прослезился и сказал: «Да, ребята, у вас тут как на фронте. Тяжелый ваш хлеб, боевой!»... И это, понимаешь, при всем народе. При соседе моем, который сразу заржал и опять «кастелянта» выкинул. Я сначала его по шее, а потом за телевизор взялся...

— Ладно, Петрович, поехали домой, — сказал Андрей решительно и включил мотор. Мотоцикл ровно этого и ждал — взревел с удовольствием в тихом и холодном воздухе, ярко бросил на дорогу белый луч света.

— А ...это от начальства тебе будет теперь, а? — спросил Петрович. — Накажут.

— Моя печаль, — отрезал Ратников. — Поехали.

Андрей вел мотоцикл и думал вовсе не о том, как примут его решение односельчане, и не о том, что скажет начальство, и как он станет говорить об этом телевизоре с бухгалтером и с председателем колхоза...

Он думал о том, как навсегда убрать из сердца старого солдата боль этой долгой обиды. О том, что это его, Андрея, долг. И вовсе не милицейский, а человеческий.

НЕПОНЯТНАЯ ИСТОРИЯ

С утра Андрей на всякий случай к магазину пошел. Вообще-то, он доверял Евдокии, знал ее как женщину правильную и твердую, но ведь и мужик в Синеречье выработался упорный, настойчивый, изобретательный. Так что поддержать продавщицу в трудную минуту хотя бы своим присутствием было нелишне.

У магазина уже собрались страдальцы, из самых заядлых. Но вели себя смирно. Кто на корточках сидел, прислонясь к нагретой солнцем стене, сдвинув на глаза кепочку, кто прямо на зеленой травке вольготно расположился, покуривая, беседы вел.

Ратников внутрь зашел. При его появлении несколько мужиков озабоченно вышли из очереди и, будто вспомнив неотложные дела, гуськом, послушно, по-дет-

ски подталкивая друг друга в спину, выбрались на улицу. Один только Генка-Шпингалет не оторвался от прилавка, яро уговаривая продавщицу, назойливо со-мал ей смятые рублевки, демонстративно, нахально не обращая внимания на участкового.

Кличку свою дурацкую Генка с собой привез. Видно, как прозвали его там, в колонии, так она и здесь каким-то чудом проявилась. Был он собой мелкий, но жилистый, и на вид — шпана шпаной: липкая челочка до глаз, сапоги гармошкой и зуб золотой. Сидел Генка за злостное хулиганство. Андрей — он только что из армии пришел — его тогда задержал и доставил, Андрей же и в суде свидетелем выступил. Освободили Генку совсем недавно, но ясно было, что отбытое наказание ничуть ему ума не прибавило, и хоть натворить еще ничего не успел, но все ходил по краешку. Участковый его поэтому сразу и крепко прижал, не спускал с него глаз, да и знал — злопамятный, истеричный Генка не простит ему, если удобный случай выпадет — жестоко счеты сведет...

Андрей взял его за локоть и кивнул в сторону двери. Шпингалет вырвал руку и пошел, бегая глазами и шипя чуть слышно:

— Не цепляйся, зараза, не хватай — руки оборву!

— Иди, иди, — Андрей довел его до дверей и вышел следом.

Старая Евменовна, дотошно изучавшая у прилавка поблекшие ценники на конфеты, — решала, какие послать внукам в армию, — одобрительно закивала головой, хотя ничего не поняла. Потом быстренько выбрала те, что «рупь ровно», и, прижимая кулек к груди, засемила за участковым.

Андрей, выйдя из магазина, присел на скамейку и, сняв фуражку, положил ее рядом. Мужики, умело скрывая разочарование, разошлись по делам.

В селе было тихо. Изредка гремело ведро, падая в колодец, слышался где-то на дальнем конце глухой стук топора, противно, с явной неохотой, задребезжала коза у Пантюхиных. И только во всю мочь горланил запоздалый петух председателя.

Трудно Андрею было работать. Правда, признали его сразу — сумел себя поставить. Но ведь чуть не все сельчане — родня, друзья, все знают его с дет-

ства. И уже многие держат обиду на него — не узнают при встрече, отворачиваются, особенно после того, как повел непримиримую борьбу с пьянством, потому что большого греха в буйном застолье синереченцы пока не видели. Прежний участковый был не из местных, для всех чужой, для каждого — понятная, законная власть. Андрей же вроде свой, должен же иногда и поблажку сделать, в положение войти. Не входит. Правда на селе заметно спокойнее стало, порядку прибавилось. И помощники настоящие появились, и дружина стала работать как надо, со строгостью. Но многие еще косятся на него, никак не поймут, что не для себя, не для авторитета своего старается. А с другой стороны, что случится — все-таки к нему бегут, у него ищут и помощи, и защиты, и совета. Непонятная история...

Евменовна осторожно, как на гвоздики, присела рядом, пристроила кулечек на худых коленках, завздыхала, косясь на Андрея, ждала, не спросит ли сам, что ей надо.

Смолоду она была красавица редкая. И если случается, что и на склоне лет остается что-то в человеке от бывшей красоты — стать ли, упругая ли поступь, а то — и свежий голос и ясная мудрость во взгляде, то Евменовна к старости все потеряла, живая Баба Яга стала: нос крючком, подбородок тянется к нему волосатой бородавкой, щеки ввалились, да и голос обрела новый — как у пантюхинской козы. Даже в характере черты преобразились, будто и душа старела вместе с телом: была бойкая на язык — стала сварливая, легкую живость поменяла на суетливую пронырливость, вместо общительности приобрела надоедливость. Никто и не заметил, как веселая фантазерка и безобидная болтушка превратилась в ярую сплетницу и выдумщицу, сменила природный ум на упорную хитрость. И это бы еще ничего, но, смолоду привыкнув быть на виду, до сей поры любила Евменовна, чтобы о ней поговорили, вечно изобретала себе приключения, лишь бы внимание привлечь. Андрею доставало с ней хлопот.

Бабка покончила со вздохами, перебрала, уложила складочки юбки, перевязала платочек. Андрей тоскливо ждал.

— Андрей Сергеевич, а ведь я заявление тебе несу.

Для принятия мер. К Лешему — охотничьему егерю — ходила: не берет, ругается, ногами топает. Ты б, говори, не шлялась по лесам, а на печке б сидела. А если у меня характер беспокойный, если...

— Я твой характер знаю, — улыбнулся, перебивая, Андрей. — Говори, пожалуйста, о деле.

— Помнишь, Андрюша, как ты мне быстро корову разыскал, — польстила бабка, — теперь снова выручай, опять беда пришла: от мишки избавь — чуть в лес не утащил.

— Какой Мишка? — не сразу понял Андрей. — Курьянов, что ли? Нужна ты ему, как же!

Евменовна законфузилась кокетливой улыбочкой, игриво отмахнулась конопатой рукой, собрала сухие губы в ладонь:

— Андрюша, не смейся над старой — грех ведь. Какой Курьянов? Он уж до завалинки доползти не сумеет. Медведь за мной ходит. Вчера всю дорогу из Оглядкина следом перся, паразит, и мычал, как корова недоеная, — зашептала, приблизившись. — Знаешь, в народе говорят, если медведь вдовый, так он еще с лета бабенку себе присматривает, чтобы в берлоге теплее зиму коротать. А как бабенки нынче все крашенные, в пудре-помаде да духами обрызганные, так он ими брезгает, а я, видать, ему в аккурат пришлась. Да и немолодой уже, верно, в годах — морда и загривок седые, по себе, значит, подбирает, охальник.

«Совсем спятила», — сердито подумал Андрей, отодвигаясь.

— А чего тебя в Оглядкино занесло?

— Ну а как же? Бабы говорят, туристы там остановились, в Хмуром бору, — так поговорить с ними хотела, пообщаться, новости узнать, рассказать чего.

— Правильно Леший тебе посоветовал — на печке сиди, а по лесам не шляйся!

— Помоги, Андрюша, не дай бог, припрется ночью, утащит в лес — совсем ведь пропаду.

Еще до армии — Андрей помнил — побрызгали Силереченские леса с самолета, чтобы извести какого-то вредного жучка, да так крепко побрызгали — не то что ежика, комара в лесу не осталось. В последние годы ожил старый лес, помолодел, зазвенел птицами, боровая дичь откуда-то взялась, лоси осмелели, волк за ними с севера потянулся. Вот и медведь объявился. Ес-

ли, конечно, не врет Евменовна, гораздая придумывать что-то уж вовсе несуразное.

— Сходи, Андрей Сергеич, — ныла бабка, — и туристов погляди — вроде уважительные ребята, чайком с конфеткой меня напоили, да уж больно костры шибкие жгут и водки в кустах цельный мешок прячут. Вот пойдешь поглядеть — и медведя застрели, ладно?

— Нельзя его стрелять, — теряя терпение, отрезал Андрей и встал. — Он на весь край небось один. На развод оставим. А ты не бегай от него, не бойся — не польстится он на такое сокровище.

— Смейся, смейся, внучок, — со злостью зашамкала ему вслед Баба Яга, — кабы не заплакать тебе, злорадному!

Андрей забежал на минутку к себе, снял с вешалки планшетку, проверил, есть ли в ней на всякий случай бумага и бланки. Открыл сейф, достал пистолет — подумал, подумал — и положил обратно...

В Оглядкино он оставил мотоцикл и пошел искать туристов. Нашел их легко, поздоровался, осмотрелся. Ни «шибкого» костра, ни водочных бутылок не обнаружил. Ребята оказались аккуратные. Стоянку держали в порядке: палатки туго натянуты, костерок обложен камнями — не поленились с речки натаскать, топоры торчали в старом пеньке, а не в живом дереве, как иногда бывает, даже ямка для мусора отрыта и прикрыта лапником от мух.

Медведя они, оказывается, тоже видели — приходил под утро, чисто вылизал немытую с вечера посуду, погромел пустыми банками в помойке и ушел, «ничего не сказав».

Ребята предложили Андрею дожидаться ухи — вот-вот должны были вернуться рыболовы, но он отказался — некогда...

Хмурый бор только зимой был хмурым, а вообще-то в Синеречье не сыскать места приветливее и солнечнее. Андрей давно уже не бывал здесь, и радостно ему дышалось, весело было хрустеть валежником, поддавать носком сапога крепкие шишки, снимать ладонью с влажного лица невесомую, упрямую паутину. Он, не удержавшись, срезал два крепких ранних грибочка и зачем-то положил их в планшетку, высыпал в рот горсть горячей земляники, и у большой, туго натяну-

той между землей и небом сосны остановился, прислонился к звенящему стволу, чувствуя, как он дрожит, шевелится, толкает в плечо, запрокинул голову. Над ним, высоко-высоко, размашисто качались далекие кроны, гнали по синему небу белые, пронизанные солнцем, облака; толстым сердитым шмелем гудел в ветвях упругий ветер.

И вдруг в этом прекрасном разумном мире раздался два резких, слившихся выстрела. «Дуплет. Пулями. Кто?» — мелькнуло в голове Андрея, уже быстро шагнувшего на еще разбегающийся, мечущийся по лесу грохот. Он шел бесшумно, не раздвигая ветки, а скользи между ними так, чтобы не шуршала листва по одежде, ставил ноги легко, чтобы не трещали под сапогами сухие сучки.

На краю небольшой, зарастающей молодняком вырубki Андрей остановился, осмотрелся — увидел недалеке задержанное густой листвой жиденькое, прозрачное облачко дыма, и ему показалось, что в воздухе еще стоит нерастаявший, тревожный запах пороха. Какой-то человек, стоя на коленях, возился с чем-то большим, темным, что-то быстро делал с ним.

Андрей терпеливо дождался порыва ветра, тихо подошел сзади, сжал зубы, непроизвольно закачал головой. Медведь лежал на спине, раскинув лапы, как убитый человек, запрокинув большую голову, с открытыми, будто еще видящими глазами. Земля вокруг него была изрыта когтями, забросана клочьями выдранной травы.

Леший, мотая головой, сдувая с лица комаров, сновисто, воровато свеживал тушу.

— Здравствуй, Федор Лукьяныч, — негромко сказал Андрей.

Егерь вздрогнул, выронил нож, рука метнулась было к ружью.

— Тыфу, черт! Напугал ты меня, Андрейка. Ловко подкрался.

— Участковый инспектор Ратников, — спокойно, официально представился Андрей, поднося руку к козырьку фуражки. — Прошу предъявить документы на предмет составления протокола о злостном нарушении правил и сроков охоты.

Леший хмыкнул, давая понять, что оценил шутку.

Имя синереченского егеря редко кто помнил, а уж

фамилии вовсе никто не знал. По облику своему (борода, седые обильные брови, чуть не до плеч волосы, скрипучий «от редкого употребления» голос, хромота) и повадкам (из леса не вылезал, частенько и ночевал у костра, людей сторонился) он справедливо звался Лешим.

Андрей никак не ожидал застать за таким подлым делом этого истинного лесовика, всегда упрямо честного, не по должности — по совести честного егеря. Как-то они вместе задержали браконьера, и Леший, отщелкивая цевье от дорогого новенького ружья, в ответ на угрозы сказал твердо, со спокойной уверенностью в своей правоте и силе: «Это мой лес. Мне доверено соблюдать в нем все живое. И здесь, пока я сам жив, будет порядок. Никому — ни свату, ни брату — не позволю его нарушить». Лешего боялись и свои, законные охотники и браконьеры; самые отпетые и отчаянные бегали от него, как мальчишки из чужого сада. Но зла на него не держал никто — видно, хорошо понимали, в чем корень его беспощадности.

«Не слышать бы мне этих выстрелов, — растерянно думал Андрей, стоя перед спокойным, уверенным, ничуть не смущенным егерем, — пройти бы мимо. Мало ли палят в лесу — за всеми не побегаешь. А теперь как быть?» Может и не совсем так он думал, но похоже на это.

— Андрейка, возьми там папироску, сунь мне ее в пасть, будь другом — руки-то, сам видишь...

Андрей достал ему папиросу, зажег спичку и внимательно, будто хотел понять, что же такое случилось и что ему теперь делать, смотрел, как Леший жадно курил, густо выпуская дым на потное, искусанное комарами лицо, жевал и мочалил мундштук, гоняя его из угла в угол волосатого рта. Он щурил глаза от папиросного дыма, и все еще удивленно и весело улыбался, когда Андрей сел на пенек и щелкнул кнопками планшетки, доставая бланки протоколов.

— Погоди, Сергеич, ну что ты? Дай слово-то молвить, — Леший выплюнул окурок, потоптал его тяжелой ногой, сердито ухмыльнулся. — Я думал, поможешь мне, а ты дурака валять пришел.

— Обижайся — не обижайся, Федор Лукьяныч, а протокол я обязан составить. И составлю. Хотя, по правде, очень тяжело мне это делать и обидно. Кого хочешь мог здесь ждать, но только не тебя. Такое до-

верие тебе от людей, а ты, прости, воруюешь то, что охранять тебе поручено.

— Ты что, с печки упал, такие слова мне говорить? Сопляк в фуражке! Медведь-то полудохлый, больной, что я, не знаю! Ты ему зубы посмотри — одни пеньки торчат. Он и потомства не даст и беды наделает, потому что в берлогу не заляжет.

Андрей оторвался от бланка, поднял голову:

— Ты еще скажи, что он сам на тебя напал, а в твоём ружье случайно «жаканы» оказались, и Евменову в свидетели притяни. Больно хорошо все сходится для того, кто на днях дочку замуж выдает.

— Все знаешь, участковый, — топнул ногой Леший. — Верно — выдаю Женьку. Гулять-то все село будет, а я не завмаг и на базаре цветочками тоже не торгую. Где ж мне мяса и водки столько взять? Или на свадьбе родной дочери квас пить да макаронами закусывать?

— А если б не медведь? Где взял бы, украл?

— Сроду не крал, даже для голодных детей. Тебе ли не знать...

— До сегодня не крал, — жестко отрезал Андрей. — А сегодня ты — вор...

Он едва успел увернуться от быстрого, наотмашь удара — так молниеносно бьет рысь когтистой лапой, — вскочил, перехватил на перелом тяжелую, немолимую в своей силе руку, успел завернуть ее за спину и почувствовать, что все равно не удержит ее, даже если повиснет на ней всем телом. Но рука егеря вдруг ослабла, обмякла, плечи его вздрогнули, он какими-то нутряными рывками захрипел и рухнул лицом в разодранную медведем землю. Андрей испугался, упал на колени, повернул его голову и замер — Леший плакал...

Андрей растерянно оглянулся, встал, отошел в сторону. Издалека проговорил:

— Федор Лукьяныч, ты что? Больно тебе сделал?

Леший замычал, справляясь, простонал от стыда, сунул лицо в ладони, крепко потер его, будто затирает слезы внутрь, вдавливал обратно.

— Ничего, Андрей, это так — старый стал. Давай-ка, костерок наладим, успокоимся. Только слова свои обратно возьми. Всю жизнь таких не слышал, не заслужил.

Андрей поспешно закивал (беру, мол, беру), стал

суетливо ломать сушняк, чиркать спички, стараясь не видеть жалкого лица егеря.

Леший тяжело поднялся:

— Пойду умоюсь.

Пока его не было, Андрей сидел неподвижно, бездумно смотрел в огонь — гнал от себя мысли, оттягивал трудное решение.

Леший подошел к костру, вытираясь выпущенным подолом рубахи, сбросил телогрейку и сел на нее.

— Давай-ка, Андрей, спокойно поговорим, разберемся.

— Да не о чем...

— Есть, участковый, есть. Я, по правде, этого случая давно жду. Человек ты хороший, но еще молодой, поэтому часто несправедливость делаешь, а при твоей работе та несправедливость неисправимой может стать. Я почему так огорчился? Первое, конечно, что ты меня вором назвал. Какой же я вор, Андрюша? Медведь этот проклятый отстрелу подлежит, сам понимать должен. Моя вина — не поспел заявку на него дать, лицензию не поспел выправить. Но ведь я всю жизнь в этом лесу, я шишки гнилой для себя не вынес и другим не позволял. А вот твой районный начальник который год лося без лицензии бьет, это как? погоди, слушай. Завмагу председатель разрешение дал на строевую сосну. Значит, кому — можно, а кому — осторожно?..

— Я не знал об этом! — перебил Андрей.

— Не знал! Ты все обязан знать. Сеньку, дружка своего, засадил (за дело — не спорю), Плетнева-старика вытрезвиловкой опозорил на весь колхоз, теперь меня вот выследил, а про начальника — не знал! Правильно, такие всегда из мутной воды сухие выходят. Я за себя стерплю, а за других мне обидно. погоди, дай сказать. Тебе бы вот о чем подумать: когда ты по селу мальцом бегал, все тебя любили, а как участковым стал, так еще и уважать начали, но что я заметил, — он для убедительности поднял палец, посмотрел на него, будто проверял — правильно ли говорит и нужно ли это сказать, — заметил, что любят-то тебя уже не все. Ты многих непримиримостью своей отталкиваешь. Сколько хороших мужиков на срамную доску повесил, опозорил. Может, оно и хорошо придумали эту доску для пьяниц, но и здесь мера должна быть. Не каждый пьяница — горький, а ошибиться

может каждый, срыв у любого случается. И уж если решили кого пристыдить, с умом это делайте, не рвите человека с корнем. Карточку на вашу доску можно и с паспорта взять — чтоб в пиджаке и при галстукe, а не выставлять человека в пьяном безобразии, в скотском обличье, когда он в канаве валяется, чтоб за ним потом сопливые пацаны бегали и дразнились. Это жестокость к нему проявляется, а от нее лучше никто еще не стал.

Леший говорил медленно, подолгу замолкал в тяжелом раздумье, перекладывал в догорающем костре головешки, подгребая в кучку красные живые угли. Андрей слушал, не возражая, не перебивая его, чувствуя — хоть и прав в чем-то егерь, — но чем больше он говорит, тем сильнее в нем, Андрее, нарастает сопротивление, поднимается какая-то упрямая строптивость. В этих вроде верных и человеческих словах было что-то очень неправильное, такое, на что сразу не найдешь возражения, что ответными словами не опровергнешь.

Леший встал, выдернул из пенька нож и вновь взялся за прерванное дело. Андрей не шевельнулся, только переложил на колено планшет.

— Или вот Ванюшку Кочкина взять — вот за кого душа болит. Помнишь, как его ребята, когда он загулял, по твоему совету на кино засняли и в клубе то кино показывали, помнишь такой факт? С того дня — как потерял себя Ванюшка. А какой парень был — и на работу и погулять молодец. А теперь? Ты его хоть раз после этого веселым видел?

— А пьяным его кто-нибудь с того дня видел? — с вызовом спросил Андрей. — Он себя раньше потерял, когда напивался, когда на родную мать руку поднял.

— Чудной ты парень стал, не в свое лезешь. И я твой протокол гадский не подпишу. Правда на моей стороне, и я за нее отвечу.

— Ну, давай, Лукьяныч, вали, круши все, что на пути попадет. Подавай, егерь, пример. Стреляй так, чтоб детям и внукам ни перышка, ни шерстинки не оставить!

Леший, не выпрямляясь, резко обернулся, будто Андрей неожиданно ударил по больному. В его позе, в лице и даже в голосе появилось что-то непреклонное, сильное и злое. Видно, решил для себя главное — теперь не отступится.

— Чьим таким детям-внукам? Моим? Или начальника твоего пузатого? Кому, значит, запрет, а кому — добывать дичину? Отчего же такая разница, участковый? Открывай тогда ворота — сами все возьмем, доберем остаточки! Ты только не мешайся!

— Не допущу, — твердо сказал Андрей, — не будет так.

Леший выпрямился, заслонил, казалось, собой весь лес, протянул к Андрею руку с ножом.

— Тихо, — привстал Андрей, прислушиваясь к близкому уже, хорошо различимому среди шума листвы, стуку телеги. — К тебе едет? Кто?

И увидел егерь, что не смутил он молодого милиционера своими словами, что тот, хотя и слушал его внимательно, но не поколебался, выходит, в своей правоте, да и слушал-то, значит, не потому, что сомневался. Понял егерь — окончен разговор, и каждый приступает к своему делу, к своим обязанностям, каждому теперь — своя доля, свой ответ. Набывшись, отвернувшись, Леший хмуро бросил:

— Генка это, Шпингалет.

— Нашел себе дружка, Федор Лукьяныч? Что же не по себе-то выбирал? — Андрей встал, сложив за спиной руки, прислонился к дереву. — Ну, встречай подельщика.

— Не тебя же было просить, честного...

Шум становился громче — видно, Генка дороги не выбирал и о конспирации не заботился. Он пел во все горло, гнал лошадь и наконец появился на краю вырубki. Стоя в телеге, Генка размахивал над головой своей кепочкой — заметно был хмельной. Вид участкового его не смутил, похоже, что Шпингалет даже обрадовался.

Андрей удивленно, со спокойным презрением смотрел на него, еще не понимая Генкиной веселости, не понимая, что ситуация для Генки долгожданная, неужели ж упускать такой удобный случай — участковый один, безоружен, а их двое и глухой лес кругом. И Андрей все так же стоял, прислонившись к дереву, и так же держал руки за спиной: он никак не ожидал нападения.

Шпингалет подбежал, перехватил лопату и со словами: «Не правда ли, чудесный день?» — ударил Андрея ногой в живот. Андрей всхлипнул, согнулся и почувствовал, как что-то тяжелое обрушилось на него...

Очнулся Андрей от того, что будто кто-то мягко, но настойчиво поталкивает его в плечо и от этого очень больно голове. Он открыл глаза — перед ним медленно двигалась полоска кустов, мелькали желтые головки цветов, качалась трава — и понял, что он лежит в телеге, под головой — свернутая телогрейка Лешего. Сам егерь сидит впереди, покачивается его широкая спина, ветерок шевелит длинные седые волосы.

Андрей попытался подняться на руках.

— Ну, как ты, Андрюша? Темень шибко болит? Вот ведь какая служба у тебя нерадостная. Хорошо еще — черенком попало, а не железкой.

Андрей старался держать голову неподвижно, чтобы не было так больно, говорил одними губами.

— А Шпингалет где?

— Там же и валяется небось. Не убежит. Тебя доставлю и за ним дружину твою пришлю. Так я и позволил, чтоб всякий кусок дерьма наших бил...

Андрей постарался понять что-то очень важное, что должен сделать сейчас же, пока не уснул, — в сон клоуно неумолимо, жестоко. Вспомнил.

— Лукьяныч, сумка моя там осталась? Не видал?

Егерь пошевелился, запустил руку под зад.

— Держи. Ты когда падал, так у ней ремешок лопнул.

Андрей, морщась, противно слабыми руками раскрыл планшетку, вытряхнул раскрошившиеся грибы, достал протокол...

— Погоди, погоди рвать, — опередил его Леший. — Ты почитай сперва.

— Я помню — что там читать...

Но уже бросилась в глаза косая, неровная строчка внизу листа: «В чем собственноручно и подписуюсь. Федор Лукьяныч Бугров (Леший)».

Андрей уронил руку с листком на грудь, помолчал.

— Мотоцикл мой надо из Оглядкина забрать.

— Ключи где у тебя? В сумке? Не беспокойся, жёниха пошлю — он сумеет.

— Непонятная история, — чуть слышно пробормотал Андрей непослушными губами, повернул голову набок, облегченно прикрыл глаза и тотчас глубоко и спокойно заснул.

НЕОЖИДАННАЯ ВЕРСИЯ

ПОВЕСТЬ

1

Петельников смотрел на быстро пишущего следователя; на эксперта-криминалиста, ползающего на четвереньках; на Леденцова, зыркающего по квартире наметанным взглядом; на безмолвных понятых... Смотрел на сотни раз виденное, перебирал в памяти прошлые кражи, думал выискать в этой что-то новое, необычное, но она была абсолютно безликой, похожей на многие-многие другие...

— Замок открыли путем подбора ключей, — тускло сообщил эксперт.

Впрочем, у этой квартирной кражи была своя «изюминка»: шкафы, столы, тумбы, коробки — все было раскрыто, распахнуто. Даже кастрюли на кухне стояли без крышек. Что-то искали.

— Трудились в перчатках, — буркнул эксперт.

Петельников покосился на его ученую голову, припавшую к лакированному подлокотнику кресла, — уж хоть бы тоном сдобривал свою унылую информацию.

— Следов обуви нет, — оповестил эксперт, принимаясь еще раз фотографировать комнату.

Отпечатков пальцев нет, следов обуви нет, следов орудия взлома нет... Вся надежда на случайного очевидца да на украденные вещи, могущие где-нибудь всплыть. И Петельников подошел к хозяйке, уже проверявшей с разрешения эксперта свои шкафы.

— Анна Васильевна, что пропало?

— Триста рублей, — сказала она, как-то вдруг обидевшись.

— Где лежали?

— В баночке, а баночка вон там...

Перегнув короткое полное тело, она ткнула банкой из-под кофе в нижнее отделение шкафа.

Петельников знал эту незатейливую привычку из премен бабушек, из времен комодов таить деньги в чистом белье, где-нибудь меж синеватых простыней. Но эту привычку знали и домушники.

— Какими купюрами?

— Десятками.

— А вещи?

— Пока вроде все цело...

— Если обнаружите пропажу, сразу же нас известите.

Вещи целы. Тогда понятны эти раскрытые дверцы, выдвинутые ящики и сброшенные крышки — искали деньги. Есть домушники, не желающие обременять себя шубейками, хрусталем и ценной радиоаппаратурой. Чтобы не сбывать, чтобы не следить. То ли дело готовые деньги. И это лишало уголовный розыск надежды на, может быть, единственный след.

— Вы когда вернулись домой?

— В пять часов, после работы.

— А муж? — Петельников кивнул ему, подзывая для общего разговора.

— Час назад, еще не обедал... — ответил супруг, сурово хмурясь.

Значит, в квартиру проникли утром, а скорее всего в первой, тихой, половине дня, когда все на работе.

— Кого-нибудь подозреваете?

— Соседи смирные, родственников и детей не имеем. — Анна Васильевна так и не выпустила из рук банку, изредка заглядывая в нее с безрассудной надеждой.

— А с худыми приятелями не водимся, — добавил муж.

Петельников унюхал легкий запах спиртного и неприязненно оглядел супруга — худой, остролицый мужчина с редкими серыми волосами, сквозь которые виднелась розовато-белая кожа. Пообедать не смог, а пивка влить успел. Петельников улыбнулся насильственной улыбкой, чтобы подавить раздражение, вызванное глухой, бесследной кражей.

— Товарищ капитан, мы прошлись по соседям.

Это подошел Леденцов.

Эксперт укладывал сумки, следовательно закончил строчить бесконечный протокол, понятые расписались... Работа на месте происшествия подошла к концу.

Петельников захлопнул блокнот и вновь оказался возле потерпевших.

— Товарищи Смагины, еще вопросик... У вас не хранилось чего-нибудь ценного или необыкновенного?

— Что? — удивился муж, отчего его худое лицо стало еще острее.

— Ну, скажем, картины, иконы, драгоценности?..

— С какой стати? — теперь удивилась Анна Васильевна.

— Мы не торгоши, — супруг игриво взбил свои волосы, и стало ясно, что пива он выпил не одну кружку.

Петельников еще раз прошелся по квартире — просто так, рассеянно, в надежде высмотреть какую-нибудь странную деталь. На кухне штабелем лежали голубые пачки стирального порошка «Лоск».

— Отпечатков пальцев на них нет, — усмехнулся криминалист.

— Хороший порошок? — спросил Петельников у хозяйки.

— Отличный.

— А я купил «Лотос».

— Что вы, «Лоск» лучше. Только редко бывает в магазинах.

Пришла самая неприятная минута: оперативная группа покидала место преступления. Потерпевшие останутся в квартире, на затоптанном полу, среди развороченного белья и одежды, у опыленного порошком эксперта мебели — одни, после кражи, с испорченным настроением. Что им сказать на прощанье? Заверить, что краденое отыщут? Что преступников поймут? Или пожелать спокойной ночи?

И когда все — следователь, Леденцов, эксперт, участковый инспектор и понятые — вышли, Петельников бросил Смагиным неопределенное, обещающее и поэтому чуть успокаивающее:

— Мы еще встретимся...

Октябрьский холодный воздух, городской шумок и свет в окнах квартир отодвинули заботы, вернули нарушенное равновесие. Леденцов распахнул дверцу машины.

— Товарищ капитан, вы утверждали, что на каждом месте преступления есть минимум одна загадка.

— Утверждал.

— Только не на этом. Ханыга шустрил деньги, чтобы скорее пропить.

- Тут не одна загадка...
- Какие, товарищ капитан? — не спросил, а распевно удивился Леденцов.
- Зачем он открывал шкафы и ящики?
- Искал купюры.
- А зачем открыл крупяные банки на кухне?
- Женщины и там прячут деньги.
- А зачем открыл кастрюли с супом? И что он искал в чайнике с водой?

2

Человек в великоватом плаще с широким поднятым воротником и спортивной, натянутой почти на глаза шапочке стоял на последней лестничной площадке и слушал звуки уходящего утра. Их почти не было. В квартирах уже отшумела вода, отстучали поспешные шаги и отхлопали двери. Лишь где-то внизу, на первом этаже, бессмысленно тьякала собачка.

Видимо, не услышав ничего подозрительного, человек вытащил из кармана плаща медицинские перчатки и натянул их на руки. Оглядев три двери, выходявшие на площадку, он выбрал среднюю.

Человек позвонил и ждал так долго, что и спящий успел бы подняться. Позвонил второй раз, но ответа ждал меньше. Третий звонок вышел небрежным, на всякий случай. И тогда в руках у человека, словно выпав из рукава, оказалась грузная связка ключей. Он еще раз глянул вниз и подступил к замку...

Пошло другое время — долгое, тревожное. Ключи не подходили. Прошло минут двадцать, прежде чем ключ в замке наконец повернулся. Человек вздохнул и опустил теперь уже ненужную связку металла в карман, отчего плащ заметно скособочился. Осталось войти в квартиру. Но человек не вошел, а прикрыл дверь осторожненько и легко побежал вниз, на улицу.

К дому подступал низкий прозрачный скверик во дворе — цветы, скамейки и кусты. Человек в плаще и спортивной шапочке выбрал отдаленное место за кустом, который, заслоняя, не мешал редкими листьями видеть парадное. И все-таки человек еще прикрылся газетой, сделав вид, будто читает.

Через некоторое время, убедившись, что никакой опасности для него нет, человек в сером безразмерном

плаще встал, намереваясь идти в парадное, но оттуда выкатилась крохотная белая собачка, походившая на стриженного кота. Хозяйка-старушка едва поспевала сзади. Он переждал эту чуть было не происшедшую нежелательную встречу. Переждал и затем пошел...

Крепко прижатая, уже незапертая дверь распахнулась легко, как от сквозняка. Переступив порог, он закрыл ее и нащупал выключатель; при матовом свете бра деловито вытащил газету, бросил на пол и тщательно вытер ноги, чтобы не наследить. Спрятав грязную бумагу в карман, не оглядываясь, прошел на кухню. Белая плита без единой кастрюли, вытяжка, пластмассовые шкафы и шкафчики, крупный холодильник, какая-то трехступенчатая люстра... Он принялся за дело.

Плоский ящичек, поделенный на десяток отделов. Ложки-вилки, мельхиор и серебро. Какие-то лопаточки, какие-то совочки... Однозубая вилка, горбатый ножик, дырявая ложка... Для чего они?

Шкаф-угол с посудой. Сервизы, расписанные золотом и разрисованные картинками. Тарелки, блюда, супница... Чашечки, чайники, сахарницы, вазочки...

Небольшой шкафчик — сверху пластик, внутри дерево, заставлен пачками чая. Грузинский всех номеров, индийский, цейлонский... В коробках, полиэтиленовых мешочках, железных и стеклянных банках...

Второй шкафчик-двойник, из которого пахло уходящим летом. Сплошные стеклянные банки с притертыми пробками. А в банках сушеные листья, цветы, стебли... Травы, травы...

Холодильник высветился ярко, с радостью, будто ждал хозяина. В морозилке желтая курица и бруски мяса. Консервы, банок десять, разные. Бутылки с соками и какими-то соусами. Тюбик с горчицей, баночки с приправами... Коробка креветок...

Человек в плаще захлопнул холодильник и прошел в большую комнату.

Стенка, походившая на фасад старинного дворца. Диван, диванчик, кресла и два пуфика, обтянутые зеленой ворсистой тканью и красиво прошитые латунными фигурными кнопками. Ковер, сбегаящий со стены на пол. Люстра в семицветных висюльках...

Он начал распахивать дверцы стенки и выдвигать ящики. Чистое белье, книги, бар, хрустальные вазы... Его внимание надолго задержало отделение с телевизором, проигрывателем, приемником и магнитофоном —

заграничными, непонятными, управляемыми дистанционно...

Он перешел во вторую комнату. И встал у порога, озадаченный...

Вытянутое помещение кончалось широченным окном, к которому привалился просторный стол, казавшийся лохматым из-за книг и бумаг, а двух длинных стен не было — вместо них до самого потолка лежали на полках камни. Их блеск, тусклый из-за осеннего неба, притягивал взгляд. Вблизи камни расцвели: черные, вроде окаменевшего вара; зеленые, зеленее листвы; синие, синее неба; красные, краснее огня... Кристаллы водяной прозрачности и всех оттенков; кристаллы длинные, как иглы, тупые, как снаряды и плоские, как таблетки. Глыбы и камешки с наперсток, шарообразные и грибовидные, металлические и вроде бы мягкие — камень, походивший на спрессованную лапшу. Один камешек величиной с куриное яйцо человек снял с полки и разглядывал долго. Зеленовато-матовый, однородный, теплый — будто тек зеленый янтарь да и застыл.

Он положил камень обратно и подошел к столу. Бумаги. «Отчет Тюхменевской экспедиции». «К вопросу о подвижности плит». «Зона разломов...» Книги. «Петрохимия кимберлитов...» «Записки Всесоюзного минералогического общества». В ящиках стола тоже лежали книги с бумагами; только в правом нижнем оказался приземистый пузырек, в котором плавал корень, похожий на заскорузлого старичка.

Человек в плаще уже было пошел, но вернулся к полке, взял молочно-зеленый камень и опустил его в карман, под испачканную подошвами газету.

В передней он огляделся — не оставил ли чего. Его взгляд задержался на вешалке, на кожаном пальто, на теплой куртке, на какой-то импортной дубленке... И ему подумалось, что стало прохладно ходить в плаще.

Он подошел к двери и стал слушать, есть ли кто-нибудь на лестнице...

3

Хозяина квартиры привезли к Петельникову. Седовласый, загорелый и поджарый геолог сидел через стол и, видимо, из-за кражи не переживал. Петельников злился на себя, что прилип к нему с неделовыми вопросами.

— Аркадий Петрович, неужели объездили все Приморье?

— За тридцать лет работы я объездил всю страну. А в Приморье знаю каждую сопку. Мой регион.

Его регион. Человек знал геологию Приморья, как свою квартиру. Ежегодно туда ездил, ходил, изучал. А потом писал отчеты, статьи, монографии... Специалист. А в какой области специалист он, Петельников? В криминалистике? Он может определить, чем открыли замок, как выдавили стекло, откуда прилетела пуля; он знает в лицо с полсотни судимых и на все способных вору; и еще он владеет всеми приемами борьбы и стреляет из любого положения... Он, Петельников, тоже специалист. Оба они специалисты. Только приморские пласты, породы и массивы имеют на редкость спокойный характер — лежат себе миллионы лет и ждут, когда их расковыряют или опишут в диссертациях. Полсотни же петельниковских бесшабашных подопечных могли взорваться вроде мин замедленного действия и требовали постоянного присмотра. Да вот и эта начавшаяся серия странных краж могла быть делом рук одного из них.

— Вы когда вернулись из экспедиции?

— Неделю назад.

— И что будете делать в городе?

— Обрабатывать материалы. Писать отчет, статьи, рекомендации...

— Вы кандидат наук?

— Да, уже и докторскую написал.

В прошлом году они с Леденцовым смоделировали острейшую ситуацию, вычислив, кем, как и когда замышляется магазинная кража. И предотвратили ее. Трое ошарашенных и пристыженных ребят остались на свободе. А ведь началось все с одного оброненного слова, которое потянуло за собой лексикон, привычки, образ жизни, характер... Так почему бы ему и Леденцову не присудить степень кандидата психологических наук?

— Как сейчас там, в Приморье?

— Чудесно! Красные листья дикого винограда, снежные горы Сихотэ-Алиня, рокот океана...

— Никогда не был, — шумно вздохнул Петельников.

— Вы, наверно, турист? — по-своему истолковал геолог его посторонние вопросы.

— Я каратист, — усмехнулся оперативник.

И представил, унесясь воображением в далекое Приморье: идет он с рюкзаком по синим горам, жует дикий

виноград и слушает океан, а спокойные породы лежат под ногами, никуда не торопясь и ничего не требуя.

— Итак, замок вы нашли неисправным, — вернулся Петельников в свой кабинет.

— Но я подумал, что просто заело...

— Так, дальше.

— Разделся, пошел на кухню. А там... Все, что открывается, было открыто. Кроме холодильника. Я решил, что приходила моя рассеянная дочь. Захлопнул все дверцы и переместился в гостиную. И опешил — та же картина. Знаете, в свой кабинет я уже припустил бегом... Письменный стол будто языки мне показывал — все ящики выдвинуты...

— Аркадий Петрович, а в шкафах, в ящиках рылись?

— Я бы не употребил этого слова. Трогали — да. Обыска не было, нет.

— Как вы это узнали?

— Скажем, пачки с грузинским чаем стояли отдельно от индийского, а оказались переставленными. Баночка с заспиртованным женьшенем передвинута. Некоторые камни повернуты...

Применительно к краже у Смагиных слово «обыск» тоже не подходило. Непонятный, но один и тот же почерк.

— Что-нибудь пропало?

— Женская дубленка, новенькая.

— Где хранилась?

— Висела в передней, на виду.

— Цена?

— Восемьсот семьдесят рублей.

Петельников задумчиво смотрел на геолога... Нет, идентичности не было; тот же почерк, но здесь вор взял вещь. Хорошо: дубленка — не деньги, ее надо сбывать. Но почему же он ничего не взял у Смагиных? Мало ли почему: тары не нашел, испугался случайного стука, времени не хватило, скупщика не нашел, в конце концов, после кражи надумал сходить в кино и не захотел обременять себя...

— Что еще пропало?

— Камень с полки.

— Что за камень?

— Кусок хризопраза. Светло-зеленый, весьма оригинален.

— Драгоценный?

— Полудрагоценный.

— Во сколько оцениваете?

— Право, ни во сколько.

— Аркадий Петрович, вы же сказали, что камень полудрагоценный...

— Ну, этот кусок я отыскал самолично, и он мне ничего не стоил. Кроме того, в нем есть тончайшие кварцевые прожилки, и вряд ли ювелиры признали бы его годным для поделки.

— А были камни более ценные?

— Сколько хотите. Хризолиты, рубин, гранаты, малахит... Даже изумрудик есть.

— Почему же он не взял?

— Они, видите ли, в кусках материнской породы и не имеют товарного, что ли, вида.

— А золото есть? — спросил Петельников про металл, который, по его представлению, всегда имел товарный вид.

— Есть. Но прожилками в пегматитовой жиле.

Петельников любил четких людей, научные книги, вразумительные речи, ясные мотивировки. И подсознательно того же требовал от преступника — уж коли решился на такое дело, то действуй разумно. Иногда Петельников задавал себе укоризненный вопрос: чего ты хочешь от преступника — квалификации? Может быть. Потому что опытные преступники имели свой почерк, логику действий, по которой, как ни странно, обнаруживались скорее, чем новички.

— Аркадий Петрович, а деньги?

— Целы. Полторы тысячи лежали в ящичке стола.

— Вор их не нашел?

Геолог вдруг задумался. Петельников не понял этой заминки, в ожидании ответа разглядывая сухие загорелые щеки с проступившими на скулах сургучными прожилками. Видимо, не от возраста, а от ветров-дождей. Как у придорожного валуна.

— Нашел.

— Почему так думаете?

— На них стояла баночка с женьшенем.

— Нашел и не взял?

Аркадий Петрович молчал, потому что затруднялся с ответом, да и спросили вроде бы не у него.

— Денег не взял, многих дорогих вещей не взял... Аркадий Петрович, как это понимать?

— Да, странно.

- Что же это, по-вашему, за личность?
- Мне свое мнение излагать не совсем удобно...
- А оно у вас есть?
- Разумеется, — подтвердил геолог просто.
- Выслушаю с удовольствием...

Петельников приготовился терпеливо внимать чему-нибудь, почерпнутому из кинофильмов, детективов, услышанному от соседей; например, про Жору Дипломата, заставлявшего женщин одним взглядом отдавать ему серьги и любовь, про шайку бездетных женщин, разворовавших всех ребятишек из одного детского садика...

— Этот злоумышленник легко возбудим, неуравновешен, комплексует...

— Да-да, — согласился Петельников, перебивая, потому что большинство преступников были возбудимы, неуравновешенны и закомплексованны.

— Но я могу поделиться и главным, — не обиделся геолог.

— Главным?

— Это влюбленный.

— То есть как влюбленный? — оторопел Петельников, чуть было не спросив, в кого влюбленный.

— Он взял женскую дубленку и красивый камень. Для подарка даме. Не так ли?

Петельников смотрел на человека, тридцать лет ходившего по стране. Спавшего в палатках, бродившего в лесах, ползавшего в горах... Украсившего комнату образцами пород, писавшего монографии... Перед ним сидел один из романтиков, которых убывало на планете, хоть заноси их в Красную книгу, — только неземной романтик мог в домушнике увидеть влюбленного...

Что же теперь известно о преступнике?

Во-первых, он мужчина — женщине с набором ключей не совладать. Во-вторых, ходит по квартирам один — последовательность, единство и однообразие действий подтверждают. В-третьих, влюблен — камень и дубленка для дамы. В-четвертых, коли влюблен, он молод.

Итак, молодой и влюбленный мужчина. Сколько их в городе — миллион?

4

Утром Леденцов увидел Петельникова, стоявшего у подъезда райотдела неподвижно, как на посту. И Леденцов подумал, что тот ждет его, заприметив издали.

— Здравия желаю, товарищ капитан!

— Жду машину, — хмуро отозвался Петельников.

Леденцов пытливо взгляделся: видеть недовольное лицо капитана доводилось не чаще, чем солнечное затмение. Веселое, предупредительно-галантное, серьезное, наконец, злое. Но недовольное...

— Куда едете? — решил Леденцов на вопрос.

— Станный звонок из квартиры. Знаешь, что я заметил... Стоит мне затеять генеральную стирку, как случается ЧП.

— Тогда лучше никогда не стирать, товарищ капитан.

— Уже замочил.

— Мне ехать с вами?

— Занимайся первой версией.

Они помолчали, заслоняясь воротниками плащей от октябрьского ветра. И каждый гнал от себя подсознательную уверенность, что это опять она, квартирная кража. Уж коли серия началась... Да и время ее, утреннее.

— У меня еще одна версия, товарищ капитан.

— Давай, — вяло согласился Петельников.

— Псих.

— А вот геолог считает, что влюбленный.

— Влюбленный... в хозяек?

— Нет, вообще, в женщину.

Круглые глаза в белесых ресницах не понимали. Петельников усмехнулся — он тоже Аркадия Петровича не сразу понял.

— Что бы ты взял в квартире геолога?

— Не признаю чужого, товарищ капитан.

— Допустим, геолог разрешил выбрать...

— Комбайн с теле-радио-магнитофоном.

— Сразу видно, что не влюблен. А то бы взял дубленку и красивый камень для дамы.

Подскочившая машина увезла капитана. Леденцов, так и не успев ответить, пошел к себе, раздумывая, как любовь могла подвинуть человека на кражи.

Перегнувшись, Леденцов мог в своем маленьком кабинете достать почти любую точку. Когда он постреливал пишущей машинкой, оборачивался к сейфу, выдвигал ящики стола и протягивал руку за телефонной трубкой, то походил на гибкий манипулятор, установленный посредине квадратной комнатухи.

Первая версия была связана с судимыми. Расстояние меж обеими кражами в один квартал наводило на мысль, что вор скорее всего здешний. Поэтому сначала решили заняться судимыми микрорайона. И Леденцов навяз в пласте бумаг — справках, карточках, статотчетах, перфокартах...

Но он проделывал еще одну, более важную просеивающую работу — выделял среди судимых лиц, predisположенных к кражам или, как говорил капитан, криминально обеспокоенных. Не забывал он и своей версии о преступнике-психе, вникая в аномальные кражи, зигзаги поведения, медицинские справки... Расплывчатость критериев заставляла полагаться главным образом на здравый смысл да интуицию.

После колонии человек отработал три года, женился, ни в чем плохом не замечен — отпадает. У этого двое детей, вступил в жилищный кооператив... Этот учится заочно, передовик... Этот зарабатывает по четыреста рублей в месяц... А этого он помнит, этому одного урока хватит на всю жизнь...

Не оборачиваясь, Леденцов протянул руку к сейфу, в нижнем отделе нащупал бутылку минеральной воды и допил ее из горлышка. И поморщился — за что капитан любит такую водичку?

...Этот после колонии переменял четыре места работы — нужно его проверить. Этот выпивает, дважды «отдохнул» в вытрезвителе... Этот чуть ли не год катался по стране и только вот приехал. А этого он тоже знал, этот на все способен...

Дверь открылась, почти коснувшись стола. Вошедшая женщина хотела повернуться, но размеры кабинета не позволили. Леденцов вскочил, наученный проявлять к потерпевшим особую предупредительность. Смагина села на подставленный стул, единственный в этой комнате, не считая леденцовского.

— Я пришла к товарищу Петельникову, но его нет.

— Да, он уехал.

— Тогда, может быть, к вам...

— Мы с ним одно и то же, Анна Васильевна, — заверил Леденцов, полагавший своей обязанностью знать имена лиц, по делу которых он работает.

— Я бы всех воров и жуликов, товарищ сотрудник, выслала бы на остров. Пусть там воруют друг у друга и кормятся тем, что сами вырастят.

- Интересный проект, — согласился Леденцов.
- И справедливо, и гуманно. Почему так не делают?
- Островов свободных нет, Анна Васильевна.

Смагина открыла сумочку и положила на стол листок бумаги.

- Это насчет острова для преступников?
- Нет, заявление.
- Какое?
- Петельников велел сообщить, если что обнару-

жится...

- А что обнаружилось?
- Золотые часы еще пропали.
- Почему же вы сразу этого не заметили?
- Они были спрятаны в вазочку для цветов. Ну, сразу не схватилась...
- Сколько они стоят?
- Сто шестьдесят рублей.

Леденцов прочел заявление с подробным описанием марки часов, пробы золота, дня покупки, потертости ремешка... Смагину с ее заявлением надлежало срочно отправить к следователю.

— Неуютно у нас стало в доме, — вздохнула женщина.

- Почему?
- Будто случилось что...
- И случилось — пропали ценности.
- Дело не в этом. Квартира стала вроде чужой.

Леденцов не понимал ее. Да теперь и не очень слушал, занятый мыслями, связанными с еще одной пропавшей.

Странные кражи? Отнюдь. Брал что легче взять, что нужнее. У Смагиных взял деньги и золотые часы, у геолога — ценный камень и дубленку. Деньги же под этим корешком мог и не заметить. Заурядные кражи. Тут капитан ошибся...

И Леденцов подумал, что его версия с психом не проходит — заурядные кражи совершаются заурядными ворами.

Анна Васильевна вдруг открыла свою чемоданистую сумку и поверх справок и карточек статотчетов и перфокарт выложила одну за другой пять голубых пачек стирального порошка «Лоск».

— Бежала мимо хозяйственного... Передайте товарищу капитану.

— Ага, взяточка, — Леденцов запустил руку в карман, отыскивая деньги.

5

Александр Наумович вернулся домой с суточного дежурства. В передней его встретил серый кот Мурзя. Жены, обычно бегущей на скрип двери, не было. Александр Наумович прошелся по квартире, заглянул в ванную и мудро решил, что коли жена не встретила, то ее нет дома.

— А где хозяйка? — все-таки спросил он у кота.

Мурзя не ответил, потирая бок о его брючину. И Александр Наумович вспомнил, что жена пошла к сестре, о чем и предупреждала.

Он любил эти тихие утра и усталые приходы с дежурства. Дом молчалив, не кричит телевизор, не трезвонит телефон, за окошками светло, и после бессонных суток все кажется чуточку ненастоящим, словно сдвинутым со своих мест, перевозбужденным. Обычно минут десять он позволял себе шататься по квартире и разглядывать ее, словно не был здесь год. Потом — это стало уже привычкой — заводил будильник, неспешно поливал огуречный минипарничок, кидал взгляд на градусник и наливал молоко Мурзе. И смотрел, испытывая прямо-таки отцовское удовольствие, с какой скоростью шершавый кошачий язычок нырял в блюдце.

У Мурзика была своя диковинка — он любил смотреть телевизор. Мяукал и бросался в ноги, требуя включить экран. И смотрел; даже когда все уходило, он оставался на пуфике и глядел на движущиеся картинки своими зелеными глазами. Значит, что-то понимал, коли интересовался.

Александр Наумович прочел сегодняшнюю телепрограммку и обнадежил кота:

— В девятнадцать десять эстрадный концерт, а в двадцать — мультики...

Одному завтракать было непривычно, да и усталость сказывалась.

Он лег в пижаме на диван — подремать до прихода жены.

Где-то вдалеке, вроде бы в соседней квартире, позвонили, Александр Наумович открыл глаза и сквозь сон-

ный туман подумал, что отпираться не к спеху, никого он не ждет, позвонят еще... В соседнюю квартиру.

Второй звонок он слышал, но не распознал — в дверь ли, телефон ли... А может, велосипед на улице.

Во сне время течет по-другому, иначе, поэтому ему показалось, что до третьего звонка, очень короткого, прошел час. Может, почта? Пора бы жене вернуться...

И в ответ на его ожидание мягко цокнул замок, никак не открываясь. Наверно, опять набрала полные руки сумок и сумочек... Надрывное мяуканье в передней окончательно его разбудило. Александр Наумович поднял глаза на дверь. От страха у него защемило сердце и онемел язык...

На пороге стояло привидение — серое, прямоугольное, но с руками и ногами. И смотрело черными глазами-прорезями. Во вторую секунду он разглядел на существе серый широкий балахон и светлый пластиковый мешок вместо головы. Александр Наумович судорожно вздохнул, задыхаясь. Привидение скрылось. И стало тихо.

Ни шагов, ни стуков, ни шорохов. Даже Мурзя не скребся. Александр Наумович замер, как притворившийся зверь. И не знал, сколько прошло минут и что нужно делать — вскочить ли, закричать ли, или укрыться с головой одеялом...

Осторожно, точно пробуя глубину, спустил он босую ногу, потом встал, на цыпочках добрался до трюмо с телефоном и набрал номер: 02. И прошептал свой адрес, как только ответили.

— Что произошло? — спросили в трубке.

— Происшествие, — выдал он, вперившись взглядом в открытую дверь.

— Соединяю с райотделом.

Несколько секунд в трубке шипело и шуршало.

— Дежурный райотдела слушает!

— Приезжайте скорее...

— Что случилось?

— Привидение...

— Гражданин, на привидения не выезжаем.

— Что же мне делать?..

— Как оно прилетело, так пусть и улетает.

— Оно вошло.

— Через дверь, что ли?

— Ключи подобрало, — догадался Александр Наумович.

— Такие привидения нас интересуют. Едем.

Когда он положил трубку и отважился выглянуть в переднюю, там стояла жена.

— Саша, почему у тебя дверь нараспашку?

6

Плыли они вровень, брассом.

Вчера, часов в десять вечера, когда уставшая голова уже отказывалась работать, Петельников выжидательно поставил руку локтем на стол, Леденцов укрепил свою, и они сцепились ладонями. Ненадолго — кисть Леденцова поникла и припечаталась к столешнице. И тогда капитан приказал явиться в бассейн и возобновить ранние утренние тренировки. Слабый человек не только преступника, но и мухи осенней не поймает.

— Сорок девять, — Петельников оттолкнулся от кафельной стенки, и они пошли последний отрезок.

Туда и обратно, пятьдесят раз, два с половиной километра, их обычный урок.

Они вылезли из бассейна, сделали несколько спокойных упражнений и пошли в душ. Их тела, бывшие полтора часа назад сонными и как будто чужими, обрели теперь приятную легкость. Растертые полотенцами, розовые, они, казалось, сами по себе хотели куда-то бежать и что-то делать. Впрочем, разум знал, куда бежать и что делать.

Без шляп, с мокрыми головами, вышли они в октябрьское утро. Если в бассейне их норма была — два с половиной километра, то на суше — вдвое больше.

— В конце концов есть люди с нелогичным мышлением, — сказал Петельников так, будто они продолжали прерванный разговор.

— Больные?

— Нет. Но в их головах свободно сосуществуют противоположные суждения.

— Дураки, товарищ капитан.

— Возможно. В сознании этих людей нет того, что связывает все их мысли. А коли есть нелогичность мыслей, то почему не быть нелогичности поведения, а? Не в том ли наша ошибка, что мы ищем логику в их поступках?

— Я, товарищ капитан, не знаю ни одного преступления, где бы все сходилось тютельница в тютельница.

— Ну уж...

— Помните магазинную кражу, где мы нашли кусок надкушенного хозяйственного мыла? Жрать мыло — логично?

— Я позабыл, зачем он кусал-то?..

— С халвой перепутал. А мы версии строили.

Солнце встало полчаса назад, но легли октябрьские тени — мрачные, серые; открытые двери и проемы смотрелись темными дырами, дворы — пещерами, а выходящие на проспект улочки — черными расщелинами.

— Товарищ капитан, а что дала экспертиза клочка газеты?

— «Советский спорт» от двадцатого октября. Видимо, он вытирал об нее ноги.

— Тогда знаем немало... Молодой мужчина, среднего роста, узкоплечий, читавший «Советский спорт», живущий в этом микрорайоне, не пьяница...

— Почему не пьяница?

— Женьшень у геолога был на спирту, алкаш бы высосал.

— Логично, — усмехнулся Петельников. — Но тогда добавь, что и не вор, — деньги под женьшенем не взял.

Ходьба разогревала приятным внутренним теплом. Прохожие, особенно девушки, задерживались на них еще сонными взглядами. Холодно, а эти двое в легких куртках, без шапок, да еще с мокрыми волосами; вроде бы не торопятся, а всех обгоняют; лица оживленные, увлечены разговором; один высокий и постарше, второй пониже и помоложе, оба разные, но чем-то неуловимо похожи... Мокрыми волосами? Или уверенными лицами?

— Может, он все-таки ищет, товарищ капитан?

— Эту версию мы обсудили...

— Не вещи, не деньги, не ценности, а что-то такое, о чем мы не можем догадаться. Например, рукопись. Или фамильную реликвию.

— Нет.

— Почему, товарищ капитан?

— Тогда все три квартиры были бы чем-то связаны. А между Смагиным, геологом и этим вахтером нет ничего общего.

В компьютерный век все преступления криминалистами просчитаны до столь необычных вариантов, замыслить которые под силу очень редкому злоумышленнику. Схемы, диаграммы и рекомендации, вычисляющие

преступника с арифметической точностью. Но никакой компьютер не сможет дать вразумительного ответа, коли задать ему путаную программу. Да что там компьютер — надежных версий у них не было. Зато была одна романтическая, предложенная геологом.

— Не псих ли? — осторожно предположил капитан.

— Вы же отмени!

— А теперь вот склоняюсь.

— Из-за пластикового мешка?

— Зачем он его напялил?

— Чтобы потом не опознали.

— Кому опознавать? Ходит только по пустым квартирам. Может быть, знал, что хозяин спит? Тогда зачем мешок — напугать?

Они вышли на перекресток, от которого до райотдела оставался квартал. Петельников вдруг замер и посмотрел на лейтенанта с радостным изумлением. Леденцов остановился, решив, что капитан о чем-то догадался.

— Кофе хочу! — сообщил Петельников.

— С бутербродами, — успокоился Леденцов, проследив его взгляд.

К перекрестку с той стороны, где они шли, подъехала милицeйская машина и прижалась к поребрику так близко, что они могли облокотиться на капот.

— Не дадут помечтать, — вздохнул Петельников.

— Они хотят пожелать нам доброго утра, — заверил Леденцов.

Передняя дверца открылась. Сержант Бычко поставил ногу на поребрик и вежливо сказал:

— Доброе утро!

Оперативники глянули друг на друга победоносно. Из недалекой булочной-кондитерской призывно потянуло сваренным кофе. Они улыбнулись вежливому сержанту. Но Бычко убрал ногу с поребрика и добавил:

— Товарищ капитан, на Запрудной улице — квартирная кража...

7

Почерк был все тот же — следов и отпечатков пальцев нет, ящики и столы открыты. Но оперативники ходили по уже осмотренной квартире и ждали каверзы, обычной нелогичности, без которой еще не обходилась ни одна кража.

— Четвертая, — многозначительно бросил следователь.

— Третья и одна попытка, — не согласился Леденцов.

— Может, сегодня еще раз обсудим версии? — следователь спрашивал, не отрывая ручки от протокола.

— Обсудим, — буркнул Петельников.

Следователь ведет следствие, уголовный розыск ищет преступника. Каждый делает свое дело. Следователь вел следствие, но уголовный розыск преступника не находил.

Этот следователь любил версии — придумывал их много, большей частью малоперспективных и непременно парочку абсурдных. Петельников не отрицал никаких версий, но работу всегда начинал с одной, самой достоверной. Как-то он прочел повесть «Мегрэ в Нью-Йорке» и запомнил поразившие его слова комиссара: «Я никогда не пытаюсь построить версию, прежде чем дело будет закончено». Как же работает прославленный комиссар? Инстинктивно, как пчела? По версиям живет все человечество — только зовутся они планами, замыслами, программами, мечтами...

— Ничего новенького не придумали? — спросил он Леденцова.

— Тунеядец, товарищ капитан, раз ворует днем.

— Притом трудолюбивый. Сюда проник с самого утра.

Худая темнoliца женщина деловито рылась в шкафах. Петельников намеревался задать ей обычные, набившие ему оскомину вопросы: не заметила ли она в последние дни чего-нибудь странного, не встретила ли человека на лестнице, долго ли отсутствовала, что у нее за соседи, не подозревает ли кого?..

— У нас и взять-то нечего. Двое детей, муж-инвалид, — сказала хозяйка следователю.

Леденцов огляделся: старенькая мебель, блеклые обои, облысевший ковер...

— Разобрались, Клавдия Сергеевна? — спросил Петельников, доставая блокнот.

— Пропала кофта...

— Что за кофта?

— Шерстяная, синяя, неновая...

— Во сколько оцениваете?

— Наполовину изношена, рублей в двадцать пять.

— Еще что?

— Туфли тридцать шестого размера, бежевые, новые, но один каблук треснул...

— Сколько?

— Починить, так опять будут новенькие. Рублей сорок.

— Так, еще что?

— Ложка столовая, серебряная. Муж подарил, стоила рублей двадцать пять, а теперь в комиссионном все сто.

— Так...

— Вроде бы все.

Она улыбнулась виновато, что остальное цело и что такой малой пропажей потревожила столько людей. Ее сидящие неприбранные волосы лежали на щеках, заостряя и без того худое лицо. Потерпевшая как потерпевшая.

Осмотр места происшествия закончился. Оперативники вышли последними. Поотстав, Леденцов сказал:

— Еще загадочка, товарищ капитан...

— Какая?

— Вор начал мелочиться. Старая кофта, туфли со сломанным каблуком...

— Есть и вторая загадка.

— Очень рано залез?

— Ты видел кофейник?

— А что?

— Закрыт. В других квартирах все кастрюли стояли без крышек.

— Надоела ему эта самодеятельность, — нашел объяснение Леденцов.

— А маленькую комнату видел? Ни одного шкафа не открыто. Почему?

— И что это значит?

— Я не знаю, что это значит, но это что-то значит.

— Понятно, товарищ капитан.

Они вышли на улицу, стоял яркий день. Их волосы давно просохли — у Петельникова лежали, блестя чернотой, у Леденцова, потемневшие было от воды, топорщились и огненно светились.

— Товарищ капитан, а и верно влюбленный — берет туфли, кофты...

— Кофейку бы, — сказал Петельников сержанту Бычко, заводившему машину.

К стеклу прилип лист — зеленый с зазубринами, в желтых разводах. Не то чтобы он мешал работать, но отвлекал, как заглядывающая физиономия. И заглядывала — осень.

Леденцов корпел над тунейдцами, намереваясь после обеда ринуться по адресам. Он все больше склонялся к мысли, что вор — из закоренелых бездельников.

Не понимал он этих воров.

Вникая на юридическом факультете в гражданское право, Леденцов вдруг сделал открытие, которое обескуражило бы любого профессора. Поэтому открытие держал при себе.

Он соединил понятие «собственность» с понятием «потребление» и догадался, что собственность всего лишь абстрактное представление, всего лишь иллюзия, которой тешат себя люди. Собственным может быть только то, что потребляешь. Зубная щетка, ботинки, посуда, кровать... Все тобою непотребляемое — не твое. Допустим, у человека дом в пятнадцать комнат. Но физически он бывает только в одной. Тогда как понимается владение другими комнатами? Право никого в них не пускать? Или дорогие серьги, перстни, броши, кулоны... Они на женщине, на собственнице, но любят их другие. Так какой же смысл во владении этими драгоценностями и кто все-таки ими владеет: хозяйка, на которой они висят, или люди, которые ими любят? И что такое «моя картина»? Право смотреть на нее? А если и другие смотрят в равной степени, то чья картина? Выходит, словечко «моя» еще не дает человеку какую-то особую возможность потреблять эту вещь. А коли так, то в чем смысл владения? Не давать другим?

Не понимал он воров. И загребуших-завидуших не понимал.

Леденцов глянул на часы, решив добежать до ближайшей пирожковой. Он надел плащ, но сначала открыл окно и отлепил от стекла мокрый лист. Тот оказался с черенком и походил на игрушечный веер. Привет от осени. Неужели осень? А где лето? Когда он последний раз был в кино?..

Леденцов выскочил в коридор и тут же столкнулся с Петельниковым, который схибно полюбопытствовал:

— Листочек нюхаем?

— Осень, товарищ капитан.

— Небось и пирожки идем кушать?

— Так точно.

— А почему не едешь на место происшествия?

— Какое место происшествия?

— Квартирная кража.

— Мы же вчера там все отработали...

— Я говорю про сегодняшнюю кражу.

— И сегодня? — не поверил Леденцов.

— Они стали ежедневными, дорогой, а потом будут две на дню, затем — три...

Петельников говорил с веселым сарказмом, и Леденцов никак не мог уловить, против кого он направлен: против него или против обнаглевшего вора.

— Машина ждет, адрес у водителя.

— А вы не поедете, товарищ капитан?

— Я с утра мечусь по скупочным и комиссионным, ищу дубленку дамскую, часы золотые, кофту синюю, туфли бежевые и ложку серебряную. А другие дела стоят!

Почему-то новая кража Леденцова поразила. Видимо, сознание, числившее до сих пор этого домушника и мелких птицах, все переоценило в момент. Леденцов стоял и не мог сообразить, что хотел сделать и куда бежал. Поест пирожков. Пятая кража...

Леденцов застегнул плащ, намереваясь идти в машину. Но Петельников вдруг отчеканил звонко:

— Лейтенат, вы мой подчиненный?

— Так точно, товарищ капитан!

— Приказываю! Выехать на место происшествия, кражу раскрыть и преступника задержать.

— Есть, товарищ капитан!

Лейтенант улыбнулся — любил он Петельникова прежде всего за веселость, без которой в уголовном розыске никак нельзя. Шутит, когда за серию нераскрытых краж того и гляди потащат на ковер...

Леденцов позвонил в квартиру. Кругленькая старушка открыла дверь, не спрашивая, и улыбнулась молодыми ямочками на щеках. Обворованные редко встречали улыбками. Удивила и тишина.

— Никого нет?

— А кто должен быть?

Он опередил следователя и всю бригаду. Без эксперта ходить по квартире не полагалось, и Леденцов остался в передней.

— Что случилось, бабушка? — не решился он на официальную «гражданку».

— Вышла я в булочную да за кефиром. С часик отсутствовала. Прихожу, господи помилуй, все растворено, как бес какой ходил. Ну, с перепугу-то я и навертела ноль два.

— Ничего в квартире не трогали?

— Все уже позакрывала и прибрала.

— Бабушка, неужели вы не смотрите телевизор? До прихода милиции ничего нельзя трогать!

Леденцов прошелся по однокомнатной квартирке. Чистота и порядок. Что же тут делать следователю с экспертом?

— Вы не волнуйтесь, все цело, — успокоила она.

— То есть как цело?

— Да ты присядь, — велела она заинтригованному Леденцову.

Он сел на диван. Старушка тоже примостилась на каком-то вроде бы детском стульчике. В круглых и крупных очках, в клеенчатом фартуке, с седыми волосами, прихваченными тесемкой, она походила на камнетеса.

— И деньги целы, и вещи. Зря я органы потревожила. Видать, вор передумал, а то и совесть пробудилась.

— Скорее всего его спугнули.

— Нет, не спугнули.

— Откуда вы знаете?

— По одной махонькой пропаже.

— Вы же сказали, что все цело...

— Да такая пропажа, что бог с ней.

— Бабушка, не бог с ней. Для вас пустяк, а для нас улика.

— Варенье пропало.

— Варенье в смысле... То есть как варенье?

— Натуральное, сама варила.

Леденцов умолк. Он знал, что нужно задать следующий вопрос, точный и умный, но это варенье сбilo его с толку. Для чего домушнику варенье? После дубленок, золотых часов...

— Из каких плодов? — попробовал он вернуться на пути криминалистики.

— Из клубники.
— Сколько банок украдено?
— Полбанки.
— Взял уже начатую банку?
— Нет, взял-то он целую, но отполовинил.
— Ничего не понимаю... Взял банку клубничного варенья, отложил полбанки и унес?

— Нет же, молодой человек... Полбанки варенья унес, да только не в банке, а в желудке.

Леденцов оторопел. Не разыгрывает ли его старушка-камнетес?

— Хотите сказать, что варенье он съел?

— Ага, на кухне, ложечкой.

Разыгрывает. Или скормила внуку да позабыла. Что же, вор подобрал отмычки, открыл замок, проник в квартиру, съел полбанки варенья и ушел? Он разозлился на эту пожилую гражданку, городящую несуровицу, и тут же поймал себя на том, что злится на вора, но без той веселости, которая была у капитана. А злоба в их деле — не помощник. Да и круглые глазки в очках, круглые щеки в ямочках обескураживали. И вора она не придумала; иначе откуда бы она узнала про его манеру все открывать и распахивать?

— Банку, ложечку не трогали?

— Вымыла, милый, — закручинилась хозяйка и, успокаивая, предложила: — Чайку не выпьешь? С клубничным вареньем?

— С остатками из-под вора, то есть от вора? — усмехнулся Леденцов. — Где у вас телефон?

Старушка виновато засуетилась и провела его в переднюю, к полке. Он набрал номер. Голос у Петельникова был ждущий и тревожный.

— Товарищ капитан, все цело. Но преступник съел полбанки клубничного варенья.

Леденцов не знал, каким образом, но ему показалось, что он почувствовал радость, исходящую от капитана, с того конца провода.

— Теперь мы его поймаем, — вздохнул Петельников.

— Как?

— Сделаем анализ варенья. Попроси-ка у хозяйки пару баночек.

— Я серьезно, товарищ капитан...

— Леденцов, это подросток.

Еще пока говорил по телефону с Леденцовым, еще не положив трубки и не глянув на карту, не успев обдумать и решить, он вспомнил об этой восьмилетке, единственной в микрорайоне.

Петельников медленно взошел по лестнице на второй этаж с чувством печали.

Все школы похожи. Тишиной во время уроков, длинными коридорами, запахом натертых полов... Давно ли он окончил школу? Как давно он окончил школу...

Шли уроки. Петельников намеревался начать с директора, а еще лучше с завуча. Вполне возможно, что кто-нибудь из них свободен. Он побрел, разглядывая двери.

В темном тупичке послышалось сопение. Он остановился, чтобы спросить, где канцелярия или учительская.

— Отпусти, — слезно просил чей-то голос.

— А будешь про меня трепаться?

Петельников пригляделся — длинный костистый парень, растопырившись по-паучьи, душил каким-то приемом второго, щупленького.

— Отпусти, — уже с хрипотцой попросил щуплый.

— Отпусти, — попросил и Петельников.

Костистый глянул на постороннего без всякого интереса и задышал чаще, видимо, сжимая вырывающуюся жертву. Петельников ухватил его за шиворот и сильно рванул на себя.

— Я не учитель, могу и оплеуху дать, — разъяснил Петельников.

— Не имеете права. — Костистый смекнул, что нарвался на силу, и поэтому сразу же вспомнил о законе.

— Кто это тебе сказал?

— На обществоведении. Бить нельзя.

— Разве я бить собираюсь! И разве на обществоведении не сказали, что каждый гражданин обязан вступаться за жизнь и здоровье другого гражданина?

— Какого гражданина? — не понял костистый, тараща глаза и отдуваясь.

— Которого ты душил.

— Это Чулюка, отличник.

— Отличники тоже люди.

— У нас поединок, — нашелся парень.

— А он согласен? — Петельников поискал взгля-

дом убежавшего Чулюку. — А силы равные? А весовая категория одна?

— Он без весовой категории заслужил...

— За что же?

— Я с бабкой живу, — насутился парень. — Она часто в школу приходит. А он ее обзывает Ром-бабой.

— Почему же Ром-бабой?

— Меня Ромкой звать...

Звонок разбудил школу. Вокруг них сразу закружились какие-то группки, стайки, цепочки и повлекли Ромку в даль коридора. Петельников стоял, оглушенный непривычным шумом. Вернее, забытым, а теперь всплывшим со дна памяти и задевшим той грустью, прикосновение которой он почувствовал еще при входе, на лестнице.

— Вы кого ищете? — спросила пожилая женщина, конечно, учительница, и конечно, как ему показалось, математичка: в лице ее была какая-то геометрическая правильность.

— Директора или завуча...

— Обе в роно.

— Пожалуй, мне нужны классные руководители восьмых классов. Я из милиции, — сказал Петельников.

— Пойдемте в кабинет...

Они оказались, видимо, в учительской, в уютном уголке под портретом Макаренко, в низких мягких креслицах вокруг журнального столика — только кофе не хватало. Петельников сел вольготно. Разговор предстоял сложный. Но три классные руководительницы — та, что его привела, еще одна пожилая и третья, лет тридцати, — полуприсели, как на жердочках, готовые сорваться и бежать. И он вспомнил, что у них всего лишь десятиминутная перемена.

— Что случилось? — спросила первая, приготовившись к дурной вести и заранее опечалившись.

Петельников не любил говорить о преступнике до конца следствия, тем более об этом, непонятном и еще не пойманном.

— Потом расскажу, хорошо? Мне сперва надо отыскать парнишку, в чем надеюсь на вашу помощь...

Вторая учительница, чуть сонная, слегка рассеянная, вздохнула:

— Как что, так к нам.

— Естественно, восьмилетка, — ответила молодая.

— Почему естественно? — заинтересовался Петельников.

— Небольшой процент способных ребят идет в среднюю школу и потом в вузы. А остальные в ПТУ, де-вушки — в педагогические и медицинские училища.

— Скоро звонок, — пресекла вторая начавшийся было разговор.

— Товарищи, я ищу подростка выше среднего роста.

Учителя переглянулись, они ждали продолжения. Но примет было так мало, что он их подсознательно скрывал.

— Половина восьмиклассников выше среднего роста, — сказала первая, сочувственно улыбнувшись.

— Он узкоплеч.

Классные руководительницы вновь переглянулись и ничего не ответили.

Петельников понял их: узкоплечих было много. И все-таки он надеялся дать хотя бы размытый образ.

— Ходит в светлом длинном плаще.

— Ну, это надо проверять одежду каждого, — теперь молодая учительница взглянула на него, как на ученика, пришедшего на экзамен неподготовленным.

— По-моему, теперь ребята в плащах и не ходят, — зевнула вторая.

— Он, видимо, неуравновешен и склонен к фантазиям.

— Видите ли, все подростки... — начала было молодая и не кончила, считая разговор никчемным.

— Он любит клубничное варенье.

— И я люблю клубничное варенье, — призналась первая, развеселясь.

И тогда Петельников сказал главное, ради чего и пришел:

— Мне нужен ученик, который пропустил уроки пятнадцатого, семнадцатого, девятнадцатого, двадцать второго и двадцать третьего октября.

— Это Саша Вязьметинов, — удивилась молодая учительница, сразу простив взглядом Петельникова.

Вязьметинова сняли с последнего урока...

Они разделись — парень скинул синюю куртку с десятком ненужных «молний». Это был не допрос, который еще предстоял у следователя, поэтому Петельников сел подальше от официального стола, в полумяг-

кое креслице, и кивнул подростку на соседнее, рядом. Вязьметинов опустился в него свободно и, как показалось оперативнику, с едва заметным вежливым кивком. Петельников улыбнулся — галантные пошли воришки.

Черные и густые волосы налезали на шею, уши и брови. Темные глаза ждали вопросов. Загорелое узкое лицо было так спокойно, что по задворкам петельниковского сознания пробежала встревоженная мысль: он ли, тот ли?

— Красивая у тебя фамилия — Вязьметинов. Как Вяземский.

— Нормальная.

— Тебе уже пятнадцать... Второгодник?

— Год не учился, в пятом классе ногу сломал.

Петельников решил устранить официальность уже проверенным способом: как-то рассеянно зевнул, вздохнул, буркнул, вытянул ноги, уселся поудобнее и глянул на подростка добродушно, как на приятеля, невесть откуда взявшегося. Темные глаза парня оживились — что дальше?

— Почему не спрашиваешь?

— О чем?

— Тебя же не в кино пригласили, не в гости и не на концерт рок-музыки — в милицию доставили.

— Вы сами скажете...

— А у тебя вопросов нет?

Вязьметинов умолк выжидательно, что-то решая. Его темные глаза спокойно и, пожалуй, смело изучали оперативника. Петельников нетерпеливо шевельнулся, удивляясь этой смелости — вор должен бояться милиции, бояться наказания.

— Есть вопрос...

— Давай отвечу.

— Как вы меня нашли?

Петельников улыбнулся, может быть, чуть скованнее, чем хотелось бы, ибо скрывал радость облегчения — коли человек спрашивал, как его нашли, значит знал, что его ищут. Считай, признался. Впрочем, он не помнил, чтобы подростки запирались долго и нагло.

— По варенью.

— Как... по варенью?

— Варенье у бабуси съел?

— Третью банки.

— Не треть, а половину.

— Нет, треть, — уперся Вязьметинов.

— Вот и наследил.

— Я в перчатках ел.

— Видимо, перемазался, — продолжал шутить оперативник.

Взгляд парня потух и лицо поскущнело. Петельников всполошился. Для него, капитана и старшего оперуполномоченного, десять лет проработавшего в уголовном розыске, это были заурядные кражи с вором, потерпевшими, материальным ущербом... Потому что он знал законы и накопил опыт, а главное, потому что он был взрослым. Конечно, парень умом понимал, что совершает преступление. Но для него это были не только квартирные кражи — были отмычки, перчатки, серый маскировочный плащ, мешок на лицо; были долгие прикидки и расчеты, подсмотренные в детективных фильмах; была жуткая работа, преодоление страха, тайна... Оказалось, что поймали при помощи клубничного варенья.

И Петельников испугался, что парень замкнется, еще не начав говорить.

— Тебя, Саша, вычислили, — серьезно сказал Петельников, впервые назвав его по имени.

— Вы?

— Разве человеку это под силу... Компьютер.

— На каком языке программа у компьютера?

— БЕЙСИК, — вспомнил Петельников, не совсем уверенный, что он тут подходит.

— А какие данные на входе?

— Много. Способ, характер похищенного, время, одежда, манера поведения... В том числе, конечно, и клубничное варенье.

Школьник задумался. Петельников не торопил, разглядывая его. А ведь хороший парень — неглуп, собран, лицом симпатичен... Хороший парень, да вор. Что же произошло в его жизни, коли хороший парень стал вором? Семья, худые приятели или указка взрослых?

Но о семье, о школе, о жизни, о мотивах краж — они поговорят чуть позже. Сперва Петельникова интересовала уголовная сторона: сколько квартир посетил, что взял, куда дел...

— Давай, Саша, по порядку... Первая квартира...

— В каком смысле «первая квартира»?

— Где, когда, что взял, куда дел?..

— Ничего не взял.

— Так, вторая квартира, — терпеливо продолжил оперативник, решив, что о первой квартире, возможно, не заявили.

— Тоже ничего не взял.

— И в третьей не взял?

— И в третьей.

— Ага, взял в четвертой.

— Ни в какой не брал.

— И варенье не ел?

— Варенье съел.

— Ага, ходил по квартирам в поисках клубничного варенья, да?

— Да, — отрезал Вязьметинов, уловив наконец иронию.

Такого поворота оперативник не ждал. Признался, что проникал в квартиры, но отрицает кражи.

— Шкафы, столы, серванты распахивал?

— Распахивал.

— А деньги и золотые часики не взял?

— Нет.

— Дубленку, туфли, кофту не взял?

— Зачем они мне...

— А варенье взял?

— Съел.

Петельников лениво поднялся и, смерив парня презрительным взглядом — не за кражу, а за ложь, стал неспешно, с какой-то тщательностью снимать пиджак. И еще раз взглянул на школьника с презрительной усмешкой — тот смотрел настороженно, чуть напрягшись; его плотные, все закрывающие волосы сверху казались темным меховым капюшоном.

Петельников подошел к окну и приоткрыл его, впуская осенний воздух. Потом достал из шкафа двухпудовую гирию и легко выжал десять раз — пять левой и пять правой. Вязьметинов смотрел, кажется, не дыша.

Оперативник швырнул гирию в шкаф и все то же самое проделал в обратном порядке — закрыл окно, раскатал рукава, подтянул галстук, надел пиджак и сел рядом.

— Силой хвастались? — опять загорелся любопытством Вязьметинов.

— Нет, Саша, нервы успокаивал.

— А у вас слабые нервы? — усомнился парень.

— Понимаешь ли, — доверительно понизил голос

оперативник, — были крепкие, как у двоечника. Но от ежедневного общения с бабами они подрастрепались.

— Разве вы ежедневно... не с преступниками?

— Конечно, с преступниками.

— А разве они бабы?

— Не все, конечно, но многовато. Главное, внешние они вылитые мужчины. Воруют или хулиганят браво. Брюки, куртки, кулаки... — Петельников пристально глянул на верхнюю губу школьника, подчеркнутую нетронутой растительностью. — Некоторые даже с усами. А как попадут в милицию, повлажнеют от страха и давай изворачиваться. Ну не бабы ли?

Вязьмитинов густо покраснел. Оперативник не торопился, разглядывая потемневшие щеки, сжатые губы и сощуренные от злости глаза. Но откуда злость? У пойманного преступника ее, как правило, не бывает. Страх, раскаяние, тревога, депрессия... Но злость? Но спокойствие?

Петельников вырос без братишек-сестренки, своих детей не имел и воспитателем никогда не работал. Но он считал, что подростков знает, потому что сам был мальчишкой. Его раздражали призывы педагогов учиться понимать психологию ребенка. Разве не все были детьми?

Но этого вот паренька он вроде бы не понимал. Может быть, злость и уверенность от чувства собственного достоинства?

— Да ты никак обиделся?

— Не имеете права оскорблять...

— А сказать правду — оскорбление?

— По квартирам ходил, но не воровал!

— Ты хочешь меня, взрослого и нормального человека, убедить, что проникал в квартиры и ничего не брал?

— Не брал! — вскинулся он.

— Тогда я должен допустить невероятное, что кто-то еще ходил вслед за тобой и воровал. А?

— Не знаю...

— А зачем тогда ходил?

— Мало ли зачем, — буркнул парень, сразу остывая.

— Вот не желаешь говорить правду, — вздохнул Петельников. — Саша, мы с тобой всего лишь беседуем. А впереди следствие. Официальные допросы, очные ставки, обыск...

— Где обыск?

— В твоей квартире.

— Зачем?

— Чтобы найти дубленку, деньги, золотые часы...

Вязьмеинов удивленно посмотрел на оперативника. Глаза суровы, скулы жестки, лоб наморщен, а темный пух на губе проступил явственными усиками... Мужчина. Только рот приоткрыт по-детски и растерянно, будто мать отказала в мороженом. И Петельников вдруг оценил всю мудрость закона, ограждающего несовершеннолетних преступников от равной со взрослыми меры ответственности, видимо, законодатели тоже подсмотрели приоткрытый детский рот.

Вязьмеинов запустил руку в карман брюк, что-то вытащил и протянул Петельникову. Продолговатый камень чуть больше спичечного коробка со сколотым краем, который зеленел глубоким, чуть матовым светом.

— Ага, хризопраз геолога...

— Вот его взял.

— И все?

— И варенье.

— Как только в чужой квартире не подавился чужим вареньем, — не выдержал Петельников бессмысленного запирательства.

— Чего попрекаете чужим вареньем? — огрызнулся подросток.

Задетый Петельников хотел было ему сказать кое-что насчет чужого варенья, но дверь открылась и неуверенно вошедшая женщина остановилась на пороге. Он узнал ее — потерпевшая Анна Васильевна Смагина. Оглядев кабинет и сочтя школьника помехой, она замаялась:

— Извините, я на секундочку, только сказать...

В кабинете случайно встретились вор с обворованной, и оба не подозревали об этом. Петельников выжидательно посмотрел на Смагину и ободряюще кивнул, вынуждая ее заговорить:

— Знаете, кроме денег и золотых часов, еще пропало золотое колечко. Оно было спрятано в корзинке с нитками. Сразу не заглянула, а вчера...

Как ее нехстати принесло!..

— Зайдите завтра к следователю! — чуть не крикнул Петельников.

Она уже обидчиво взялась за ручку двери, когда

в кабинете раздалось негромкое, но твердое: «Неправда».

Смагина удивленно воззрилась на оперативника — не мог же школьник сказать этого. Но и работник уголовного розыска не мог. Она вернулась взглядом к подростку, и краска внезапной догадки залила ее щеки — женщина стояла пунцовая, почему-то испуганная.

— Такой молодой...

— Молодой, ну и что?

— Такой молодой и ворует.

— Я у вас ничего не украл.

— А деньги, а часы, а кольцо?

— Вы врете, — рубанул Вязьметинов.

— Я вру? — удивилась женщина, выходя на середину кабинета. — Какой наглец, а?

— Кто наглец? — повысил голос и подросток.

— Надо бы извиниться, да покаяться, да вернуть краденое, а он еще оскорбляет!

— Не брал я у вас ничего!

— Где же тогда деньги и золотые вещи?

— Там и лежат.

— Где там? — Она еще подалась к нему, будто захотела здесь же получить свои ценности.

— В ваших коробках и банках.

— А ты видел?

— В вазе часы лежали...

— В квартире был он! — ужаснулась Смагина, словно до сих пор этому еще не верила.

— Да, был, — зло бросил Вязьметинов.

— Боже, какого подлеца воспитала мать...

— Тетя, не надо!..

Он приподнялся — узкое лицо побледнело, узкие плечи поднялись, кулаки сжались, волосы встопорщились — он походил на зверька семейства кошачьих, готового к охотничьему прыжку. Грузная Смагина отбежала к двери с неожиданной легкостью и подняла продуктовую сумку к лицу, прикрываясь.

— Все! — отрезал Петельников и подошел к женщине. — Успокойтесь, Анна Васильевна. Завтра мы с вами обо всем поговорим.

Он прикрыл за ней дверь. В кабинете восстановилась тишина, какая-то особенная, удивленная, какая наступает после сильного шума.

— Никак хотел накинуться на женщину? — небрежно спросил Петельников.

— А чего вором обзывает?..

— Почему ж на меня не кидаешься? Я ведь тоже вором тебя считаю.

Вязьметинов отвел глаза и уставился в уже темневшее окно. Петельников подошел вплотную, так что подростку пришлось вскинуть голову, чтобы увидеть лицо оперативника.

— А я скажу, почему ты на меня не кидаешься... Я не женщина, я сильный.

— На вопросы больше не отвечаю, — буркнул Вязьметинов не очень уверенно.

— И опять скажу, почему... Тебе нечего отвечать!

Петельников посмотрел на часы — шесть часов. Нужно было решать судьбу подростка. С одной стороны, пять краж, не признается, ущерб не возмещен, агрессивен... Отпускать нельзя. А с другой стороны, пятнадцать лет, мотивы не ясны, краденое не обнаружено, доказательства не собраны... Задерживать или арестовывать всегда трудно, тем более школьника. И что-то еще — жалость, сомнения? — мешало Петельникову, но вникать в это сейчас было некогда.

Он бесцельно прошелся по кабинету, злясь на себя, что сразу не отвез парня к следователю — там бы и решился этот вопрос, пусть бы следователь шел к прокурору...

Телефон подозвал глухим стрекотом. Петельников взял трубку нехотя, потому что вечерние звонки могли задать работы на всю ночь.

— Товарищ Петельников? Вам звонит Аркадий Петрович, геолог. Помните меня?

— Разумеется, Аркадий Петрович. Что-нибудь случилось?

— Вышло маленькое недоразумение. Дубленка нашлась.

— Где же?

— Мое чадо, дочка, унесла, забыв предупредить. Извините нас за причиненные хлопоты.

— Итак, ущерб...

— Никакого ущерба, — перебил геолог. — Камень в деньгах я не оцениваю, дубленка цела.

— Спасибо, Аркадий Петрович, за уведомление.

Присутствие Вязьметинова удержало его сказать геологу, что и камень нашелся. Теперь на совести подростка осталось четыре кражи, а точнее — две кражи и

два покушения на кражу. Варенье не в счет. Петельников вздохнул.

— Иди домой, я жду тебя завтра в десять — пойдем к следователю.

11

С того момента, как капитан вышел на школьника и увел его с собой, Леденцов забегал по городу с новой окрыляющей скоростью. И за полдня поспел всюду. В инспекцию по делам несовершеннолетних, где, как он и предполагал, Вязьметинов на учете не состоял; в жилконтору, в которой о подростке ничего не сказали ни плохого, ни хорошего, но семью (оба родителя были инженеры) похвалили; в школу, где парня характеризовали как способного, но строптивого ученика.

Леденцов нуждался в той информации, которая была связана непосредственно с кражами. В школе он узнал про Ромку Тюпина по кличке Сушеный и про его бабушку, Ром-бабу. Тюпин ходил в первых друзьях Вязьметинова, и говорить с ним следовало немедленно.

Но уроки кончились, школа притихла, да и день угасал. Записав домашний адрес Тюпина, Леденцов пошел к нему пешком, благо тот жил в квартале от школы.

День заметно потускнел. Какая-то мгла, опередившая закат, закоптила небо. Опавшие листья шелестели под ногами. Сейчас они казались серыми, цвета асфальта.

Леденцов вошел в парадное и уже поднялся на четвертый этаж, когда хлопнула дверь и мимо пронеслась длинная тощая фигура с мусорным ведром.

— Рома Тюпин? — Леденцов удержал его на обратном пути.

— Да. А что?

— Оденься-ка да выйди поговорить. Я из милиции.

Тюпин послушно повиновался, ибо по школе прокатилась молва, что за Вязьметиновым приехала машина и увезла в неизвестном направлении... Они спустились во двор и сели на скамейку.

— Надо поговорить, как мужчина с женщиной, — сказал Леденцов.

— Можно, — солидно согласился Тюпин.

Леденцов начал, как учил капитан, издалека.

— В электронике волокешь?

- Нет, — удивился подросток.
- В механике?
- Тоже нет.
- А в космонавтике?
- Ну, читал...
- Слесаришь-столяришь?
- На уроках труда стругаем...
- Компьютер освоил?
- Нет еще.
- А в тяжелом роке или в диско сечешь?
- Цирк люблю.
- Эх, Рома, а мы на тебя надеялись...
- Я приемчики знаю, — вспомнил Тюпин...

Оперативник помолчал, как бы сомневаясь, можно ли говорить с человеком, знающим одни лишь приемчики. В общении с подростками Леденцов испытывал некоторую двойственность: с одной стороны, он — взрослый человек, работник уголовного розыска, представитель власти, а с другой — при его двадцати с небольшим годах да веселом характере он от подростков ушел недалеко. Говорят, этот Сушеный поколачивает слабых. И второй, подростковый, Леденцов с удовольствием бы отвлекся и поговорил с парнем о пользе силы, приемчиках и звании мужчины. Но первому, взрослому и оперуполномоченному, требовалась информация.

- С Вязьметиновым дружишь?
- С первого класса. А что Сашка сделал?
- Скоро узнаешь. И какой он мужик?
- Со знаком качества.
- Это хорошо, — одобрил Леденцов. — Все о нем знаешь?
- Как про себя.
- А где он был, когда прогулял пять дней?
- Ходил...
- Куда?
- Секрет, что ли... А к академику Воскресенскому.
- Это тебе сам Вязьметинов сказал?
- И мне, и всем. Он к нему давно ходит.
- Где академик живет?
- Не знаю. За городом, на вилле.
- Что за вилла?
- Экстра-класса! Крыши нет...
- Как нет?
- Вместо крыши солнечные батареи. А вместо подвала подогреваемый бассейн, вместо лампочек све-

тит гелиоцентр, под ним загорают, как на солнце. Там и мини-пляж песчаный...

Леденцов предпочитал, как и капитан, запоминать информацию. Но опасение, что этот дикий дом придется искать по всей области, побудило взяться за авторучку. На его коленях лежала папка из кожи, напоминавшей панцирь черепахи, он весь день таскал ее, чтобы не смялись добытые им характеристики.

— Рома, где это хоть примерно находится?

— В сосновом лесу. А еще там столовая-оранжерея. Лимоны, лианы и всякие орхидеи зимой цветут. Они там обедают. А гараж открывается сам, как только академик подойдет. Автомобильчик такой, что ни у кого в городе нет, по телефону может говорить со всеми городами...

— Кто ж ему все это сделал?

— Никто, сам. Он умелец.

— А на работу академик куда ходит?

— Никуда, дома работает, в кабинете. У него свой компьютер.

— А внешность академика Саша описал?

— Он похож на йога. Высокий, худой, в квадратных очках и белые волосы до плеч. Ему ни каратист, ни самбист, ни пьяный ханыга не страшен.

— Что, сильный очень?

— Зачем сильный... Взглядом парализует.

— Сколько же ему лет?

— Пятьдесят, — сказал Тюпин и, подумав, добавил: — А может, сто.

Для подростков сила притягательна — школьник восхищался тем, кого даже в глаза не видел. Леденцов слушал с некоторой завистью к академику, потому что внешностью считал себя обделенным.

— У академика дочка есть экстра-класса. Хоть кого в бадик обыграет.

— А Саша у него играет в бадминтон?

— Ха! И в бадминтон, и плавает, и в шахматы режется.

— Какой же интерес у академика к подростку?

— Учтите, дочке шестнадцать. Сашка и обедает у них через день по экстра-классу. Рагу из голубей, мясо кхэ, копченые индейские языки...

— Чьи языки?

— Индейские, от индеек. Ну и ананасы из оранжереи...

Леденцов вспомнил, что весь день во рту у него ничего не было, кроме утренней чашки кофе. Но ему хотелось не индейских языков, а кисленьких щей со сметаной и маминых котлет с картошкой. И компота из сухофруктов.

Каким-то образом Тюпин уловил, что оперативник думает о другом. Он перестал перечислять деликатесы и, помолчав, кончил досадливо:

— Меня Сашка не берет...

— А хочется?

— Еще бы! Они в телескоп с крыши смотрят, на машине в Прибалтику катают, видеокассеты гоняют...

Леденцов строчил в блокноте, обходясь бледным светом чьей-то кухни. Но простая догадка его остановила... Академиков в городе можно по пальцам пересчитать, поэтому найти Воскресенского проще простого. Он задал еще несколько осторожных вопросов о похищенных вещах, поставленных так, чтобы школьник преждевременно не догадался о преступлении Вязьмитинова. Про кражи Тюпин ничего не знал.

Леденцов поднялся. И уже попрощавшись с подростком, уже выйдя на проспект, он испуганно подумал... А не там ли вещички, на этой вилле, где едят мясо кхэ? И академик — не кличка ли?

Он глянул на часы — семь. Капитан еще в райотделе.

12

Анна Васильевна Смагина втиснулась в дверь автобуса, взяв приступом живую стену. И даже не почувствовала давящей силы людского сопротивления. Ее разгоряченные мысли вертелись круговоротом. Она повидала немало детективных фильмов, не пропускала ни телесериалов, ни репортажей из зала суда. Там сотрудники уголовного розыска были скоры и вездесущи, говорили кратко и сурово, носились в машинах, с преступниками не сюсюкали, наручники — и конец серии. А у Петельникова вор сидит в кресле, развалился, как в театре, глаза наглые, оскорбляет. И никаких наручников.

Анна Васильевна рванулась к выходу.

— Гражданка, разве так можно? — запротестовал человек, влекомый ею к двери.

— Моя остановка.

— Ей-богу, как трактор.

Анна Васильевна шла домой, минуя магазины, в которые заходить не захотелось. После кражи была обида — на вора, на милицию, на всех. Чужой ходил по квартире, рылся в вещах, взял деньги и золото. Но теперь она заметила, что та обида куда-то пропала, да и что за обида, если квартирная кража может произойти у всякого, как водопроводная авария, например. Но почему-то пришла обида другая, настоящая, личная — в официальном органе усомнились в ее честности. Мол, не было ни денег, ни золотых вещей. Анна Васильевна так и видела лицо капитана, который смотрел на перепалку, бегая взглядом от одного к другому, как бы оценивая, кто из них прав. Не оскорбление ли: ее, порядочную женщину, работницу со стажем, потерпевшую от кражи, уравнивать с несовершеннолетним балбесом, вором, который без зазрения совести признался, что был в квартире?! Дурной оперативник. И это ему она достала стиральный порошок.

Сколько вору-то — пятнадцать, шестнадцать? Одет прилично, лицо полудетское, чистое. С чего занялся таким промыслом? От вольготной жизни. Двоек им теперь не ставят, на интересные работы заманивают, в институты завлекают... Вот и растут на одних правах и без всяких обязанностей.

В пятидесятых годах, когда сама бегала девчонкой, дух был другой, молодых поучали дружно и от души — и в одежде, и в манерах, и в мыслях... Теперь же старшие помалкивают, точно боятся молодых.

Анна Васильевна пошарила в почтовом ящике. Письмо. Нет, сложенный вдвое тетрадный листок. Она развернула...

Синий череп, нарисованный жирным фломастером. Синие глазницы, синий крест костей. Мальчишки хулиганят.

Она поднялась на свой этаж и вошла в квартиру.

Пятидесятые годы... А может, дело в другом? У тех-то, старших, были за плечами война, блокада, потери, труд тяжкий — имели право поучать. А у теперешних старших, у тридцатилетних-сорокалетних, что за жизнь? Что они видели? Тоже родителями возвращены на беззаботном житье. Нет у них морального права учить молодежь. Взять хотя бы мужа... Руки хорошие,

а выпивает. Станет его слушать молодежь? Вот такие старшие и сидят, помалкивают...

Анна Васильевна хотела заняться домашними делами, но зазвонил телефон. Она взяла трубку.

— Слушаю.

В трубке молчали, но было слышно шумное дыхание.

— Слушаю-слушаю, — повторила она громче.

— Молилась ли ты на ночь, Дездемона? — грубо спросил мужской голос.

— Что за глупая шутка!

— Письмо мое получили?

— Какое письмо?

— Синее.

— Получила, — зачем-то подтвердила она.

— Тогда молитесь и ждите.

— Ну-ну, я тебе похулиганю!

Трубку бросили. У Анны Васильевны сразу заболела голова. Пришлось принять таблетку. Через полчаса голова прошла, оставив лишь какой-то неясный гул в затылке.

Так и не дождавшись мужа, Анна Васильевна хотела сесть пить чай, но услышала странный звук — не то вой, не то плач. Она глянула на чайник. Казалось, звук шел сверху, с потолка. Водопроводные трубы? Они иногда поют и плачут... Анна Васильевна покружилась на кухне — звук пропал. Но тут же заныл вновь — протяжно, жутковато. И шел этот стон из передней, как бы отрезая путь. Она посмотрела на темное, показавшееся страшным окно. Но здравая мысль подбодрила — надо включить свет в передней.

Она бодро прошла к выключателю и щелкнула. Стон, точно ждал света, усилился. Шел он от двери, из-под двери. Мальчишки балуются? Пьяный упал? Или приступ у сердечника? Анна Васильевна взялась за замок и почувствовала, как ее бодрость отлетает прочь, — каким-то образом кража, напряжение в милиции, синий череп и угрожающий звонок слились воедино, в страшное, в предвещающее...

Она открыла дверь и отступила, задохнувшись, — перед ней стояло привидение. Белая шаткая фигура, прямоугольная серая голова с черными глазами-прорезями... Анна Васильевна еще на шаг отступила. Привидение двинулось за ней в переднюю.

Петельников стирал.

Дабы не выбрасывать порошок «Лотос», он на свой страх и риск мешал его с «Лоском».

Заглазно, а иногда и прямо в лицо сотрудники называли его суперменом. Якобы шутя. Разумеется, шутя. За удачливость в работе, за выносливость и силу, за любовь к хорошим вещам и красивой одежде, за неистребимый юмор; а может, за тот шик, с которым подъезжал он к райотделу на своем солнечном «Москвиче» — прижавшись колесом к поребрику так, что резина пела от радости; окошки раскрыты, замшевая куртка брошена на сиденье, из стереопроигрывателя журчит божественная музыка.

Упавшая на воду простыня надулась цирковым куполом...

Супермен так супермен, хотя что за супермен? Сверхчеловек, но почему «сверх»? А как зовется человек, живущий на пределе физических и духовных возможностей, прессующий время, чтобы из одной жизни выкроить две или даже три?.. Чтобы получать удовольствие от любого дела и от каждой прожитой минуты? Неужели это «сверх», а не норма?

Вода убежала, оставив пену, которая никуда убежать не собиралась...

Жить нормой? Допустим, утро... Можно встать часов в восемь, в девятом, торопливо бриться-мыться, обжигаясь, пить чай, потом вяло ехать в автобусе, хмуро войти в свой кабинет... А ведь можно встать в шесть, надеть голубой тренировочный костюм, пробежать парком километра три-четыре по безлюдным аллеям, по желтым листьям, встревоженно шелестящим под кроссовками; потом дома поработать гантелями до сладкой истомы в мышцах; встать под студёный душ, отчего тело краснеет и приобретает легкость; побриться медленно, до блеска и пощипывания кожи от одеколона; выпить стакан сока, съесть кусок отварного горячего мяса с двумя помидорами, с горчицей и черным хлебом, сварить кофе; надеть светлые брюки из плащовки, хлопчатобумажную рубашку небесного цвета; сесть в машину, слушать музыку и ехать по улицам города, чувствуя от всего этого прилив сил и радость...

Супермен... Супермены не стирают.

Он давно решил не пользоваться услугами бытовых

организаций. Сам ремонтировал телевизор и холодильник, клеил обои и циклевал пол, менял краны и стеклил окна. Даже ботинки чинил. Вот и стирку освоил, поскольку дело это мужское, мускульное. Осталось научиться шить да штопать.

Супермен... Супермены не штопают.

Звонили телефонные аппараты. Петельников подошел к ближайшему, к кухонному.

— Слушаю.

— Футбол смотришь? — спросил дежурный райотдела с явным сочувствием, потому что определенно намеревался прервать это занятие.

— А как же! — радостно подтвердил Петельников, понимая, что ему не спастись.

— Ехать надо, Вадим, — вздохнул дежурный.

— Кража?

— Не пойму. Опять нападение на квартиру Смагиной. Там уже участковый инспектор.

Петельников переложил мокрую трубку из одной руки в другую, давая себе несколько успокаивающих секунд.

— Еду.

Он глянул в ванную, на ставшие вдруг ненужными горки крученого белья. Но догадка уже тлела, одна из тех, что зарождаются так далеко от сознания, что оно его не принимает...

Он включил «Болеро» Равеля. И автомобиль, как будто уловив караванный ритм музыки, пошел ровно и монотонно...

Смагина сидела на диване и плакала. Посреди комнаты хмуро переминался участковый. Больше никого не было.

— Что случилось? — спросил Петельников, удивившись какой-то виноватой нотке в своем голосе.

— Я буду на вас жаловаться...

— И все-таки что случилось? — повторил он.

Анна Васильевна всхлипнула.

— Отпустить преступника...

— Это был он?

— А кто же! — взвилась Анна Васильевна. — В белом балахоне, в маске.

— Пластиковый мешок с прорезями?

— Ага, знаете! Видать, я не первая жертва.

— Что он сделал?

— Ворвался в квартиру, вот что!

От вспыхнувшей злости Анна Васильевна забыла про слезы. Она комкала ненужный теперь платок — только круглое лицо разгоралось румянцем.

— Зачем он ворвался в квартиру?

— Зачем еще — грабить!

— Взял что-нибудь?

— Нет, не взял.

— Тогда зачем приходил?

— Да на меня напасть!

— Он вас ударил?

— Нет, но угрожал...

— Чем угрожал?

— Снял свой мешок и размахивал перед моим носом, как тряпкой.

— Угрожал-то чем?

— Ну, не угрожал, а обзывал.

— Как?

— По-разному. Подлой, жлобкой и даже... как ее... бизнесменкой.

— Для того и приходил?

— А разве мало? Ворваться в квартиру и оскорблять человека?

Подобного Петельников не мог и припомнить. Чтобы вор, раскрытый и доставленный в милицию, вышел из отделения и тут же отправился к потерпевшей скандалить... Прийти, чтобы назвать женщину подлой. Болел, глуп или безгранично нагл?

Петельников рассеянно оглядел комнату, которую он хорошо помнил со дня осмотра. Какая-то мысль, тоже рассеянная, вдруг стала мешать свободному разговору со Смагиной...

Сначала необычные кражи, потом необычное поведение. Вор, злоба. Почему он стал вором, нужно изучать специально. Но откуда злоба? Воровства, как правило, стыдятся. Но может быть и другое, совсем другое...

Петельников торопливо, словно боясь продолжения своих мыслей, глянул на Смагину — этой плачущей женщине он тоже верил.

— Анна Васильевна, почему вы спрятали деньги так тщательно, в белье?

— Хозяйки всегда туда прячут.

— А почему золотые часы спрятали в вазу из-под цветов?

— Не валяться же им на видном месте...

— А почему золотое кольцо спрятали в корзинку с питками!

— Господи! Почему, почему... Да вот потому! От тех самых воров, которых отпускает милиция.

— Что ж, вы этого вора ждали?

— К чему вы клоните?

— Выясняю.

— Я буду жаловаться. Главному прокурору! — пресекла она дальнейшие вопросы.

Но Петельников и сам заспешил — к Вязьметинову. Выходило, что зря он его отпустил. И новые вопросы к нему накопились.

На другом конце дивана, в подушечках и пледах, глухо заворчал телефон. Смагина не шевельнулась, разглядывая капитана с откровенной неприязнью.

— Звонят, — подсказал участковый.

Анна Васильевна нехотя потянулась к аппарату, отчего ей пришлось почти лечь на диван своим коротким, туго запеленутым в халат телом. Она взяла трубку и слушала немо, затем придвинула телефон к Петельникову:

— Вас.

— Вадим, в райотдел поступило заявление, — сказал дежурный.

— Ты не можешь меня дождаться или отложить на завтра?

— Тебя оно заинтересует... Подросток сбежал из дому, Вязьметинов.

14

Милицейский «газик», казалось, устал от верчения по улочкам, походившим на тонкие просеки; по всем этим Хвойным, Еловым и Лиственным. И встал, как обессиленный, у зеленой калиточки, словно сплетенной из свежесрезанных прутьев.

Полдня Леденцов отсидел в кабинете, названивая по разным телефонам. Информация добывалась порциями. Сперва он установил, что Воскресенский не значится ни в академиках, ни в членах-корреспондентах; потом узнал, что в педагогическом институте есть профессор Воскресенский; затем нашел номер телефона его квартиры, где сообщили, что профессор работает за городом; не без труда разузнал адрес дачи.

Зеленая калитка оказалась незапертой. Леденцов

пошел по усыпанной гравием дорожке к дому, закрытому ветками яблонь и щетинкой двух лиственниц. Ему почудилось, что один из кустов сполз с места и двинулся ему навстречу. Оказалось, что это высокий худой старик с охапкой цветов в руках.

— Срезал поздние астры, — поделился старик с Леденцовым, как со старым знакомым.

— Виктор Петрович Воскресенский?

— Да.

— Я к вам по делу, — сказал Леденцов, доставая удостоверение.

Воскресенский в него не посмотрел, укладывая астры на струганные доски стола, врытого в землю. Ни квадратных очков, ни белых волос до плеч — короткая стрижка, суховатое загорелое лицо, высокий лоб, спокойные молодые глаза. Стройотрядовская куртка со стертыми буквами на спине, белесые джинсы, кеды. Он походил на студента. Старик-студент.

— Мои владения осмотрите?

— С удовольствием, — обрадовался Леденцов.

— Правда, в саду уже все осыпалось и поникло...

Они прошли по дорожке, выстланной мутно-зеленым яблоневым листом. Перед внушительным деревом профессор остановился:

— А? Каково?

Листья с него почти облетели, и на мокрых темных ветках остались одни яблоки — антоновка, крупная и желтая.

— Чудеса, — согласился Леденцов, приготовившись к другим, еще более невероятным чудесам.

— А это? — Воскресенский шагнул через не тронутые осенью какие-то зеленые метелки.

Круглый, словно вычерченный циркулем прудик с темной осенней водой. Берега ровненько зацементированы. Алюминиевая лесенка, как в бассейне, приторочена к боку и уходит глубоко, до самого песчаного дна. Утиная пара облетела сад и с нахальным шумом опустилась на воду, выставив вперед лапы, как самолетное шасси.

— Дикие, второй год у меня живут.

— А под домом бассейн? — хитренько спросил Леденцов.

— Зачем?

— С подогревом, с пляжем...

— Я здесь купаюсь все лето. На теплицу глянете?

— Почту за честь, — вспомнил Леденцов слова, подобающие для разговора с ученым человеком.

Они пошли меж яблонь по странной, заготулистой тропке: рядом не было ни глухого леса, ни топкого болота, но их путь был усыпан еловыми иголками и крепкими шишками, желтели широкие, будто бумажные, папоротники и поблескивали маленькие валуны — тропка огибала их аккуратными петельками. Леденцов догадался, что эта лесная дорожка рукотворна.

— А там стоит машина? — спросил он про сарайчик, похожий на громадную коробку из-под торта.

— Какая машина?

— С телефоном...

— Я, молодой человек, личный автомобиль презираю как таковой. Он делает человека бездельником. Ему ничего другого не остается, как ездить на работу да обхаживать свой автомобиль. Я не могу так безбожно терять время. Я же, пока еду в электричке, прочитываю статью.

— Виктор Петрович, вы слишком расширительно толкуете понятие «бездельник».

— Для меня бездельник не тот, кто не работает, а тот, кто живет спокойно.

Перед ними светилось стеклянное сооружение на кирпичном фундаменте. Они вошли. Влажный, почти банный воздух обдал их. Запах мокрой земли, травы, цветов, какой-то пряности. И влага, влага...

— Дождь идет?

— Я сконструировал установку искусственного тумана. Вот помидоры, огурцы, кабачки.

— А это что? — Леденцов показал на зеленую дубинку.

— Индийский огурец. А это чайот, мексиканский огурец. Вот сладкий перец...

Они бродили во влажном тумане. Свисающие стебли касались лица, как мокрые червяки. Со стекла срывались тяжелые матовые капли и падали Леденцову за шиворот. Он вспотел в своей непродуваемой куртке. И когда они склонились над каким-то лотком с шампиньонами, он спросил:

— Виктор Петрович, а лимоны плюс ананасы?

— Для такой экзотики тепла не хватит.

— Скажем, орхидеи...

— В июле у меня цветут серебристые розы «нюндаун» с умопомрачительным запахом...

Они вышли на дневной воздух и двинулись к дому. Под пихточкой Леденцов кивнул на врытый в землю пинг-понговый стол.

— Играете с дочкой?

— Она вечно занята.

— Школьница?

— Почему школьница?.. Двадцать шесть лет, в науке пашет.

Дом, островерхий и какой-то приподнятый, удивил его ставнями, резным крыльцом и неожиданным шпилем. Голые плети ползущих растений почти достигали крыши. Жужжало несколько флюгарок.

— А крышей, наверное, солнышко ловите? — не сдавался Леденцов.

— Каким образом?

— Ну, при помощи солнечных батарей...

Воскресенский глянул в лицо оперуполномоченного с внезапным интересом. Леденцов довольно улыбнулся — заинтересовал-таки он профессора.

— У меня на крыше шифер. Прощу!

Они вошли в дом и оказались в обширной комнате с четырьмя окнами, с камином, с широкой лестницей на верхний этаж. Все простенки были заставлены книгами и завешаны цветными фотографиями деревьев, цветов, фруктов; вот и пруд-бассейн синее с двумя утками. Длинная узкая тахта могла, впрочем, иметь и другое, неизвестное лейтенанту название.

Леденцов осторожно ступил на палас и подошел к камину. Огонь не горел, но было видно, что камином пользуются; вот и два кресла-качалки, в которых, наверное, профессор спорит с оппонентами.

— Садитесь, молодой человек, — предложил Воскресенский, занявшись небольшим овальным столиком.

Лейтенант сел и огляделся. Его тревожило странное чувство. С одной стороны, информация Вити Тюпина не подтверждалась — не было ни подземного бассейна, ни орхидей, ни автомобиля с телефоном; с другой стороны, Леденцов все больше убеждался в правильности сказанного подростком. Все было не так и все было так.

Подъехал овальный столик, он был на колесиках.

— Выпьем чайку с вареньем из лепестков жасмина, а? — почти заговорщически предложил профессор.

— Можно, — вяло согласился Леденцов.

— Чай не любите? Тогда кофе? — Воскресенский уловил разочарование гостя.

— Мало ли что я люблю, — тоже заговорщически ответил Леденцов.

— К сожалению, спиртное не держу.

— Я имел в виду не спиртное.

— А что?

Воскресенский даже сел, заинтересованный скорее всего нахальством гостя.

— Скажем, копченые язычки индейки или мясо кхэ...

— Мясо... как?

— Кхэ.

— Что это такое?

— Черт его знает.

Профессор опять посмотрел на гостя с интересом и задумался, не спуская с него молодых ясных глаз. Леденцов выдержал его взгляд с чистой совестью: хорошо, нет солнечных батарей на крыше, но жужжат четыре флюгарки; нет подземного бассейна, но есть бетонированный прудик с двумя утками в саду; не растут в теплице ананасы, но висит какой-то чайот... Нет мяса кхэ, но наверняка будет мясо кхю или рыба кхя.

— Молодой человек, а вы из какой школы?

— Я не из школы.

— Из отдела народного образования?

— Почему вы так решили?

— Потому что я специалист по воспитанию и ко мне частенько наведываются коллеги из школ, — с заметным раздражением ответил Воскресенский.

— Я из милиции.

— То-то вопросы дурацкие задаете.

— Виктор Петрович, они только пока вам не понятны.

— Я и говорю — дурацкие. Так слушаю.

Он заметно поскущел, переведя этого рыженького паренька из разряда гостей в разряд случайных посетителей, вроде водопроводчика или страхового агента. Чай был, видимо, отставлен.

Начиная опрос, Леденцов всегда сомневался — каким быть? Оперуполномоченным уголовного розыска, лейтенантом милиции — или быть самим собой? Он не раз видел, как допрашивают опытные следователи: сурово, логично, с какой-то незримой давящей силой. Так бы надо и ему, коли он лицо официальное. Но вот капитан Петельников ни в кого не перевоплощался, вы-

спрашивая и просто, и весело, и сурово, и прятельски... Как Леденцов ни старался быть официальным, его опросы граждан вскоре превращались в разговор, в котором он становился самым собой. Ну, может быть, чуточку похожим на капитана.

— Виктор Петрович, есть у вас родственник Саша Вязьметинов?

— Нет.

— Может быть, сын друзей или приятелей?

— Нет.

— Просто знакомый подросток...

— Нет.

— Но он вас знает.

— Меня знают тысячи подростков.

— Саша Вязьметинов... — начал было Леденцов.

— Впервые слышу, — отрубил Воскресенский.

— А забыть не могли?

— Молодой человек! Мы так говорим: если можешь думать — думай, если не можешь думать, то пиши, а если не можешь ни думать, ни писать, то хоть иногда повязывай вместо галстука носок.

— Зачем носок?

— Надо хоть как-то оправдывать звание ученого и рассеянного человека... Так вот я на память еще не жалуюсь и носок еще не повязываю. А давайте-ка мы растопим камин...

Потом они ели парниковые помидоры и этот самый чайот — с солью, подсолнечным маслом и черным хлебом; пили чай с разными пахучими вареньями, в том числе и с жасминовым. Каминный огонь приятно грел плечо, березовые полешки горели сухо, чуть пахло дымком, запах которого был Леденцову приятнее, чем вареный жасмин. Профессор рассказывал бесконечные истории из своей ранней, еще учительской жизни...

У калитки, провожая гостя, Воскресенский улыбнулся:

— Милицию гном, точнее гномик, интересует?

— Если он нарушает закон...

— Нет, не нарушает. Второе лето по даче бродит. Нахожу следы на грядках, в теплице, даже в доме...

— Вы его видели?

— Нет, гномики же крохотные.

— А следы какие?

— Сорок первого — сорок второго размера.

Петельников опять сидел в приземистом мягком креслице под портретом Макаренко и ждал классную руководительницу — ту, молодую, одну из трех.

Искать взрослых он умел. Преступник скрывался, чтобы избежать наказания или хотя бы его оттянуть. У подростка мог быть и другой мотив побега, непредсказуемый и крайне неожиданный. Тем более у этого Вязьметинова. Как понять мотив побега, когда они в мотивах краж не разобрались?

Классная руководительница вошла торопливо и шумно. Сумка, кипа тетрадей, бумаги... Свалив все на стол, она поспешила к гостю.

— Извините, что заставила ждать.

— Ждать, догонять и расспрашивать — моя работа.

— Кто бы мог подумать, а? — спросила она уже о Вязьметинове.

— Наверное, вы.

— Почему я?

— Классный руководитель, хорошо его знаете.

— Ах, в этом смысле...

— Только в этом.

Она поправила и без того хорошо уложенные волосы и нахмурилась, готовясь к разговору. Петельников поймал себя на необъяснимой робости перед этой тридцатилетней женщиной. Неужели школьные стены излучают свою, не забытую им энергию; неужели понятие «учитель» отпечатывается на всю жизнь?..

— Как вас зовут?

— Лариса Владимировна.

— Русский и литература?

— Да, самые трудоемкие предметы.

— Лариса Владимировна, расскажите о Вязьметинове.

— А знаете, нечего рассказывать.

— Совсем?

— Заурядный подросток. Как говорится, без искры божьей.

Чтобы полюбить человека, нужно его знать; чтобы оценить, сдружиться, уважать и прийти к пониманию, нужно человека знать; чтобы породниться, сделаться близким, нужно человека узнать. Но вот оказалось, что и успешный розыск беглого подростка нельзя вести без знания его личности...

— Учится средне, от общественной работы отлынивает, к литературе равнодушен...

— А к жизни? — задал он вопрос, наверно, очень странный по отношению к подростку.

— Не знаю, я учу своему предмету.

— А жизни? — упрямо повторил он.

— Вопросик ваш, знаете ли, академический...

Она вежливо улыбнулась, показывая, что на подобные вопросы отвечать не принято.

Петельников помнил своих преподавателей, которые учили литературе, химии, математике... С годами литература, химия и математика выветривались, но вот образы учителей живы до сих пор. Они запечатлевались в сердце. И больше всех знаний ребят интересовали личности этих биологичек и русичек, химиков и физруков: как они говорят, что думают, с кем дружат, куда ходят, что у них за мужья-жены... Не столько знаний жаждали ребята, сколько хотели научиться жить.

— Предмет — это лишь повод для воспитания, — высказал он внезапно пришедшую мысль.

— Как вы сказали?

Она сморщила носик, и тот побелел.

— Я хотел спросить, любит ли он ваш предмет?

— Ему скучно.

— А почему?

— Он, видите ли, не согласен с толкованием образов классической литературы.

— Каких?

— Сейчас не помню. Да всех. И Онегина, и Раскольникова, и Отелло...

— Я тоже не согласен, — вздохнул Петельников.

Она рассмеялась, как хорошей шутке.

— С чем вы не согласны?

— Негуманная она.

— Кто? — удивилась учительница.

— Классическая литература.

— Литературу, ценимую главным образом за гуманизм, вы называете негуманной?

— Лариса Владимировна, возьмите упомянутого вами Онегина... Убийца. Почему же герой романа он, а не Ленский? И где сострадание к Ленскому, к убитому? Раскольников. Тоже убийца, тоже изучается писателем. А убиенные женщины? Где к ним жалость? Отелло? Опять убийца. А Дездемона, а сострадание к ней? Этот ряд я мог бы удлинить.

— Извините, у вас подход законника...

— А я и есть законник. Меня всю жизнь учили ценить и охранять человеческую жизнь, Лариса Владимировна. И когда я выезжаю на убийство, то жалею убитого, а не убийцу.

— Законник, — повторила она.

— Лариса Владимировна, почему же Вязьметинов скучал? Ведь литература — предмет веселый.

— Не веселый, а серьезный, — обрезала она.

Петельников в ее глазах пал окончательно. Неумение поддакивать ему часто вредило.

— Саша на всех предметах скучал, — добавила она.

— Может, занятия нудные? — вырвалось у Петельникова.

— Я, знаете, даю урок, а не эстрадное представление!

Но он перед учительницей уже не робел, перед ним сидела в кресле и морщила носик одна из тех, которые под воспитанием понимают нотации, правила, допросы, слежки, проверку сумок и карманов...

— Я проводила внепрограммные уроки, — заговорила Лариса Владимировна обидчиво. — В прошлом году была дискуссия на тему «Все мы будущие матери и отцы». А этот учебный год начала с сочинения «Кем быть?».

— И кем они хотят быть?

— Очень интересные данные, я их даже помню. Девять человек — космонавтами, восемь — каскадерами, пять — дипломатами, шесть — писателями, семь — балеринами... Ну и так далее.

Она смотрела на него с гордостью; видимо, ожидая похвалы. Или восхищения? Но Петельников спросил:

— А кем захотел быть Вязьметинов?

— Это, кстати, его характеризует... Написал, что хочет стать батюшкой, чтобы у него была толстая матушка.

— И что вы сказали?

— Вязьметинову?

— Нет, ребятам.

— Похвалила, естественно.

Он взглянул в окно, в школьный сад, еще не совсем облетевший — город согревал его своим теплом. Листья были собраны в вороха. Стволы выбелены ярко, приствольная земля окопана. Кусты подрезаны, сорняков нет. Ребята постарались. И ни один не написал в сочи-

нении, что хочет быть садовником или садоводом? Впрочем, как напишешь, когда рядом строчат о космосе да о сцене. Проще выдать про батюшку с ма-тушкой.

— Зачем вы их обманули, Лариса Владимировна? — тихо укорил Петельников.

— Я не понимаю...

— Неужели девять человек станут космонавтами? Или все семь девочек балеринами?

— Хотя бы одна, да станет.

— А остальные шесть? Зря потраченные годы, разочарование, а то и поломанная жизнь...

— Мы должны приучать к мечте!

— И говорить правду мы должны.

— Какую? Что не у всех есть способности?

— Эту тоже. Но и главную правду — обществу не нужно столько балерин, артистов и каскадеров.

— И тогда ребята, по-вашему, восплают желанием стать слесарями, токарями и обувщиками?

— Не знаю, восплают ли... Но, вступая в жизнь, молодой человек обязан считаться с потребностями общества.

Петельников взглянул на часы. Почему эта классная руководительница его не гонит? Дело оперуполномоченного уголовного розыска — расспрашивать о преступлении, бегать, ловить, хватать, разузнавать, а не вести педагогические дискуссии.

Он встал.

— Лариса Владимировна, последний вопрос... Почему Саша Вязьмеинов пошел на преступление?

— Откуда же мне знать?

— А почему Онегин застрелил Ленского, знаете? Конечно, знаете. И почему Отелло задушил Дездемону — тоже знаете. А почему ваш ученик Саша Вязьмеинов обокрал квартиры — не знаете. А?

Она тоже встала. Носик ее побелел морозно.

— Вы не сотрудник милиции, а демагог.

— Да ведь вы тоже не учительница, — добродушно улыбнулся он. — Вы не учительница, а поучительница.

Приресторанный бар казался сумрачной расщелиной: узкий, светильники притушены, темное дерево стен выглядит иконописным, табачный дым съедает

остатки света... Только за стойкой белесет яркая полоса, в которой барменша творит свои коктейли и чашечки кофе.

Леденцов разглядел — муж потерпевшей Анны Васильевны Смагиной сидел в самом конце стойки, в конце бара, как в серой норе. Но свободных мест рядом с ним не было.

Вчера капитан Петельников, когда они мимолетно встретились, рассеянно спросил: «Интересно, что поделяет вечерами муж Смагиной». Леденцов знал приказную силу этих рассеянных вопросов. И сегодня он уже смог бы ответить, что вечерами муж Смагиной сидит в серой мгле приресторанного бара и пересчитывает годовые древесные кольца на полированной стойке. Надо бы подсесть. Останавливало опасение, что Смагин узнает.

Леденцов прошел в ресторанный вестибюль, в тихий уголок. Для таких моментов был припасен тонкоматерчатый берет, который натягивался на голову, как чехол, и закрывал запоминающуюся шевелюру до единой волосинки. И темные очки, и сумка через плечо. Полумрак в баре завершит маскировку.

Леденцов вернулся в бар и сразу увидел, что рядом со Смагиным освободились два места. Он сел на круглое высокое сиденье.

— Шоколадный коктейль и кофе, пожалуйста.

Появление нового соседа Смагина не привлекло. Он хмуро, но с прочувствованным вниманием следил за своей пустой рюмкой, будто видел в ней то, что другим было не разглядеть.

Леденцов отпил коктейль. Разбуженный этим действием соседа, Смагин повернул голову и сказал негромко, но со значением:

— У киоска «Соки — воды» стоят хмурые народы.

— Выпить не на что? — обрадовался Леденцов поводу.

— Не проблема.

— А в чем проблема?

— Выпьешь со мной?

— Можно, — согласился Леденцов, который не выносил даже запаха алкоголя.

Смагин уставился на барменшу — та послушно обратилась к нему:

— Да, Анатолий Семенович...

— Веруша, еще две рюмки.

Вот как: «Анатолий Семенович», «Веруша»... Свой человек. Значит, пасется тут постоянно.

Смагин пил только коньяк. И когда он запрокинул рюмку для глотка, Леденцов скоренько выплеснул свою в коктейль, чмокнул, якобы от удовольствия, и отхлебнул кофе.

— Тайна во мне сидит роковая, — признался Анатолий Семенович, приглаживая жидкие волосы.

Леденцов равнодушно отпил кофе, но внутри все натянулось от сдерживаемой радости. В конце концов кто такой оперуполномоченный уголовного розыска, как не охотник за тайнами?

— Ты меня не заложишь? — вдруг спросил Анатолий Семенович.

— Ну, если вы человека убили...

— Не пыли! Моя фамилия Смагин. Но я не Смагин.

— А кто же вы?

— По паспорту — Смагин. А по существу совсем другой. Вот где зарыта моя тайна...

— Кто же вы? — упрямо переспросил Леденцов.

— Моя настоящая фамилия гнусная.

— Вообще-то не в фамилии дело...

— А вернее, звериная.

— Полно звериных фамилий — Зайцевы, Волковы, Львовы...

— У меня шакальная.

— Шакалов, что ли?

— Если бы Шакалов, а то ведь Шакало.

— Как же ее поменяли?

— Взял фамилию жены. Не позор ли? Мужик носит женину фамилию. Веруша, еще по одной.

— Из-за фамилии и пьете?

— Ты, парень, женат?

— Нет.

— Тогда не поймешь.

— Но жениться собираюсь, — испугался Леденцов упустить контакт.

— Ответь-ка, почему куры с петухами живут дружно?

Леденцов, знавший кур лишь по бульонам да по цыплятам-табака, замешкался с ответом.

— Потому что петух один, а куриц много, — нашелся-таки логичный ответ.

— Потому что найдет петух зерно, позовет кур, и они бегут, слушаются, не обсуждают.

— Из-за супруги пьете? — догадался Леденцов.

Смагин придвинулся и шепнул:

— Она не живет, а сидит в засаде.

— Как — в засаде?

— Ждет, чтобы я загулял, запил, закуролесил... Тогда ей радость, поскольку сбылись ее предсказания.

— А вы не дайте им сбыться — не куролесьте.

— Молоток ты, парень, но до кувалды тебе еще далеко. Веруша, еще два раза по полтинничку!

Глаза Смагина под отяжелевшими веками боялись упустить покладистого собеседника.

— У Анны паучья любовь, — с гордостью сообщил Смагин, выжидая, что собеседник непременно удивится.

— В каком смысле? — Леденцов попробовал удивиться непринужденно.

— Есть паучихи... с крестом на спине... своего законного супруга сжирают в буквальном смысле. Ничего себе любовь, а?

Леденцов знал, чем кончается паучья любовь. Выезды на квартирные скандалы — отравления уксусом, повесившиеся на бельевой веревке, разбитые сковородками головы и просто вышибленные стекла с душераздирающими криками — все это она, паучья любовь.

— И вы терпите эту паучью жизнь? — удивился Леденцов.

— Я тоже ей жизнь осложняю.

— Как?

— Допустим, золотые часики дамские лежали себе и лежали, да убежали.

Леденцов отвернулся, чтобы выдохнуть свободно. Казалось, что весь слитый в бокал коньяк испарился и ударил ему в голову. Он еще раз выдохнул, освобождаясь от этого коньячного наваждения, и беззаботно повернулся к Смагину-Шакало:

— Жена ведь заявит в милицию...

— Моя милиция меня бережет.

— В каком смысле, Анатолий Семенович? — не удержался Леденцов от елейного тона.

— Задействована одна хитрая комбинация с помощью той же милиции.

— А ну как милиция решит, что вы украли?

— У собственной жены, совместно нажитое? Пусть решают, дуракам закон не писан...

17

Петельников знал: большинство испорченных подростков из неблагополучных семей.

Но тут в передней висели полочки, эстампики, тростниковые циновочки. Пахло только что сваренным, похоже, куриным, супом.

— Капитан Петельников, из милиции, — представился он.

— Нашли? — спросила мать неуверенно.

— Пока нет.

— Проходите, — тяжело засуетился отец, принимая куртку гостя.

Его провели в большую комнату. Он сел на широкую тахту и огляделся. В голову невесть отчего пришли шахматы, хотя ни доски, ни фигур он не видел. Петельников давно приучил себя не уходить от мимолетных мыслей, вернее, от неокрепших мыслей и впечатлений, которые в сознании шмыгают свободно и бесцельно. Он еще раз оглядел комнату.

На овальном полированном столе ничего не было, кроме хрустального блюда, стоявшего ровно посредине. У противоположной стены бурела еще одна такая же тахта, вытянувшись параллельно первой. Четыре приземистых кресла насупились по четырем углам. Темная «стенка», разделенная на равные мелкие ниши, казалась пустыми сотами. Кактусов на подоконнике было три: большой посредине и два маленьких по бокам. Шахматный порядок.

— Никаких сигналов о его местопребывании не поступало? — начал Петельников.

— Пока нет, — ответила мать.

— Родственников у вас много?

— Только на Украине, но мы уже звонили...

— Почему Саша пустился в бега? — прямо спросил оперативник.

— Сами в недоумении. — Растерянное лицо матери это недоумение подтверждало.

— Может, дома что случилось?

— У нас всегда спокойно и тихо.

— С жиру бесятся, — добавил отец. — Все есть, а силушку девать некуда.

Родители стояли, поэтому говорить с ними было неудобно. Не гостю же предлагать места хозяевам? Петельников догадался: втроем на тахте сидеть неудобно, а разойтись по углам к креслам и выкрикивать оттуда было бы затруднительно и смешно.

— Раньше что-нибудь подобное случалось?

— Никогда, — убежденно заявила мать.

— В прошлом году Сашка надел печатку, — вспомнил Вязьметинов.

— Какую печатку?

— Из алюминия, с черепом и костями.

— Вы разузнали, зачем носит?

— Что тут узнавать... Взял молоток и расплющил.

— В том году еще было озорство, — добавила мать. — Обрился наголо.

— До синевы, — подтвердил отец.

— Зачем?

— Приятеля его, восемнадцатилетнего, взяли в армию, остригли. Так он в знак солидарности.

— Маленькие детки — маленькие бедки, большие детки — большие бедки, — вздохнула мать.

— А где Саша живет? — спросил Петельников, потому что в этой гостиной он наверняка не жил.

— У него своя комната.

— Все путем, — добавил отец.

— Разрешите взглянуть...

В десятиметровой комнате стояли письменный столик, легкий диван, узкий шкафчик и проигрыватель на низенькой тумбе. Стол пустовал, на диване и газетки не валялось, проигрыватель накрыт салфеткой... Ни книг, ни спортивных принадлежностей, ни отвертки, ни оброненного журнала... Жилье подростка? Келья.

— Ежедневно прибираю, — Вязьметинова перехватила его догадку.

Они вернулись в гостиную.

— Чем ваш сын интересуется?

— А ничем, — сразу ответил Вязьметинов.

— Так-таки ничем?

— Спокоен ко всему, как стальная болванка. Не пилит, не стругает, не мастерит...

— Даже телевизор с нами не смотрит, — вставила жена.

— Странно, — заметил оперативник, хотя в душе странным все это не находил.

Человек жив любопытством. Молодость определяется не годами, а степенью любопытства. Нелюбопытный подросток — тот же омоложенный старичок из сказки...

Но Петельников вспомнил глаза Саши Вязьметинова — темные, быстрые, живые.

— У нас под городом садоводство... Верите ли, не заманить, — сокрушалась женщина.

— И к природе равнодушен? — не поверил оперативник.

— Критикует все, — обидчиво бросил отец.

— Мы сажаем картошку, овощи, яблоки есть... И ему грядку отвели — трудись на здоровье. А он, видите ли, хотел бы камин, теплицу с туманом, тропические розы, бассейн...

— С утками, — подсказал Петельников.

— Верно, с утками, — удивилась она.

Теперь родители смотрели на оперуполномоченного боязливо, словно он подслушал их мысли.

— А почему бы вам не сложить камин? — неожиданно спросил Петельников.

Родители переглянулись.

— Это баловство, — объяснил Вязьметинов.

— В нем супу не сварить, грибов не высушишь.

— Зато хорошо сидеть в креслах, смотреть на огонь и рассказывать занимательные истории, — поделился Петельников, словно он сам, а не Леденцов бывал у профессора Воскресенского.

Вязьметиновы недоуменно молчали. Петельников ощутил не то сильную скуку, не то многодневную усталость. У него вдруг пропало то самое любопытство, которым жив человек и жива его работа. Но тут же догадался, что это и не усталость, а злость, подспудная злость.

Петельников оглядел топтавшихся родителей. Он в лыжном костюме, она в халате; он высокий и плотный, она худенькая и нервно трепещущая, что ли... Разные, но походившие друг на друга, как родственники. От совместной жизни? От общей заботы, поровну легшей на их лица? Но не забота же, столь естественная у родителей, злила его? Может быть, дело в их глазах, слишком быстрых, пытающихся угадать, откуда им ждать опасность?..

И Петельников мрачно вздохнул, догадавшись... Уго-

довная история и визиты милиции тревожили Вязьмитиновых куда сильнее, чем исчезновение сына.

— Как вас зовут? — внезапно спросил Петельников у отца.

— Дмитрий Сергеевич.

— Дмитрий Сергеевич, что вы делаете в понедельник?

— В какой?

— В любой, в обычный...

Петельников смотрел в настороженные глаза отца и думал о словесном портрете, которого они добивались от свидетелей. Вот попроси его описать Вязьмитинова, и он не смог бы — до того все непередаваемо заурядно. Круглые щеки, нормальный подбородок, прямой нос... Видимо, сын походил на мать — то же узкое лицо, те же быстрые темные глаза.

— В понедельник прихожу с работы, ем, смотрю передачу — и спать.

— Во вторник?

— Прихожу с работы, перекушу, врублю телевизор...

— А в среду?

— И в среду так.

— А в четверг и пятницу?

— Дорогой товарищ, у меня работа с металлом.

— Ну а в субботу?

— В субботу, как правило, работаю.

— А в воскресенье? — упорствовал оперативник.

— Это мое. Еду в садоводство.

— В то самое, куда Саша не ездит?

— Не ездит, стервец.

— Когда ж вы с ним общаетесь?

— Да хоть когда... Едим вместе.

Петельников вообразил, как они вместе сидят за столом. Молча, значительно, с разговорами типа «передай соль». Не обедают, а насыщаются. Есть ли польза от такого общения?

— Дмитрий Сергеевич, а вы шутите?

— В каком смысле?

— Острие, смешите, озорничаете, хохмите...

— Знаете, мне не до шуток, — рассердился Дмитрий Сергеевич. — Работа, план, семья. Рассиживаться в креслах у каминов недосуг.

Петельников не знал, какое место занимает юмор в педагогических теориях. Но из школьных учителей он

ярче всего помнил веселого химика; удачливым сыщиком был, как правило, остроумный человек; лучше других руководил тот начальник, у которого было чувство юмора... И дружил Петельников с людьми веселыми.

Петельников встал.

— Вы Сашу отыщете? — негромко спросила Вязьметина.

— Погуляет и сам придет, — ответил за него муж. — Вы лучше посоветуйте, как с ним дальше...

— Дмитрий Сергеевич, вы белье стираете? — вспомнил оперативник о своем белье, которое так и лежало, так и мокло.

— Жена стирает.

— А на руках ходить умеете?

— К чему подобные вопросы? — рассердился Вязьметинов.

— Вернитесь с работы, позвоните в дверь и войдите в квартиру на руках.

— И что дальше?

— А дальше встаньте на ноги и перестирайте все белье.

— Зачем?

— Чтобы увидеть, с каким любопытством смотрит на вас сын.

18

Мужа Смагиной привезли пораньше утром. Младенчески помаргивая от дневного света, будто его только что подняли со дна океана, Анатолий Семенович переводил взгляд с одного оперативника на другого. Леденцова он не узнавал.

— Ну? — спросил Петельников, припечатывая его своим напирющим взглядом, которому Леденцов тщетно учился.

— «Ну» в смысле чего?

— В смысле пьянства.

— Это баловство признаю.

Леденцов, пожалуй, впервые за время их совместной работы увидел, как сухая ненависть темнит лицо капитана; та самая ненависть, которая противопоставлена оперуполномоченному уголовного розыска.

— Ну? — опять повторил Петельников.

— «Ну» в смысле пьянства?

— «Ну» в смысле совести.

Анатолий Семенович взглянул на оперативника пристальнее. Капитан не шелохнулся и ничего не добавил. И смагинское сознание, еще запеленутое вчерашним хмельным туманом, успокоилось.

— Если касается совести, то на предприятии, дорогие товарищи, я не пью. У меня такая работенка, что, извините за выражение, выйти покурить некогда.

— Почему «извините за выражение»?

— Я хотел сказать «выйти в одно место».

— Значит, совесть ваша спокойна?

Оперативники знали, что людей без совести не бывает, а дело лишь в том, как глубоко она сокрыта; оперативники умели до нее докапываться. Но Смагин был фигурой процессуально непонятной: потерпевший, коли в его квартиру забирались, не потерпевший, коли ничего не украли; вор, коли забрал деньги и золотые вещи, не вор, коли брал совместно нажитое, свое.

Леденцов, сидевший в стороне, встал и подошел к нему.

— А на какие деньги вы пьете?

— На свои, на трудовые.

— Разве жена зарплату не забирает?

— Зажилить червончик всегда можно.

— Червончик? Шестнадцатого числа вы пропили в баре пятьдесят четыре рубля, гражданин Шакало.

Анатолий Семенович воззрился на Леденцова изумленно. Волосы, теперь им не придерживаемые, съехали на уши. Кожа лица, неопрятная, как у всех пьющих, желтела промасленной бумагой. Глаза выражали трудную работу мысли. Что его так задело: пропитая сумма или подлинная фамилия?

— Вы не из восьмого автопарка? — наконец спросил он, так и не узнав лейтенанта.

Петельников тоже встал, подошел к растревоженному Смагину и навис над ним — его длинный галстук, покачиваясь, почти касался подбородка сидевшего; Леденцов мог поручиться, что Анатолий Семенович сейчас вдыхает запах одеколона «Консул».

— Обокрасть кого? — жестко спросил капитан. — Собственную жену!

— Мною заработано! — не вынес Анатолий Семенович слова «обокрасть». — Эти деньги я на халтуре сшибал!

— Свалить на кого? На подростка!

— Его бы по малолетству простили...

Петельников распрямился и скривил губы, словно раздавил во рту клюквинку. И от этой чужой кислинки Анатолий Семенович вдруг потупился и стал зачем-то тереть лацкан пиджака.

— Подождите в коридоре, сейчас поедем к следователю.

Смагин дошел до двери и остановился, будто что-то вспомнил.

— Жене не скажете?

— А как ей сказать? — удивился Петельников. — Что кражу совершил подросток?

— Якобы неизвестный...

— Анатолий Семенович, мне попадались преступники, но не подлецы. Попадались подлецы, но не преступники. А вы и подлец, и преступник.

— Преступность мне не вешайте, — с «подлецом» Смагин согласился.

— Вы сделали ложное заявление о краже.

— Это жена заявила.

— Значит, дали ложные показания о краже.

Поразмыслив, Смагин вышел. Капитан торопливо убрал со стола бумаги, запер сейф, надел куртку и оказался возле Леденцова — они молча стояли друг против друга, лицом к лицу, глаза в глаза.

— У Смагиных кражи не было, — наконец сказал Петельников.

— И у геолога не было.

— У старика вахтера кражи тоже не было.

— И у старушки с вареньем не было.

— Осталась лишь одна кража — кофта, туфли и серебряная ложка, — закончил капитан.

Они помолчали. Принято считать, что влюбленные способны на взаимное угадывание настроений и мыслей. Оперативников же соединяли не менее крепкие узы.

— Одна из пяти, товарищ капитан.

— А что подсказывает логика?

— Если четыре раза было так, то вряд ли пятый будет иначе.

— Хозяйка Клавдия Сергеевна, — вспоминал Петельников. — Меня там что-то раздражало... Ага, вот как...

— Что, товарищ капитан?

— Я ей не поверил.

— Почему?

— Не знаю, интуиция... — и Петельников приказал: — Беги к ней.

Леденцов бежал, выбирая меж домов короткие пути, ныряя в какие-то щели, огибая мусорные бачки и автомобильные стоянки...

Бежал он не только по приказу капитана — подогревало и любопытство. Если в этой квартире тоже ничего не пропало, то значит, преступлений вообще нет.

Единомыслие не исключает разной тактики. Он, Леденцов, искал бы сейчас подростка. Но капитан медлил, почему-то занявшись проверкой этой кражи. Видимо, тоже хотел понять, что заставило парня шляться по чужим квартирам. В конце концов, это не их дело: закон обязывал установить мотивы преступления, а не вообще мотивы поведения. Они должны искать и ловить, а копаться в мотивах — работа следователя.

Чем дольше служил Леденцов в уголовном розыске и чем больше узнавал о людях, тем они становились для него сложнее. Вот капитан. Казалось бы, Леденцов знает его мысли, вкусы, привычки. Дружат, не забывая про некоторую субординацию... Но лейтенант еще ни разу не угадал план розыска, намеченный Петельниковым. Или спроси лейтенанта, почему его шеф сам занимается стиркой, он бы не ответил.

На лестничной площадке Леденцов отдышался. Его звонок возмутил тишину квартиры — там забегали, запрыгали, захлопали. В женщине, открывшей дверь, он узнал хозяйку. И потерпевшая узнала его.

— Здравствуйте, Клавдия Сергеевна!

— Ой, я хотела идти к следователю...

— Зачем?

— Серебряная ложка нашлась. Да вы входите.

Леденцов переступил порог. Из дверей выглядывали ребячьи головы, по коридорчику прошел мужчина на протезе, в комнате пело радио, в кухне не то булькало, не то чавкало...

— А другие вещи, Клавдия Сергеевна?

— Какие? — легко спросила она.

— Кофта и туфли.

— Ах, эти... Нет, не нашлись.

Забывчивость женщины удивила. Редчайший случай: потерпевшая не помнила о похищенном. Это под-

тверждало догадку капитана, что скорее всего кражи и тут не было.

— Клавдия Сергеевна, а вы уверены, что кофта и туфли пропали?

— Куда ж им деваться? Проходите на кухню, там ничего нет и потише...

В тихой кухне фырчало, будто работал какой-то пневматический механизм. Хозяйка убавила огонь под большой кастрюлей, пододвинула гостью табуретку.

— Белье вот кипячу.

Капитана это заинтересовало бы. Интересно, знает ли он, что белье варят в кастрюлях наподобие супа?

— Клавдия Сергеевна, все-таки вещи пропали?

— Как же не пропасть, если вор побывал...

— Короче, туфли и кофта пропали?

— Коли их нет, то, значит, пропали.

— А они были?

— Коли украдены, так, видать, были?

Теперь Леденцов сел. Худое темное лицо женщины, обрамленное растрепанными волосами, отражало острое, какое-то болезненное недоумение. Не понимала она лейтенанта или слишком затуркалась работой, детьми, мужем-инвалидом, чтобы спокойно подумать? В таких случаях у сотрудника уголовного розыска только один помощник — терпение. И Леденцов начал опять:

— Клавдия Сергеевна, вы пока про вора забудьте...

— Как это забудьте, — перебила она, — когда и замок до сих пор испорчен?..

— Кофта и туфли были? — построже спросил он.

— Были, как же.

— Теперь их нет?

— Само собой, что нет.

— Почему вы думаете, что их взял вор?

Настал черед изумиться потерпевшей. Она поправила волосы, отбрасывая их со щек и как бы высвобождая лицо. Прошла добрая минута.

— Тогда где же они, вещи-то?

— Могли затеряться...

— А вор сломал замок, пошарил в шкафах и ничего не взял?

— Разные бывают случаи, — туманно предположил Леденцов.

— Ей-богу, комедия!

— А не побывай человек в квартире, вы бы о краже

и не догадались, не правда ли? — начал распаляться Леденцов, как фырчащая на плите кастрюля.

В коридорчике скрипнуло. На кухонный порог неспешно встал мужчина с суровым лицом. Его грузное тело, казалось, вдавливают протез в слишком мягкие паркетины.

— Клавдия, а ты в деревню какие туфли отослала?

— Да разве эти?

— А какие?

— Ну, пусть эти. Однако ж кофты нет, украдена.

— Украдена, — передразнил муж. — Транзистор за двести пятьдесят не взяли, а на кофту старую польстились? Чего людям мозги порошишь? Оставила, поди, кофту в деревне да и забыла. Чаем лучше бы товарища попотчевала...

20

Школьное здание, уставшее от дневной шумихи, к вечеру вроде бы удивлялось гулкости и тишине своих коридоров.

Они миновали множество классных дверей, пока не уперлись в большую, массивную. Спортивный зал тоже был пуст и поэтому казался заброшенным и печальным. Но свет в нем горел, а в далеком углу возились. Они подошли.

Два парня, упершись друг в друга лбами, боролись. Куртки трещали, жидкий мат ходил под ногами ходун, лица покраснелись в азарте...

— Роман! — окликнул Леденцов.

— Это из милиции, — буркнул Тюпин напарнику...

Петельников узнал его — длинный костистый драчун. Внук Ром-бабы тоже оглядел капитана настороженно.

— Все учишься драться? — спросил капитан.

— Давно научился.

— Зачем?

— Чтобы уважали.

— За кулаки?

— За силу.

— А за ум?

— Наш лозунг какой? — нашелся Тюпин. — «Пусть победит сильнейший!»

— А если так: «Пусть победит умнейший!»

— Умнейший никогда не победит.

— Это почему же?

— Хиляк.

— А мы сейчас проверим, кто победит: глупейший или умнейший, — мрачно решил Петельников. — Леденцов, проводи-ка схватку.

— Товарищ капитан, я в чинах, старше его...

— Бьют не по годам, а по ребрам, — усмехнулся Тюпин.

У Петельникова были нелюбимые пословицы — эту, про ребра, за ее жестокость, он ненавидел сильно.

— Зато он тяжелее тебя килограммов на десять.

Они сошлись. Тюпин, нахрапистый, костисто-угловатый, будто свинченный из рычажков и рычагов, в самбистской куртке, на полголовы выше своего противника. Леденцов, веселый, шуплый, рыжий, в желтых ботинках, в красном галстуке. И Петельников пожалел, что затеял все это. Но когда же и учить, как не в шестнадцать? А почему, кстати, шестнадцать — сидел, что ли, три года в одном классе?

Тюпин схватил противника за руку и попробовал бросить через бедро, но лейтенант увернулся легко, как упорхнул. И подросток сделал паузу, как всякий боец, готовящий новый прием. Леденцов к этим паузам не привык — их не было в схватках на улицах, во дворах и чердаках, поэтому он мгновенно подскочил к подростку и сделал подсечку. Тюпин полетел на край мата, но лейтенант, прыгнув, настиг и подхватил его, не дав припечататься к мату.

— Понял? — нравоучительно сказал скорбно сопящему Тюпину Петельников. — Всегда побеждает умнейший!

— В конечном счете, — добавил Леденцов ради истины.

— Ладно, — сказал Петельников, — теперь к делу.

Они сели на низкие скамейки — оперативники и между ними Тюпин.

— Где Саша? — повел разговор капитан.

— Не знаю.

— Знаешь, он твой друг.

— Знаю, но не скажу.

— Почему?

— Потому что он мой друг.

— Закон обязывает говорить правду.

— Какой закон?

— Тот, который вы изучаете на обществоведении.

— А закон дружбы? Сам погибай, а товарища выручай.

Петельников замолчал. Тюпин прав — здесь юридические нормы не очень-то стыковались с моралью. Выходило, что работники милиции требовали предать друга. В оперативной практике эта психологическая трудность преодолевалась, поскольку человек, о котором надлежало сказать правду — друг, приятель, родственник, супруг, — совершил преступление. Но Вязьмитинов не был преступником. И Петельников решил, что это обстоятельство убедит подростка скорее.

— Роман, твой друг не преступник.

— Почему же вы его ловите?

— Мы его не ловим, а ищем.

— Зачем?

— Сказать, что он не преступник.

— А сам Сашка этого не знает?

— Он убежден, что все его подозревают.

Тюпин задумался. Серьезный тон капитана убеждал какой-то особой, чистой нотой. И они уже ждали признания, но парень вздохнул:

— Я обещал не выдавать.

— А он просил?

— Само собой. Велел на все вопросы отвечать «нет» и «не знаю». По-вашему, слово нарушить?

— Слово нарушать нельзя, — согласился капитан.

Молчавший Леденцов ожил бурно — хлопнул подростка по спине и поддал плечом так, что толчок передался Петельникову. Тюпин повернулся к лейтенанту с радостной готовностью; видимо, ловкая подсечка добавила уважения.

— Рома, не будь болтливым! Отвечай только одним словом «нет».

— Да? — улыбнулся Рома.

— Конечно! А я обязуюсь спрашивать, чтобы тебе «да» не говорить. Идет?

— Заметано! — согласился Тюпин на веселый эксперимент.

Леденцов уставился ему в глаза, как гипнотизер. Ромка сжал губы и насупил брови с таким напряжением, что тихонько икнул.

— Вязьмитинов на Марсе?

— Нет, — хохотнул подросток.

— У тебя?

— Нет.

- У приятеля?
- Нет.
- В школе?
- Нет.
- На вокзалах?
- Нет.
- Ходит по улицам?
- Нет.
- Но он в городе?
- Нет.
- В другом городе?
- Нет.

Леденцовские вопросы иссякли, поскольку он вроде бы все перебрал, включая Марс. Одного «нет» явно не хватало. Тюпин смотрел на лейтенанта без интереса, как на неудавшегося фокусника; он-то ждал чего-то неожиданного, вроде виртуозной подсечки.

— В деревне? — спросил теперь капитан.

— Нет.

— Что ж он, в лесу сидит?

— Нет, — сиял Тюпин.

— Не в лесу, значит, в поле? — не отступался Петельников.

— Нет.

— Вокруг него ни деревца?

— Нет.

— Так, деревья есть, но не лес... А захоти Сашка искупаться, ему надо ехать далеко?

— Нет.

— Ага, у него рядом река, море, озеро?

— Нет.

— Спасибо, Роман.

Оперативники встали.

— И все? — удивился Тюпин.

Бабье лето в середине октября?

Низкое солнце, чуть прикрытое закатной пеленой, отражалось во всех стеклах. От этой ли смуглой пелены, от коричневых ли стволов сосен, но солнечный свет все удивительно изменил — руль, сиденья, обивка и любая кнопочка казались сделанными из сосновой коры. Странная умиротворенность и теплота легли на все.

Одетый по-дорожному в джинсы, кеды и линялую

хлопчатобумажную рубашку, выстиранную им самим, Петельников ступил на твердую землю и вдохнул со-сновую осень. Было тепло, как и в машине.

Он открыл калитку и пошел к дому.

— Ку-ку, молодой человек!

Петельников осмотрелся, никого не видя. Лестница у яблони подсказывала взглянуть вверх — на сучьях сидел человек, добирая неопавшую антоновку.

— Ку-ку, Виктор Петрович.

Воскресенский спустился.

— Вы, конечно, из милиции.

— Как догадались?

— Походите на того красноголового юношу.

— Виктор Петрович, я симпатичнее.

— Не внешностью походите, а сутью.

— И в чем она? — заинтересовался Петельников.

— Вы непременно веселы, сильно любопытны и, по-моему, всегда хотите есть.

— Виктор Петрович, а может, человек и должен быть весел, голоден и любопытен?

Воскресенский рукой указал путь. Они вошли в дом. В громадную комнату, знакомую капитану по леденцовскому описанию. Как только он сел в кресло у потухшего камина, подкатился столик с яблоками и сливами.

— Отведайте моих плодов.

Капитан отведал, поскольку был весел, голоден и любопытен. Яблоки полосатенькие, с привкусом ананаса. Темно-фиолетовые сливы, от сока лопнувшие вдоль и походившие на громадных жуков, готовых расправить крылья и взлететь.

— Виктор Петрович, я по делу...

— К вашим услугам.

— Загадаю вам загадку...

— Криминальную?

— Нет, педагогическую.

— Моя специальность. Но сперва разожжем огонь.

Он засуетился у камина. Припасенные березовые полешки легли скалистой пирамидкой. От подложенной бересты огонь занялся сразу. Но еще до тепла пахнуло дымком, деревянным, березовым, позабытым в городе. Петельников устроился поудобнее, разглядывая хозяина. Станный профессор: на даче всегда один, ходит в потрепанной одежонке, лазает по деревьям, калитку не запирает, документы не проверяет...

— Слушаю вас...

— Виктор Петрович, ученик восьмого класса с подбором ключей проникает в чужие квартиры. Осматривает шкафы, столы, холодильники, кастрюли... но ничего не берет. Даже деньги. Зачем, спрашивается, ходит?

— Психическое состояние?

— Норма.

— Из какой семьи?

— Из вполне благополучной.

— А что в школе?

— Учится средне, без интереса, любит спорить с преподавателями.

— Маловато информации.

— Могу добавить кой-какие мелочи. В одной квартире взял камешек, в другой съел полбанки варенья, а третью осматривать передумал...

Профессор пошевелил огонь, от которого уже шло благостное тепло. Ни съеденное варенье, ни камешек профессора не заинтересовали.

— Та, где не стал смотреть... что за квартира?

— Ну, бедненькая, я бы даже сказал, какая-то убогая.

Воскресенский положил ногу на ногу, отчего капитан лучше разглядел его белесые брюки, бывшие когда-то полосатыми, заодно рассмотрел и рубашку, бывшую когда-то в клеточку. Петельников знал садовода, который вечером надевал пиджак на чучело, а утром на себя.

— А хотите, я расскажу о семье этого подростка? — заговорил Воскресенский. — Отец хороший работник, не пьет, может быть, даже и не курит, мастерит, имеет автомашину или садовый участок. Мать рачительная хозяйка, аккуратистка, в доме чистота, обед всегда есть, белье всегда выглажено... Днем они работают, в выходные дни мастера и занимаются уборкой, а по вечерам смотрят телевизор. Угадал?

— На девяносто девять процентов, Виктор Петрович.

— И эту семью вы зовете благополучной?

— Не пьют, работают...

— Благополучие семьи не в зарплате и должностях, не в гарнитурах и личных автомашинах, не в престижной одежде... И даже не в труде. Благополучие семьи заключается в нравственном климате. Как вас зовут? — спросил вдруг профессор.

— Вадим Александрович.

— Хотите, дам отменную тему для диссертации, Вадим Александрович? «Мещанство как причина преступности». Или лучше так: «Бездуховность как причина преступности». Устраивает?

— Причина в одной лишь бездуховности?

— А разве мало? От бездуховности скука, апатия, усыхание природного интереса ко всему на свете... Работают плохо — скучно. Семьи разваливаются — скучно. Пьют — скучно. Все от бездуховности, все!

Профессор вскочил и взволнованно прошелся по комнате.

— Когда ребенку долбят, что еда у него есть, одежда есть, крыша над головой и телевизор есть, и какого рожна еще надо, то к чему, по-вашему, склоняют подростка?

— А к чему, Виктор Петрович?

— К животной жизни! К бездуховности! Мол, ешь, пей и будь доволен. Это молодого-то человека, который хочет мир перевернуть!

Воскресенский с силой бросил в огонь новые поленья, взял настоящие каминные щипцы и поправил головешки.

— И ваш школьник, Вадим Александрович, ходил по квартирам с единственной целью: узнать, интересно ли живут другие люди или так же нудно, как его родители... Слава богу, что избежал воровского искусства.

— Где-то он сейчас? — задумчиво спросил Петельников и открыто посмотрел в глаза профессора без своего гипнотического нажима, потому что лицо хозяина дачи тоже было открытым.

Воскресенский сел в свое кресло, разглядывая свежий огонь, плясавший на свежих поленьях.

— Я говорил вашему молодому коллеге про гнома...

— Говорили.

— Так этот гном поселился в моем сарайчике, в сене.

— И вы его видели?

— Нет.

— Тогда откуда знаете?

— Экспериментальным путем. Кладу булку с колбасой, ставлю кефир... И все съедается.

— Вас это... не страшит?

— Ничуть, он же бутылку возвращает.

Петельников встал. И хотя руки не озябли, он протянул их к огню, как это делали герои старинных романов. Тепло успокоило его.

— Виктор Петрович, я взгляну на гнома?

— Пожалуйста. Между прочим, как вы относитесь к шашлыкам?

— Меня ли, веселого, любопытного и голодного, об этом спрашивать?..

— Тогда я зажарю. Сколько штук?

— Нас двое да гном.

22

Петельников шел садом, по рукотворной лесной тропинке, под яблонями, мимо бассейна с утками...

Человеку пристало быть веселым, голодным и любопытным. В этих родившихся в разговоре с профессором и вроде бы шутливых словах капитан увидел далекий смысл. Быть постоянно веселым, потому что жизнь единственна, неповторима и коротка; быть голодным, чтобы не обрасти жиром и равнодушием; быть любопытным, поэтому и работать без усталости. И Петельников подумал про свою работу... Кроме поисков истины и схваток за справедливость, кроме всего прочего, работа оперативника утоляет жажду любознательности, сокрытую в нас. Выходит, что хороший оперативник — это прежде всего любознательный человек? К тому же веселый и голодный. И не беда ли таких подростков, как Вязьмеинов, в том, что они не веселы, поскольку еще не чувствуют прелести жизни, не голодны, перекормленные родителями, и не любопытны, потому что все им дается легко?

Петельников вошел в сарай. Запах трав, яблок и дров удивил неповторимым настоем. Корзины с антоновкой, верстак в стружках, березовая поленница, а верх завален сеном. Капитан опустил на березовую чурку.

— День пролежишь, два, три, а потом?

Сеновал не ответил. Петельников устроился в широкий ящик, поделенный на крупные ячейки, в которых лежали отсортированные гвозди — от крохотных до нагелей. К гвоздям профессор относился нежнее, чем к своей одежде.

— О родителях бы вспомнил...

Сено молчало. Антоновка, крупная, ровненькая и в

полумраке матовая, казалась в плетеной корзине яйцами крупной птицы. Не сам ли профессор плетет эти круглые корзины, походившие на гнезда?

— Саша, мы установили — ты ничего не взял.

Сено зашуршало, как будто зашущукалось. В темноте сарая лицо белело смутно и как бы неуверенно.

— Слезай!

Вязьметинов спустился по приставной лесенке. Узкое лицо стало серого цвета, видимо, от сенной трухи; синтетическая куртка, не снимавшаяся двое суток, перекрутилась; спутанные волосы проросли травинками, и один заскорузлый стебель торчал за шиворотом; в руке надкусанное яблоко...

— Значит, я не преступник?

— А подумай.

Подросток сел на вторую чурку. Нахлобученные на лоб волосы, налипшие травинки, согнутая спина, и верно, делали его похожим на гнома, присевшего отдохнуть на пенек.

— Покой людей нарушал, — не дождался ответа капитан, — пожилого человека в квартире испугал, нас работой обременил... Верно?

— Верно, — проямлил Вязьметинов.

— А коли верно, то надо исправлять.

— Как?

— Думаю, мы пройдемся с тобой по квартирам и ты перед всеми извинишься.

— И перед теткой, которая врала?

— И перед теткой.

Вязьметинов засопел. Обида не давала понять справедливость этих слов — ведь Смагина обидела сердце, а капитан обращался к разуму. Петельников знал, что чувство задевается больше, чем разум. Даже у взрослых.

— Смагина ошибалась. В конце концов не она к тебе в квартиру залезла, а ты к ней.

Петельникову хотелось спросить, что же он высмотрел в этих квартирах, чему там научился, утолил ли свое любопытство и нашел ли ответы на мучительные подростковые вопросы? Но для такого разговора время еще не пришло.

Пестрая коричневая бабочка, согрившись за день в теплом сарае и вроде бы заново начав учиться летать, села подростку на плечо. Он удивленно шевельнулся. Бабочка прямехонько перелетела на капитанскую руку.

— Саша, а ты знаешь, как зовется самая крупная бабочка?

— Махаон?

— «Королева Александра», двадцать восемь сантиметров в размахе. А облака Венеры из чего состоят?

— Из углекислого газа?

— Нет, из паров серной кислоты. Представляешь, что за атмосферка? Саша, а какая, по-твоему, кровь у осьминога?

— Какая... обыкновенная.

— Голубая! В нашей крови железо, а у него медь.

— Вы кроссворды любите?

— С чего ты взял? Отнюдь.

— Интересные у вас факты.

— Это что... Сейчас хочу экспериментально проверить теорию Руперта Шелдрейка.

— Какого Шелдрейка?

— Не знаешь его теории? — ужаснулся Петельников. — Руперт Шелдрейк доказывает, что поведение живых существ влияет друг на друга, хотя жить они могут в разных концах земного шара. К примеру, если в нашем городе научить собак мяукать, то в Париже уже все собаки будут готовы к мяуканью.

— Это ненаучно!

— Вот и я сомневаюсь, надо бы проверить. Представляешь, человек замыслил преступление, а мы в уголовном розыске это засекли.

Вязьмеинов молчал недоуменно — только глаза сияли под валиком слежавшихся волос. Петельников понял, что они могут просидеть тут вечер, ночь и следующий день. И у них найдется о чем говорить, потому что все беседы живы не многознанием, а любопытством.

— А вам помощники нужны?

— Очень.

— Возьмите меня с собой...

— Поедим мяса, заскочим к твоим родителям, а потом и мне поможешь.

— В настоящей работе?

— В настоящей, мужской работе.

— А что будем делать?

— Стирать белье.

— Как... стирать белье?

— Саша, это настоящая мужская работа...

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ СИЛЬНЕЕ ЛЮДЕЙ

ПОВЕСТЬ В НОВЕЛЛАХ

Ветер сгребал в ладони крупные дождевые капли и горстями швырял их, словно гальку, в шиферную крышу обшитого досками рыбацкого домика, в стекла веранды.

Причесывая лес, ветер с такой силой раскачивал верхушки сосен, что сухие ветви то и дело обламывались и с глухим стуком падали на землю. Но по-настоящему он расвирепел на Энгурском озере. В одно мгновение вспенились волны, понеслись в нашу сторону.

У мостков погромыхивали цепями лодки.

А мы посматривали на небо. Черная грозовая туча, которая наплывала с моря, затягивала горизонт.

— Обстоятельства сильнее людей, — усмехнулся круглолицый мужчина. Я знал, что это полковник милиции. На рыбалку он приехал в форме, потом переоделся. Наши машины стояли рядом, и я искоса следил за тем, как ловко он управляется с рыболовными снастями. Спасаясь от дождя, мы все забежали на веранду.

— Кошмар... с этими разрешениями кошмар... Работашь в воскресенье, чтобы освободить четверг... Получишь разрешение, отмахашь сто километров, и на тебе — одно паршивое облачко портит все дело. День пропал, отдых тоже, настроение ниже среднего... — ныл гражданин в очках. Я его уже видел когда-то со спиннингом на этом озере.

— Есть и свои плюсы, — сказал я. — Не придется чистить рыбу.

Никто даже не улыбнулся, все молча продолжали глядеть на тучу, словно надеясь, что она вот-вот повернет вспять.

— Перестанет не скоро, вода в луже пузырится, — убежденным голосом произнес четвертый из нашей за-

стигнутой грозой компании. Это был крестьянин. У него было удище из клееного бамбука, большая инерционная катушка и огромная блесна. Местный житель, не то что мы, городские. На демонстрациях рыболовных снастей такого сразу и не заметишь. Зато на озере нырнет он в камыши, глядишь — возвращается со щуками, с полено каждая. И почему они игнорируют наш стеклопластик, дедерон и импортные воблеры?!

— Разве вам до сих пор не случалось ощущать свое бессилие перед лицом обстоятельств? Это как судьба, — вновь заговорил полковник. — Натыкаешься на стену, верх виден, а перепрыгнуть слаб... Надо полагать, такие потери неизбежны, их просто следует учитывать заранее, чтобы потом не переживать.

Крестьянин принес из столовой табурет, уселся на него и закурил:

— А бывает, тебя обведут вокруг пальца как дурака, и баста!

— Почему «как»? Сам дурак и есть, — сказал гражданин в очках. — Это я не о других, о себе... Конечно, и я бы не прочь сослаться на обстоятельства, которые сильнее нас, и тому подобное, а станешь анализировать — сам виноват!

— Обстоятельства нельзя недооценивать, — не сдавался полковник. — Однажды в молодости я...

Кое-как мы переспали эту ночь на железных кроватях, а с утра дождь перестал. Мы вычерпали воду из лодок, сели на весла и поплыли каждый в свою сторону. Но у меня улов уже имелся — три рассказа и, кажется, в значительной степени автобиографических.

Про обстоятельства, которые сильнее людей.

РАССКАЗ О ЛЕЙТЕНАНТЕ МИЛИЦИИ И КОРОВЕ

Это случилось в то далекое время, когда жителей районных центров постиг запрет на содержание домашнего скота. Вскоре там со всех сторон раздавались предсмертный визг и блеяние, а затем наступила мертвая тишина. Не доносился больше из хлевов стук ведер с кормом для скота. И лишь изредка за пределами городской границы слышалось одинокое мычание. Население скоро свыклось с новым порядком, и казалось, что так повелось издавна.

Участковый уполномоченный Балиныш, которого теперь по занимаемой им должности нам следовало бы

величать участковым инспектором, окрыленный утренней свежестью, топал в свой кабинет, предоставленный ему по соседству с библиотекой в прочном, хотя и сильно обшарпанном кирпичном здании. Вход в кабинет уполномоченного был со двора. Дверь запиралась множеством патентованных замков. Окно зарешечено для пущей важности. В кабинете стояли сейф для хранения документов и большущий письменный стол. Рядом с кабинетом — узкая прихожая для посетителей.

Балиньш привлекал к ответственности скандалистов, пьяниц и озорных мальчишек, промышлявших в соседских садах яблоками и обламывавших при этом сучья. Преувеличением было бы сказать, что общее количество пролитых в этой комнате слез доходило Балиньшу до колен, но ведро-другое, пожалуй бы, набралось, потому что он, несмотря на свою молодость и почти полное отсутствие опыта в делах милицейских, был принципиальным и на редкость честным человеком.

Когда в то утро Балиньш принялся отпирать многочисленные замки своего кабинета, он заметил у окон библиотеки мужчину. Тот воровато поглядывал по сторонам, словно опасаясь, что его кто-то заметит. Лейтенант не успел еще занять свое место за письменным столом, как мужчина был тут как тут.

У него был неприятный клейкий взгляд. В своих больших руках он мял засаленную кепку.

— Я пришел сообщить, что Биркава в сарайчике держит корову! Она игнорирует решения правительства! Или вы ее как следует накажете, или я буду жаловаться выше!

В дальнейшем разговоре выяснилось, что информатор, пожелавший в целях личной безопасности во что бы то ни стало сохранить инкогнито, видел, как гражданка Биркава с охапкой травы входила в сарай.

— Может быть, она несла траву кроликам? — выразил сомнение Балиньш, которому очень не хотелось из-за таких пустяков немедленно заводить мотоцикл и мчаться на самый отдаленный участок.

— У нее нет кроликов! Кроликов загнал ее последний сожитель! Да и следы я видел! Свежие коровьи следы, большущие, как у сохатого! Мне все ясно! Она свистнула у кого-то корову.

Балиньш раскрыл регистрационную тетрадь и написал «Сообщение о корове».

В двенадцатом часу лейтенанту наконец удалось ос-

пободиться, и он протарахтел на своем мотоцикле до дома Биркавы. Это было частное строение, по самую крышу заросшее травой и сорняком. Лишь от ворот к крыльцу и от крыльца к хозяйственной постройке, стоящей в стороне, вела тропинка.

Балиньш постучал, но открывать ему явно не торопились. Он постучал еще раз, нажал на ручку, дверь оказалась запертой. Он уже повернулся, чтобы идти, и заметил, как приоткрылась дверь сарая. В щели мелькнуло чье-то лицо, и дверь снова захлопнулась.

Лейтенант насторожился. Он прошел в сторону сарая и остановился, вслушиваясь.

Тишина. И вдруг за сараем легонько бухнуло, казалось, будто кто-то спрыгнул с небольшой высоты. Придерживая правой рукой пистолетную кобуру, Балиньш побежал.

Лейтенант услышал, как кто-то продирается сквозь могучие заросли репья и крапивы, чтобы добраться до забора.

— Стой! — крикнул Балиньш, но это лишь подстегнуло беглеца. Он уже достиг проволочной ограды и взобрался на нее. Но лейтенант Балиньш догнал его и стащил с ограды. Здоровенный детина грохнулся спиной в крапиву и начал нехорошими словами ругаться. Балиньш узнал в нем Кёрбиса, который полгода назад вышел из колонии общего режима.

Кербис лежал на земле и, ловя воздух, открывал и закрывал рот. Балиньш попробовал его поднять, но Кёрбис оказался уж больно тяжелым и расслабленным.

Пока Балиньш делал искусственное дыхание Кёрбису, через дверь сарайчика вышел фельдшер Чибе. Он завербовывался вместе с гуцулами на погрузку леса в вагоны и заработал бешеные деньги, но, к сожалению, пристрастился к спиртному. Через два года гуцулы возвратились в свои края, кончились большие заработки, а Чибе уже не мог отделаться от бутылки. Хотя по инерции его еще величали фельдшером, на самом деле он давно уже стал бродягой.

Чибе пытался добраться до ворот, но он все время падал. И Балиньшу не составило труда остановить его на половине пути.

— Дай прилечь, не удеру... — взмолился Чибе.

Балиньш дотащил бы его до мотоцикла и запихнул в коляску, если бы ему не потребовалось немедленно

узнать, что же происходит в сарайчике. Оставив Чибе сидящим на крыльце, Балиньш бросился в сарай.

Посередине захламленного пространства, привязанная толстой веревкой, стояла белолобая буренка и жалобно смотрела на Балиньша. Во взгляде чувствовалась абсолютная безнадежность, которую не сумело рассеять даже появление лица в форме лейтенанта милиции. Очевидно было, что скотинка уже успела раскаяться в мелких грешках своей жизни, как то: набег на свекольное поле, опрокинутое ведро с молоком, поединки со своими соплеменницами. И теперь она ждала своего последнего часа. Что до него было рукой подать, свидетельствовали лежавшие на полу длинный нож для забоя и разной величины посуды для субпродуктов.

Балиньш быстрым взглядом окинул помещение, но из-за слабого освещения ничего подозрительного не успел увидеть.

Лейтенант резко повернулся и выскочил из сарая, так как сильно сомневался в истинности клятвенного заверения Чибе в том, что он не удерет, да и Кёрбис уже вполне мог оклематься.

Одного из них Балиньш сунул в коляску мотоцикла, второго посадил на заднее сиденье и покатил обратно в свой кабинет. У обоих задержанных душа ушла глубоко в пятки, и Кёрбис несколько раз даже пытался начать разговор:

— Начальник, может, мы все-таки договоримся?

Заперев Чибе в своем кабинете, а Кёрбиса в коридорчике для ожидания, лейтенант помчал назад за вещественным доказательством, то есть за коровой.

Он подъехал как раз вовремя, ибо гражданка Биркава, тридцати трех лет, разведенная, на данный момент рабочая дорожного отдела, такая же запущенная и неухоженная, как ее недвижимое имущество, выгоняла корову через ворота своего дома.

Завидев Балиньша, она закричала уже издали:

— Тебе не удастся мне ничего пришить! Я ничего не знаю! Этот сарай не на моем участке! Когда мы разошлись, наш участок разделили пополам! Спроси у моего бывшего мужа, у этого голодранца!

Биркава никуда не денется, подумал лейтенант, посмотрим, как она запоет, когда прочитает объяснения Кёрбиса и Чибе. Ясно, что корова лейтенанту теперь

намного нужнее, чем настроенная на гордопанство гражданка Биркава.

Балиньш отпустил веревку подлиннее, привязал к запасному колесу и на первой передаче на мирно урчащем мотоцикле проехал к своему месту работы. Корова послушно плелась сзади.

Прохожие на улице останавливались и долго глядели им вслед, кое-где открывали и закрывали окна.

Во дворе библиотечного дома был старый яблоневый сад. Балиньш разыскал коли и привязал корову так, чтобы она могла дотянуться до клевера, всю разросшегося под яблонями.

Чибе, не имевший ни одной судимости, сразу признался и залился горячими слезами, взвалив всю вину на Кёрбиса. Последний, конечно, почувствовал себя смертельно обиженным.

Вскоре Балиньшу стало ясно, что участвовал в этой истории еще кое-кто, о ком виновники, по причине своего пребывания в состоянии алкогольного опьянения, никак не могли вспомнить.

Так как пить задарма никому не дают, они были вынуждены вдвоем взяться за «халтуру» — вырыть и забетонировать в гараже начальника колбасного цеха Нимбанса яму, чтобы владелец мог любоваться своим «Жигулем» не только сверху и со стороны, но и снизу. Честно принявшись за дело, они решили прогуляться до магазина, так как совсем близок уже был час его закрытия. Ради сохранения напряженности действия рассказа несколько абзацев теперь можно опустить, ибо всем и так ясно, что произошло потом. Они проснулись под утро. От сырости и холода в гараже у них зуб на зуб не попадал.

— Пора топать домой, — сказал Кёрбис.

— Факт! — Чибе, будучи интеллигентом, ответил иностранным словом.

Настроение было на редкость отвратительное — как обычно, когда забывают оставить по глотку на утреннее пробуждение.

На дворе светало.

Чтобы не тащиться через весь город, они решили идти напрямик мимо колбасного цеха. Вскоре они увидели высокий дощатый забор цеха и освещенные окна здания — здесь работали в три смены.

Городской колбасный цех был довольно крупным предприятием, покупавшим у отдельных граждан и ор-

ганизаций скотинушек разного калибра и превращавшим все в «Польскую», «Краковскую», «Юбилейную» и «Охотничью» колбасу.

Товарищи по несчастью плелись вдоль забора, за которым изнывал закупленный вчера скот в ожидании мастеров изготовления деликатесов.

— Хватит! Я никогда больше не буду пить! Мне уже мерещится! — завопил вдруг Кёрбис и отскочил на пару шагов назад.

Чибе, дремавший на ходу, проснулся и протер глаза.

— Корова! — флегматично определил он.

Ободренный приятелем, подошел и Кёрбис.

Действительно, это была голова коровы — со звездой во лбу и жалостными глазами. Голова торчала из щели в заборе (одна из досок была выломана). Просунуть голову обратно корове мешали уши.

— Надо бы зайти и проинформировать... — сказал Чибе.

— Дура! Это живые деньги! В мясо — и на базар! Держи за рога, пока выломаю вторую доску, а то деру даст!

Более подходящего человека, чем Биркава, они не смогли вспомнить, поэтому пригнали скотинку в ее сарай.

Корова в яблоневом саду щипала клевер, воры были пойманы и раскаивались в содеянном, не хватало лишь заявления о самом факте кражи. Лейтенант Балиньш позвонил в отделение милиции, но никто еще заявления туда не приносил. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, он взял с письменного стола форменную фуражку, лежавшую там во время допроса как символ власти, и отправился в колбасный цех.

Завитая и накрахмаленная секретарша доложила о нем начальнику Нимбансу.

— Сейчас выясним, — Нимбанс нажал клавишу селектора. — Попрошу технолога Свилпе...

Почти сразу же отозвался мужской голос:

— Харис? В чем дело?

— Тут пришел один товарищ и утверждает, что у нас украдена корова.

— Ничего у нас не украдено! Все бумаги уже в порядке!

— Но товарищ настаивает, воры пойманы...

— Говорю тебе, ничего у нас не украдено!

— Но... Ты меня понимаешь.

— Я тебя понимаю, но ничего уже нельзя сделать, все бумаги уже в бухгалтерии!

Нимбанс выключил селектор.

— Товарищ лейтенант милиции, ничего у нас не украдено!

— Как же так! — У Балиньша от удивления округлились глаза.

— У нас бдительная стража, у нас ничего не крадут, у нас ничего невозможно украсть. Все наши работники абсолютно честные люди. Я в этом уверен.

— Но корова... Корова-то у меня!

— Обратитесь в наш заготовительный отдел. Скот у частных лиц закупаем до семнадцати часов.

Нимбанс встал со стула. Могучий, непоколебимый человек, уверенный в своей правоте.

— Эта корова не моя! Я не могу ее продать! — выкрикнул Балиньш. Он уже не соображал, что здесь происходит.

— Приятно было с вами познакомиться! До свидания!

Когда лейтенант Балиньш выходил из колбасного цеха, он услышал отдаленное мычание и почувствовал беспокойство, так как нетерпеливое мычание доносилось со стороны библиотеки. Подойдя поближе, он окончательно убедился, что это мычит белолобая. Наевшись сочной травы, корова требовала к себе доярку.

— Гражданин начальник, — настырно сказал Кёрбис, едва Балиньш успел отомкнуть дверь. — Часы уже показывают начало второго!

— Да-да... — Балиньш автоматически посмотрел на часы.

— Гражданин начальник, — не унимался Кёрбис, — в колонии облегченного режима в час дня нам давали обед, тот же порядок был и в колонии общего режима.

— Горяченького супчику не помешало бы, — за стеной проскрипел Чибе, явно подслушавший их разговор.

— Сейчас позвоню в отделение, чтобы за вами приехали, — Балиньш чувствовал себя бесконечно усталым. И еще эта корова! Она мычала нетерпеливо и методично, вытягивая голову в сторону дверей рабочего кабинета лейтенанта, за которыми исчез ее спаситель и благодетель.

— Вот еще! — не успокаивался Кёрбис. — Уже пошел второй час, и там нам ничего не дадут! Мы в их-них списках еще не числимся... Все ясно, а вы здесь тя-

нете резину! Из-за вас мы останемся без обеда! Если все будут так работать, то, то... То все останутся без обеда! — до Кёрбиса дошло, что он не в состоянии закончить свою речь так, как ему хотелось бы, и поэтому он еще больше обозлился.

«Как бы они тут чего-нибудь не сломали или не опрокинули», — сердито подумал Балиньш, запирая задержанных повторно.

Завидев человека, корова принялась дергать веревку.

Обе девицы-библиотекарши стояли у выходящего на двор окна и хихикали. Когда вошел Балиньш, они многозначительно переглянулись и моментально утихли.

— Разрешите мне, пожалуйста, позвонить.

— Звоните! — ответили обе одновременно, с трудом сдерживая вырывающийся наружу смех.

Балиньш позвонил дежурному и попросил прислать машину.

— Девушки, а молока вам не надо?

Молоко они покупали в магазине и ни за что не хотели признаваться, что умеют доить коров, хотя и выросли обе в деревне. Балиньш обещал за доение конфеты, они и от конфет отказались, так как боялись растолстеть. В конце концов порешили — билеты на вечер, и девчонки побежали искать ведро.

Когда приехала машина за Кёрбисом и Чибе, корова уже не мычала. Одна из библиотечек почесывала корове белую отметину на лбу, а вторая усердно ее доила.

Балиньш устало сел за свой письменный стол и принялся обдумывать, как избавиться от коровы — ее в машину не посадишь и в отделение не пошлешь. Пристутствие коровы, откровенно говоря, его сильно раздражало, и это могло кончиться принятием скороспелых решений.

Лейтенант Балиньш выдвигал версии.

Почему Нимбанс и Свилпе не сообщили о пропаже коровы? Если в той или иной степени изменять технологию производства колбасы, в цехе могут образоваться крупные мясные накопления. Такие накопления не поддаются контролю — никто и никогда не скажет, сколько «лишнего» мяса в данный момент находится в цехе. Сообщить о факте кражи значило навлечь на себя ревизию.

Можно было допустить и такую мысль, что с само-

го утра работники цеха действительно не заметили пропажу коровы. Им, правда, показалось, что мяса вроде бы маловато, однако запланированное количество колбасы они все-таки произвели как положено, заприходовали и отправили в магазины. Вся документация в порядке, и у самих легко на душе. Но вдруг появляется милиционер с коровой. Покажите идиота-самоубийцу, который признается, что колбасы на сей раз содержат меньше мяса, чем положено по рецептуре.

Было, наверное, немало и других версий, о каких в школе милиции не учили, ибо, как подмечено, количество начальников колбасных цехов, разъезжающих в своих автомашинах, больше количества преподавателей милицейских школ.

Лейтенант Балиньш еще раз взвесил свои возможности. В дебете у него были два письменных признания вины и вещественное доказательство в виде коровы. Это немало, однако он решил обеспечить и фланги. Он прошелся до ограды колбасного цеха и нашел обе только что приколотенные доски. Затем на мотоцикле проехал до запущенного дома гражданки Биркавы, но на его стук в дверь никто не отозвался. Балиньш собрался уже уезжать, как над забором соседнего дома замаячила голова в засаленной кепке.

— Дома! Дома! — шепотом уверял мужчина. Лейтенант без всякого труда узнал в нем своего утреннего посетителя.

Балиньш вернулся и принялся стучать. И весьма настойчиво.

Биркава наконец открыла и, оправдываясь, сказала, что спала. Показания она давала крайне неохотно. Ничего она не знала — ни того, во сколько Кёрбис с Чибе корову привели, ни того, где они ее взяли. Но призналась, что одолжила им нож для забоя. Ничего больше Балиньш и не надеялся у нее выведать. Все услышанное он зафиксировал на бумаге и просил закрепить подписью. Биркава, рыдая, расписалась.

Теперь у Балиньша был еще один козырь, и он мог смело бросаться в бой.

— Гражданин Нимбанс, — сказал Балиньш, пристально вглядываясь в глаза начальника цеха. — В моих руках неопровержимые доказательства того, что у руководимого вами предприятия этой ночью украли корову! Что вы можете по этому поводу сказать?

— Минутку, — голос Нимбанса дрогнул. Он вклю-

чил селектор, чтобы позвать на помощь технолога Свилпе, но тут же отключил, так как Свилпе вошел в кабинет. О повторной атаке Балиньша он уже успел узнать от завитой секретарши.

— Почему вы мешаете нам работать? — с упреком спросил Свилпе у Балиньша.

— Я хотел выяснить... Я осмотрел забор и обнаружил две только что приколотенные доски...

— И все-таки сперва вы могли поговорить с подсобным рабочим Земпаурисом, несущим персональную ответственность за состояние ограды загона для скота. Земпаурис мог вам объяснить, что нынче утром он заменил две гнилые доски новыми и что никакой дыры в заборе, через которую могла бы пролезть корова, конечно, не было. Интересно, где вы эту корову раздобыли и почему навязываете ее нам!

— Я прошу вас объяснить...

— Мы будем объясняться в другом месте! — Свилпе поднял телефонную трубку и набрал номер. — Прокуратура? Мне товарища прокурора! Нет его? С кем я разговариваю? С помощником? Извините, товарищ помощник прокурора, может быть, мне и не следовало звонить именно вам, а прямо в амбулаторию... Я звоню в связи с лейтенантом милиции Балиньшем... Его преследуют какие-то странные фантазии... Ах, вы уже в курсе? Пожалуйста, передаю трубку лейтенанту Балиньшу...

— Немедленно приезжайте ко мне, — сказал помощник прокурора.

— До скорого свидания! — многозначительно сказал Балиньш, встал и вышел из комнаты.

Через пять минут Балиньш сидел в кабинете помощника прокурора и в замешательстве смотрел на заваленный судебными актами письменный стол. Он понял, что попал в неприятную историю...

Корова дремала в тенечке под яблонями и лениво пережевывала жвачку. Приближалось время, когда она опять будет дергать веревку и мычать, требуя к себе доярку. На письменном столе лежали заявки, заявления и объяснительные в ожидании ответов в установленный законом срок.

Лейтенант Балиньш почувствовал внезапную усталость. Он представил себе разговор со следователем, которому придется передавать дело Кёрбиса и Чибе.

«Где заявление о самом факте кражи? Нету? Инте-

ресно! Ты говоришь, украдено в колбасном цехе, а может быть, совсем в другом месте? Да-да, теперь виновные признаются, а в суде свои показания изменяют, и их придется выпускать. И ты сам получишь по шее. Как следует получишь! Воры могут быть лишь тогда, если что-то украдено! Такова логика! Забирай свои бумаги и гуляй! И прими мои глубочайшие соболезнования!»

«В общем и целом наше отделение работает хорошо, — скажет начальник на следующем собрании. — Нельзя сказать, что количество нераскрытых преступлений снизилось, но оно и не повысилось. Графическая кривая, говоря образно, стоит на месте. Как неприятное исключение следует упомянуть лишь участок лейтенанта Балиньша...»

— Му! — промычала корова. Она встала на ноги и смотрела по сторонам, робко требуя обратить на нее внимание. Балиньш глянул на нее через окно и отвернулся. Если бы этим можно было помочь делу!

«Если бы мне удалось доказать, что скотинка украдена из колбасного цеха! Если бы мне удалось скотинушку идентифицировать!»

Француз Бертильон еще сто лет назад идентифицировал трупы путем измерения частей тела. Англичанин Гершель те же сто лет назад идентифицировал преступников при помощи отпечатков пальцев. Эй вы, корифеи криминалистики, где у вас хоть что-нибудь о коровах? Мне надо доказать, что это одна из тех коров, которые вчера закупил колбасный цех!

— Му! Му! — мычала корова под яблоней, и это мычание уже нельзя было назвать робким.

«Как мне от нее отвязаться? Почему я должен страдать оттого, что в криминалистической науке еще встречаются белые, неисписанные страницы? Почему именно я должен быть тем, кто увеличивает процент нераскрытых преступлений?»

Решение как обычно оказалось гениально простым. Через десять минут лейтенант Балиньш еще раз допросил Кёрбиса, начав с вопроса:

— Уверены ли вы в том, что выкрали вышеупомянутую корову из колбасного цеха? Может быть, вы ее просто-напросто встретили на улице?

Кёрбис, прошедший хорошую школу облегченного и общего режима, сразу догадался, в чем тут дело.

— Признаюсь, гражданин майор, в предыдущий раз

я наболтал вам ерунды, за что прошу врезать мне пятнадцать суток! Эту рогатую скотину мы действительно нашли на улице и хотели передать в исполком. Но сразу мы это сделать не смогли, потому что была ночь и в окнах исполкома не было света...

Бесхозное имущество — корову-лысуху — лейтенант Балиньш передал в отдел заготовок колбасного цеха, а деньги попросил перечислить в фонд государственных доходов. При оценке присутствовал и технолог Свилпе. Несмотря на то, что корова вне всякого сомнения по стандарту упитанности соответствовала оценке «хорошо», в графе было записано «средняя».

Балиньш негодуяюще глянул на Свилпе, но, ничего не сказав, пошел к своему мотоциклу, круто развернулся и сорвался с места, подняв целое облако пыли.

КУПЛЯ-ПРОДАЖА ДОМА

По Псковскому шоссе, попыхивая выхлопной трубой, старательно, с какой-то врожденной неуклюжестью катил из Риги «Москвич 423-Н». Тем, кому доводилось иметь дело лишь с пассажирскими и грузовыми такси, могу пояснить в порядке просвещения, что лимузины модификации 423-Н, с универсальным кузовом, Московский завод малолитражных автомобилей выпускал в шестидесятые годы, и втиснуть в такое авто можно или четырех пассажиров и сто килограммов груза, или двести пятьдесят килограммов груза и двоих пассажиров. Каким-нибудь белоручкам это, возможно, и все равно, однако те из читателей, кто в районе Видземского взморья строит себе домик либо деревенских родственников имеет, которые не знают, куда девать осенью яблоки, будут мне за эту информацию очень даже признательны.

Итак, по Псковскому шоссе, распространяя едкий черный дым, катил 423-Н, а в его багажнике гремели пустые деревянные ящики. За рулем сидел Вилис, крепкий мужчина с круглым лицом бурого цвета.

У придорожного ресторана «Грибок» наш «Москвич» свернул прямо в сугроб, неровен час какой-нибудь ветрогон заденет прицепом, и владелец пошел обедать.

Мороз старался вовсю — снежный порошок вихрился в воздухе, забивался во все щели, мелкой теркой проходил по ушам.

— Во дает! — В клубах пара Вилис ввалился в гардеробную и сбросил на широкую стойку шубу. — Угостись папироской — рижская!

В нижнем зале, предназначенном для проезжающих, царил желтоватый полумрак — свет неярких ламп отражался от лакированных столов в национальном стиле, от буфетной стойки в форме подковы. В застекленной витрине посверкивали бутылки зарубежного зелья с разноцветными этикетками.

Как обычно в зимний послеполуденный час, посетителей почти не было, и официанты болтались где-то на кухне.

Вилис остановил свой выбор на устойчивом шестиместном столе неподалеку от входных дверей, взял меню и уселся спиной к залу. Любил он, коротая время, окидывать критическим взглядом входящих.

Подошел официант и нехотя распахнул блокнотик. На чудеса он не надеялся — сейчас закажет супчику погорячее, порцию вареного гороха и стакан простокваши, в лучшем случае кружку пива.

— Хочу поесть как следует, — сказал Вилис.

— Кушайте на здоровье, — равнодушно промолвил официант и выдвинул стержень шариковой авторучки — заказывай, мол, не тяни.

— Язык говяжий заливной... одну порцию... Ветчину с соленым огурцом, одну порцию... — Вилис водил пальцем по строчкам. — Рольмопс... один.... Шпроты с маслом...

Остановился, пробежал глазами не столь уж длинный список и велел нести каждого названия по блюду.

— Прошу прощения, но у нас сегодня четыре горячих, — официант растерялся и почему-то уставился на Вилисов низкий лоб.

— А ты по порядку, тогда не остынут!

— Что будем пить? — Лицо официанта ожило. — Французский «Наполеон», грузинский, «Греми», молдавский...

— Чайку с вареньем... И бутылку фруктовой...

Необычный заказ вызвал горячие споры среди обслуги — не торговая ли инспекция пожаловала, тяжело ты, шапка официанта. Однако буфетчица — человек опытный — сказала, что никакой это не инспектор, а деревенщина, загнал в Риге борова, и вся недолга. Не пьет же потому, что на машине. Вы на руки посмотрите. Лапищи красно-бурые, с короткими пальцами

побломанными ногтями. Это он в сенокос орудует шиллами двадцать часов подряд, в борозде всю картошку отроет, хоть и стоя по колено в воде, запросто поднимет трехпудовый мешок и проскачет на одной ножке вокруг амбара, словом, мужик.

Буфетчица, ясновидящая, дала маху только насчет скачек вокруг амбара — на одной ножке с трехпудовым мешком проскакать Вилису уже слабо, в остальном все соответствовало — возвращался он с рынка.

Курица жареная холодная и копченая лососина, нарезанная тонкими ломтиками, яйца под майонезом и карбонатискусно оформленным бруствером из гарпира, и «Острова в океане», и «Бедные рыцари» с клюквенным морсом — благоухало все, ароматы составляли соблазнительный коктейль.

— Так! — Вилис легонько стукнул кулаками по столу. Вначале обилие тарелок его испугало, однако, смекнув, что рублей пятнадцати за глаза хватит, он успокоился. К нему возвратилось на мгновение утраченное было чувство собственного достоинства. — Могу я себе позволить или нет! Человек, который лично везет товар на рынок, а не путается со снабженцами, может себе позволить такой обед!

Спустя некоторое время Вилис ослабил ремень, растегнул пару жилетных пуговиц и закурил папиросу.

В этот момент в зал проскользнул какой-то жалкий субъект. Как ему посчастливилось миновать швейцара и гардеробщика — вечная тайна. На вид субъекту могло быть лет пятьдесят, все его существо взывало о сострадании и теплоте, аж посинел от холода, ожидая за дверьми, пока бдительность швейцара притупится. На голове выцветшая вязаная шапочка с помпоном, на худосочном теле помятый костюм размера на четыре больше, на сером лице жадно блестят большие глаза. Мгновенно оценив ситуацию, мужичок уже издали поклонился Вилису и дрожащей рукой показал на свободную скамейку по ту сторону ломящегося яствами стола:

— Свободно?

И, не дожидаясь ответа, проворно сел. От него несло самогоном. Он поспешно сорвал с головы и сунул в карман шапочку, обнажив седые коротко стриженные полосики. Плохо выбрит, наверняка тупым лезвием, щетина кое-где и мелких порезов много. Джемпер на голое тело и, судя по вышивке, женский. Какое-то вре-

ми он сидел молча и с укоризной смотрел, как Вилис степенно ест. А Вилис в свою очередь заметил, что мужичок мнет в руке рублевку — выклянчил, видать, у кого-нибудь — и шумно сглатывает слюну. Что-то в этом глотании знакомое, виденное где-то.

Подошедший официант недовольно поморщился — охота без толку шагать через весь зал.

— Сто граммов ликерчика за девяносто шесть копеек, — пробормотал мужичок и вдруг напустил на себя спесь. — И чтобы без недоливу, я проверю!

— Ступай к стойке, выпей и не привязывайся к людям. Если он вам мешает, вы только кивните! — Официант повернулся к Вилису и, перекинув через локоть полотенце, чинно удалился.

— Скажите, разве это обслуживание? — заскулил мужичок, выждав, пока официант отойдет на безопасное расстояние. — Максом меня зовут.

— Вилис.

— И буфетчица черт-те где ходит... За свои деньги не получишь того, что просишь!

— М-гм, — прочавкал Вилис с набитым ртом.

— Глянь на мою стрижку! Вчера из тюрьмы! — таким тоном говорят о небывалых свершениях. — Пять лет! Да ты понимаешь, что такое пять годков в тюрьме? Там такую жратву не дают!

Вилис перестал жевать и уставился на Макса. Неужели... Он еще не верил своему счастью... У того мужика правый верхний зуб, глазной, был с золотой коронкой...

— Я приложусь к рыбке, пока мне подадут, — Макс, по-своему истолковав замешательство Вилиса, придвинул к себе тарелку с заливным судаком под хреном и стал быстро есть ложкой. — И куда эта буфетчица запропастилась!

Блеснула золотая коронка.

Вот! Наконец-то!

Разорвать на куски! В порошок стереть! Поджарить на медленном огне и пепел развеять по ветру! Подвесить на крюке! Посадить на кол! В пруду утопить! Облить серной кислотой!

Макс не чуял опасности.

— А в той тарелке что? — спросил он.

— Сырный салат... — ответил Вилис автоматически, мыслями он был в прошлом.

— Если знаешь, как, можно приготовить приличное блюдо, — сказал Макс и придвинул к себе тарелку с салатом.

...Только что прошел дождь, и брусчатка Видземского рынка блестела и дымилась. Гремели жестяные чаши, в которых развешивали молодую картошку. В тот год ранний картофель был в цене. В Курземе и Литве погубила его мокрядь, много не продашь, покупали по килограмму, редко — по два.

Вилис приехал с полным грузом. Ехал с опаской — у него не было уверенности, что машина выдержит, купил ведь подержанную, громохала изрядно... Он написал на клочке бумаги «1 руб. 40 коп.» и прикрепил к развязанному мешку.

По таким ценам в самый раз вкалывать! Жене возиться не хотелось, пыталась и его отговорить, но он настоял на своем, и вот результат — двести пятьдесят килограммов на рубль сорок... — стоп, стоп, это будет... Это будет... Триста пятьдесят рублей! Жаль, клиенты мелкие, берут по килограмму, до вечера не управиться... Но оставаться недосуг — с утра вилы в руки и стоговать сено. С одной стороны, сено колхозное, а картофель личный, с другой стороны — погода сносная, но вдруг зарядят дожди, всемирный потоп, что со скотиной будет? В эту самую минуту, когда смутные мысли Вилиса метались в заботах от частного сектора к общественному и обратно, кто-то дернул его за рукав.

— На вид вы человек разумный, — сказал некто. — Отойдем в сторонку, поговорим. — Небольшого роста, держится молодцевато, во рту на глазном зубе посверкивает золотая коронка. На нем роскошный импортный плащ, английский котелок, туфли на каучуковой подошве несомненно на заказ.

— Ну, что надо?

— Сколько кило у вас осталось? Сто? Больше?

— Больше двухсот, — признался Вилис.

— Ты и завтра не справишься, а в понедельник рынок закрыт... Да и цены могут упасть... — Человек взял двумя пальцами картофелину и поглядел на свет. — Хороший сорт... Рассыпчатый...

— Да... Конечно... — Вилис поспешил согласиться, покупатель-то не о килограмме толкует.

— По рублю беру все!

— Рубль двадцать, — Вилис притворился, что сейчас увидит к весам.

Покупатель задумался. Прикинул что-то в уме и сказал:

— Сдается мне, ты малый толковый... Я заплачу тебе по рубль двадцать, но с одним условием. На бумаге рубль пятьдесят!

— Что? На бумаге? Не понимаю!

Покупатель схватил Вилиса за рукав и зашептал:

— Я работаю в больнице снабженцем. Закупаю оптом для столовой. Ты получаешь рубль двадцать и едешь домой, а по бумагам пишем рубль пятьдесят. Понял?

— Вот теперь понял, — Вилис заулыбался и заговорщически прищурился. — Все хотят жить! Я могу написать и рубль семьдесят! Начальство — нас, а мы — его!

— Нет-нет! Больше нельзя. Надо знать меру! Теперь перевесим товар.

Вилис выгребал картошку из мешков, ссыпал назад, чихал, глотал пыль, покупатель знай себе отмечал вес на листочке — в пяти мешках по сорок килограммов, в початом тридцать.

Вскоре «Москвич 423-Н» запетлял по узким мощеным улочкам в районе Гризинькалнса.

— Здесь! — скомандовал покупатель, и Вилис затормозил. Где же столичная больница? Вокруг одни двухэтажные строения — деревянные и облупленные кирпичные.

— Открой-ка заднюю дверцу, — приказал покупатель. Два мешка он вывалил на тротуар у подъезда. — Это завхозу!

Вилис понимающе кивнул — жить в городе на окладе все равно, что остаться в деревне без приусадебных соток.

«Москвич» покатил дальше.

— А как я получу свои мешки?

— Не беспокойся! У меня на складе весь угол завален мешками из-под сахара. Индийские.

— В хозяйстве пригодится, — у Вилиса полегчало на душе. С этим мужиком не пропадешь. К осени привести ему ящик-другой яблок, окупится. Подарки всегда окупаются.

— Тебе покрышки не нужны?

— Денег нет, за машину в долгах... Разве что весной...

— Заметано. Ты мне напомни, я тебе дам номер моего домашнего телефона... Стоп! Главврач тоже человек, без картошки не проживет!

Ухватив по мешку, отволокли в парадное внушительного шестизэтажного дома.

Неподалеку от их «Москвича» остановилось грузовое такси.

— Еще только начальника милиции ублажим — и в больницу... Да, не бог весть что платят в этой милиции. Если им не подкинуть, три года водной обуви ходить будут... Тут он живет, тормози!

Прошел без малого час, пока они добрались до больницы. В багажном отделении «Москвича» оставалась всего пара мешков, один наполовину пустой.

— Заворачивай во двор, — снабженец вылез из машины и ткнул пальцем в широкие железные ворота, за которыми прогуливались больные в полосатых пижамах.

— Что? На замке? — Снабженец был поражен и разгневан. Он вдруг налетел на человека в пенсне, выходящего через боковую дверь. — Это какой же болван распорядился закрыть ворота?

— Я ничего не знаю... — испугался владелец пенсне. — Я был у рентгенолога...

— Нечего тут шлаться, если ничего не знаешь! — рявкнул на него покупатель, а Вилису помахал любезно. — Минутку!

И исчез в боковушке.

В последний раз Вилис видел его спину сквозь узорчатую решетку ворот — он шел через больничный двор... На параллельной улице покупателя ждало грузовое такси, а в нем мешки с картошкой. Эти двое работали на пару, восемьдесят лет на двоих, пять фамилий и семь судимостей за мошенничество.

— Вот как надо обходиться с лаптями! — похвастал покупатель, сел в грузотакси и велел ехать к Большой Бете, которая по дешевке скупала оптом овощи, а затем втридорога продавала вразвес, за ней по документам числился индивидуальный огород с хозяйстройкой вблизи ипподрома.

Какой разразился скандал! А позор... Теща разболтала по всему колхозу. Много лет спустя в механических мастерских еще можно было услышать: «Надо по-

говорить с Вилисом, у него в Риге блат по части снабжения!» Или: «Вилис знает, он у нас специалист по оптовой торговле картофелем!»

До поздней осени Вилис все свободное время проводил на рижских рынках, надеясь или обнаружить мешки, на которых химическим карандашом было выведено название хутора, или встретить афериста самолично. Не везло, и, пожалуй, к лучшему, убил бы на месте и по сей день ожидал бы амнистии. Сотни раз представлял, как согнет «снабженца» в бараний рог, и уже слышал, как мошенник молит о пощаде, он же, Вилис, неумолим.

Прошло около пятнадцати лет, и вот этот тип сидит по другую сторону стола и обжирается сырным салатом, и невдомек ему, какие тучи нависли над его головой. Спору нет, страсти поутихли, однако примем во внимание характер Вилиса и ту основательность, с которой он берется за любое дело.

За третью тарелку Макс принялся без всяких церемоний и вводных слов. Вилис смотрел на него нежным взором и жевал потихоньку. Он был стратегом.

Про картошку ничего не докажешь, думал Вилис. На суде этот фрукт будет отрицать, а я заработаю сутки за драку. Для верности следовало бы его подпоить, заманить в машину, отвезти куда подальше и всыпать как следует.

— Сушь? — сочувственно спросил Вилис.

— Еще какая!

— Официант! Графинчик и счет!

Опрокинув две рюмки кряду, Макс сообщил, что в Риге у него квартира, фактически пустая. После третьей сказал, что брат его работает на складе автосервиса, а когда и на эту приманку Вилис не клюнул, заявил, что может за полцены раздобыть списанные стройматериалы.

— Неужели тебе ничего не надо?

— Надо! — зарычал Вилис, и тонко продуманный план пошел насмарку. — Двести пятьдесят рублей, которые ты у меня выманил! Попался, прохвост!

Макс съежился, но продолжал двигать челюстями.

— Знаю, — сказал он серьезно.

— Он еще выступает! Да я сейчас тебе не сходя с места так двину...

— Отдам! Завтра... Только условимся о встрече...

— Он отдаст! Где же ты возьмешь? Голоштанник!

— Завтра увидишь! — В графине оставалось больше рюмки, и Макс плеснул водки в фужер. — Попомни мое слово!

— Ты закусывай, кто знает, сколько будешь перебиваться жидким супчиком.

— Завтра отдам долги и начну исправляться, — всхлипнул Макс, разглядывая сквозь слезы продолговатую тарелку с рольмопсами. — Да-да... Зачеркнем впустую прожитые годы и начнем новую жизнь, красивую, трудовую... — Он прибрал закуску и принялся не спеша намазывать маслом белый хлеб. — Я получил в наследство дом!

— Расскажи своей бабушке...

— Честное слово! Хотя и ничего особенного... Три комнаты с кухней... Но хозпостройки под новой кровлей и сад в соку! Сосед не раздумывая шесть тысяч дает.

— Заткнись, а то я за себя не в ответе... Так долбану, что задубеешь!

— Дом в Сигулде, не доезжая церкви.

«Брехня, или же твой сосед такой же бандит, как ты, — подумал Вилис. — За шесть кусков в Сигулде сегодня галльюн не купишь. Будь у меня такой наследник, я бы этот дом просто спалил!»

— У тетки детей не было. Я к ним еще мальчишкой на лето приезжал.

Есть ли справедливость в этом мире? Где она, справедливость — стервецу манна небесная, а честный труженик выкладывает заработанные трудом и потом денежки! Пожалуй, брешет. А может, и нет. В конце концов родня у всех имеется.

— Она меня любила, учила уму-разуму, — продолжал Макс, — а я связался с дружками и женщинами легкого поведения. — Из глаз у него посыпались слезы. — В тюрьму посылали кульки с грушами из собственного сада... Вот тебе рубль, закажи еще сто грамм, у покойницы было золотое сердце!

— Официант, еще сто! И счет!.. А груши зимние?

— Я в этих сортах ничего не смыслю. Но сочные! Четыре громадных дерева. Тетка говорила, в урожайные годы почти две тонны снимали.

Кто купит — не прогадает. На грушах за пару лет деньги и вернутся!

— За тебя, тетя моя родная, пусть земля тебе будет пухом! Клянусь твоим добрым именем, тебе никогда уже не придется за меня краснеть! — сказал Макс, уставившись в потолок. Отхлебнув глоток, он продолжал: — Из тюрьги меня выпустили голышом, как ошипанного петуха... Все, что на мне, от теткиных щедрот... Костюмчик, правда, великоват. Дом закрыли на замок после похорон, так и стоит... Только сарай взломали, инструментик кое-какой сперли...

— Как пить дать сосед и спер, кто же еще сунется! — Неприязнь к незнакомому соседу Макса разрасталась. Отхватить в Сигулде дом за шесть тысяч! То же, что ограбить продавца среди бела дня!

— Две лопаты я опознал по черенкам, а он сказал, что покойная ему их подарила!

— Сказочки!

— Вот и я думаю, что заливает!

Ладно, допустим, дом нуждается в капитальном ремонте, печи надо переложить, полы перестлать, плитки новые, двери, окна, даже кирпичная облицовка — и все равно за шесть тысяч — это задарма, у вора куплено. Шестнадцать, двадцать, а может, и все тридцать тысяч — вот цена такого дома. Бесстыжие люди! Этот картофельный жулик по сравнению со своим соседом — просто божий одуванчик.

— Ты зря торопишься, — наставительно произнес Вилис. — Этот сосед после покупки дома и не подумает чтить память твоей тетушки...

— И то верно, — согласился Макс, оглядывая стол. Все было выпито и съедено подчистую, если не считать листьев салата и петрушки. — А что поделать? В земляных работах я ничего не кумекаю, а долги-то возвращать надо, чтобы ни у кого не было причины меня преследовать... Хорошо, тебя встретил, ведь я не знал твоего адреса...

— Перестань валять дурака!

— Посмотри, какие у меня пальцы... Руки пианиста... Часовых дел мастер... Тебе буду чинить за так, с тебя и копейки не возьму!

— Дом надо хорошему человеку продать, — сказал Вилис и, понизив голос, добавил: — Знаю я одного.

Эту халупу можно купить на имя шурина, тогда никто не сможет привязаться! Заодно с ремонтом пару теплиц поставить — под Ригой только цветочками и торговать! Вот где клад зарыт!

— Если ты серьезно, посмотрели бы дом. Сейчас. Немедленно! — Максу идея сменить покупателя поправилась. — Может, накинёт?

— Это некрасиво, — Вилис угостил Макса рижской сигаретой. — Ты с хорошего человека хочешь сорвать больше, чем с плохого. Шесть тысяч — немалые деньги.

— Но он не должен держать коз, они могут обглодать яблони, которые тетка сажала своими руками! Если ты мне обещаешь, не будем терять время, едем! — Макс выхватил из кармана и напялил на себя вязаную шапочку. — Дом давно не отапливался, возьми поллитра, завтра отдам.

— Ставлю лично!

Стемнело, кругом не видно было ни зги. Только двухэтажный ресторан сверкал в свете прожекторов как стеклянный дворец. Подмораживало, шел мелкий снежок.

«Москвич 423-Н» продолжал путь в направлении Пскова. На переднем сиденье рядом с шофером сидел Макс и говорил без умолку о добрейшей покойнице, прикладываясь в паузах к зажатой между колен бутылке. И чем ближе они подъезжали к Сигулде, тем чаще целовал он горлышко.

— Предупреди, когда поворачивать... Скользко.

— Сейчас, — Макс отпил глоток. — Налево.

Улочка была довольно узкая, днем по ней проехал грейдер, отваливая снег в обе стороны. Дорога петляла, и фары выхватывали из тьмы заборы, изгороди частных застройщиков, ягодные кусты, яблони с укутанными от заячьих набегов стволами, стены жилых домов, стекла парников.

— Далеко еще?

— Вправо давай...

Вилис свернул и затормозил. Поперечную улицу покрывал девственный снег, если не считать пешеходной тропинки.

— «Москвич» не салазки, — раздраженно сказал Вилис и выключил мотор.

— Да, обещали снег убрать, а не убирают.

— Придется топать пешком.

— Тут недалеко.

Мужичок с почти пустой поллитровкой, дрожащий от холода, шел впереди, закутанный в доху Вилис — сзади. Когда глаза привыкли в темноте, на снежном

фоне замаячили аккуратные домики. Кое-где в окнах горел свет. У одного из окон Макс остановился.

Небольшой коттедж стоял у самой обочины, а поодаль, во дворе, виднелся второй дом, намного больше первого.

— Вон тот, — Макс показал пальцем на дом в глубине двора.

— Он двухэтажный, — в голосе Вилиса послышалось недоумение.

— Второй этаж не в счет, не достроен... Там ни пола, ничего... Подожди, я возьму ключ! — Макс сунул бутылку в снег и, прежде чем Вилис успел вымолвить хоть слово, распахнул садовую калитку. Слышно было, как он стучался в коттедж с черного хода. В освещенной комнате за розовыми занавесками метнулись тени — пошли открывать.

Пока Макс вел переговоры, Вилис прохаживался вдоль проволоочной ограды, полы его шубы тащились за ним по снегу как шлейф невестиного наряда. Присев на корточки, он попытался разглядеть в саду четыре большие груши. Да, деревья там были, но все низкорослые, и ни у одного из них крона не тянулась вверх, как у грушевых деревьев.

Сердито хлопнув калиткой, вышел Макс.

— Не дает, свинья! — Макс одним махом опорожнил бутылку. — Не давать мне ключи моего же дома! Это незаконно! — И, демонстрируя глубочайшее презрение к обитателям коттеджа, он швырнул пустую бутылку через забор.

— Таких прав у него нет! — Вилис тоже возмутился.

— Если ты обеспечиваешь мне другого покупателя, я ему этот дом не продаю! И точка!

— Я не уверен, есть ли у него шесть тысяч, но пять с половиной точно, — неопределенно ответил Вилис.

Начнешь ты новую жизнь, как же. Едва положишь деньги в карман, забудешь о благих намерениях. Все до последней копейки потратишь на водку! Сколько таких вот начинающих новую жизнь ошивается на одном только Видземском рынке у рыбного павильона!

— Свинья поганая! — Макс продолжал ругаться. — Сам ведь набивался с этой тридцаткой, я и не просил!

— Что еще за тридцатка?

— Да одолжил я у него тридцать рублей. Нечего было жрать.

— Надо ему эти деньги отдать! И больше с ним не связываться, а с этой продажей я, пожалуй, сам все устрою.

— Это верно. Завтра попробую раздобыть деньги...

Вилис вынул из кармана три десятирублевые купюры и дал Максу:

— Вместе со старым долгом будет двести восемьдесят... Только пусть сразу же отдаст ключи!

— Ты забыл приплюсовать поллитра.

— Водку ставил я, — напомнил Вилис.

— Ты только не уходи! Если что, позову тебя на помощь!

— Будь спокоен. Друзей в обиду не даем!

И опять Макс забарабанил в дверь, и снова за розовыми занавесками мелькнула тень — пошли открывать.

Вилис отошел на несколько шагов от коттеджа. Через сад соседнего дома предмет купли-продажи был виден лучше. Фундаментальное строение. Окна верхнего, незаконченного этажа застеклены, хотя ведь в таких случаях их заколачивают досками и толем. Даже по самым осторожным прикидкам цена такому дому не меньше двадцати тысяч.

Удовлетворенно хмыкнув, Вилис потопал назад к калитке. Облака на миг поределли, и в ярком свете выплывшей луны сверкнула валявшаяся посреди двора пустая бутылка.

«Ну пройдоха, ну плут, наверняка о чем-то догадывается», — честил Вилис соседа, который, видать, ни за что не хочет расставаться с ключами.

Где-то поодаль залаяли собаки, но вскоре угомонились.

За розовыми занавесками погас свет, наступила тишина.

Вилис собрался с духом, вошел во двор и постучался в дверь.

— Кто там?

— Я ищу вашего соседа!

Открыл жуликоватый на вид интеллигент с бородкой клинышком. Волосы взлохмачены, сам в полосатой пижаме.

— Какого соседа вы ищете?

— Это вам лучше знать! — Вилиса раздражало,

когда его считали дураком. Чтобы не дать возможности этому интеллигенту захлопнуть дверь перед самым носом, Вилис поднажал плечом и силой втиснулся в довольно узкую прихожую. Вне всякого сомнения, Макс где-то здесь. Может, этот стервец подсунул подвыпившему Максу полную рюмку и уложил его спать или же уговорил не расстраивать завтрашнюю сделку. Еще бы! За шесть тысяч такую домину!

— Что вы себе позволяете! — завизжал интеллигент, отскочив к стене.

— Отдавайте ключи, они не ваши! — заорал Вилис.

Интеллигент потерял дар речи, однако ноги его еще слушались. Одним прыжком он очутился в комнате и захлопнул за собой дверь.

Вилис заглянул в кухню. Макса там не было, но на крашеном полу, возле раковины, ясно были видны следы ног — осыпавшийся с обуви снег растаял, оставив сверкающие капли воды.

— Я вызову милицию! — откуда-то крикнул интеллигент.

— Я не боюсь, это вы должны ее бояться!

— Прочь! — раздалось за спиной Вилиса. Интеллигент держал в руках топор. При этом он так дрожал, что топор, казалось, вот-вот выскользнет у него из рук.

Вилис медленно опустился на стул.

— Извините, — произнес он, поглядывая на вооруженного интеллигента с козлиной бородкой. — Макс зашел к вам за ключом, и я думал...

— Не похоже, что вы умеете думать! — Топор козлобородому явно мешал, но он боялся его бросить. — Не знаю никакого Макса!

— Вы впустили его в дом, а я остался ждать на улице.

— Прошел уже час с лишним... Такой плюгавый мужичонка...

— Да-да!

— Он сказал, что на машине застрял в снегу и где найти тракториста... Потом пришел еще раз и взял клещи. Еще напился воды из крана...

— Вы разрешите мне уйти? — почтительно спросил Вилис и уставился на свои сапоги...

Припорошенные снегом следы вели от навеса в сад, обозначая направление, в котором Макс дал деру. С тротуара его нельзя было заметить — заслонял дом.

И снова «Москвич 423-Н», попыхивая выхлопной

трубой, взял курс на Псков. В багажном отделении гроыхала деревянная тара. Человека за рулем обуревало чувство мести.

— Вот как надо обходиться с лаптями! — обращаясь к самому себе, не без хвастовства заметил мужичонка в вязаной шапочке. Он выбрался из снежных сугробов на проселок. — Покупатель домовладения. Тридцатник в кармане!

Рассчитывая схватить попутку, которая довезет его до места, где можно купить спиртное, Макс потихоньку-полегоньку добрался до автобусной остановки. В трехстенном павильоне опустился на скамейку, достал клещи, потеревил обмотанную вокруг рукоятки изоляционную ленту и сунул инструмент обратно в карман. Посмотрел на три красненькие бумажки и рассмеялся.

На следующее утро его нашли замерзшим. Попытка установить личность ни к чему не привела.

Никто его не знал.

ГАНГСТЕР ФРАНЦ ФЕРДИНАНД ЖУК

— Повышение квалификации — важнейшее дело, — произнес ревизор Йовс. Он выдержал длительную паузу, чтобы эта мысль успела дойти до моего сознания, и продолжал: — Правильно пишут в газетах: каждый должен совершенствоваться по своей специальности. А каких трудов стоило уговорить Михаила Львовича послать на курсы повышения квалификации именно меня! Коллеги надивиться не могли: Йовс, говорили они, ведь вы все знаете, вам-то что за смысл переться к черту на кулички? С одной стороны, оно, конечно, так. Я — ревизор с двадцатилетним стажем, у меня семья, у меня ишиас, думаете, легко мне будет ночевать в курсовом общежитии на железной и притом короткой кровати, но... очень уж развито во мне чувство долга. Вот я и помахал ручкой: «До свидания, Рига!»

Мы знакомы уже несколько часов. Судьбе не без помощи железнодорожного ведомства было угодно свести нас в купе поезда дальнего следования. Теоретически в этом купе обитал и третий пассажир, какой-то инженер треста садов и парков, но едва поезд тронулся, как, движимый чисто детским любопытством, он отпра-

нился выяснять, прицеплен ли к нашему составу вагон-ресторан.

Зато другой мой попутчик Иовс не успел даже по-настоящему устроиться. Так и сидел не шелохнувшись, придавив широченными ладонями к коленям свой портфель и посверкивая толстыми стеклами очков.

— Вы очень сознательный человек, — сказал я.

— Стремлюсь быть таковым, — уточнил Иовс.

За окном сменялись живописные виды, побуждая к разговору о картинных галереях и художниках. Оказалось, и для Иовса искусство было отнюдь не пустым звуком.

— Доводилось мне и с художниками встречаться... Ревизовал как-то живописную мастерскую на окраине, в Вецмилгрависе... Они там пропивали спирт, отпущаемый на разбавление лаков. Наивные люди, воображали, что я не смогу это доказать!

— Уж вам-то, наверное, сопутствуют одни удачи, — сказал я с легкой иронией.

— Представьте себе, за долгие годы ни одному торговому работнику так и не удалось обвести меня вокруг пальца, кроме... — ревизор Иовс вдруг ссутулился. — Вы где живете? У старого воздушного моста? Тогда вы определенно помните этот павильон. Такой большой желтый павильон с трубой, на углу Старпстур, сразу за кинотеатром. Лично я давненько его приметил, несколько лет назад, но он был тогда не по моей части, так как стоял не на той стороне улицы, которая находилась в ведении нашего общепита, а на противоположной. И вдруг границы предприятий общественного питания почему-то пересмотрели, и желтый павильон попал в сферу моей деятельности.

Я отправился туда уже на следующее утро — этих работников нельзя оставлять без присмотра ни на минуту, они постоянно должны чувствовать занесенный над ними карающий меч правосудия. Иначе в сливовом компоте у вас будут плавать одни косточки, а мясо в котлете вы сумеете обнаружить разве что под микроскопом. Нам, ревизорам, все это известно до тонкостей, и не будь нас, вы, покупатели, всю жизнь пили бы вместо бульона мутные воды, которые бороздит наша славная рыболовецкая флотилия, отправляясь за сельдью на банку Джорджия.

Словом, ранним утром, по долгу службы положив в портфель пачку бланков для составления актов ревизи-

зии, я затесался в толпу завсегдатаев, ожидавших открытия желтого павильона. Стою, принохиваюсь к запаху жареного мяса, приглядываюсь к дыму печной трубы и жду, когда же распахнутся двери. И что вы думаете? Они отворяются ровно в восемь, ни минутой позже. Этакая точность для нас, опытных ревизоров, первый сигнал — гляди в оба!

Как и во всех заведениях подобного рода, интерьер здесь довольно привлекательный: направо — несколько столиков, налево — буфетная витрина с холодными закусками, кувшинами с фруктовым соком, а за стойкой... за стойкой гангстер Франц Фердинанд Жук в белом халате так и вертится व्यюном между ящиками пива и лимонада.

Ну, доложу вам, физиономия! У этого Франца Фердинанда глаза были разного цвета, нижняя угловатая челюсть отвисала, зубы... Ни словом сказать, ни пером описать! Рядом с ним разъяренный павиан показался бы совершеннейшим интеллигентом в пенсне. Такому типу не то что живого человека — добропорядочные люди на пять минут бранные останки усопшего родственника не доверили бы.

Я встал в очередь к буфету, никакой предвзятости ни к кому не испытывая.

В мангале, тихо шипя, жарился на углях шашлык.

Что бывает, когда к буфетной стойке подходит, например, такой человек, как вы?.. Хотя я лично не могу себе представить, о чем в этой очереди можете думать вы. Не исключено, что в вас и теплится этакая молчаливая надежда — авось подадут полновесную порцию. Так ведь, правда? У меня надежды этой нет, увы, я ведь точно могу сказать, что сейчас произойдет. Я на зубок знаю, сколько должна весить готовая порция шашлыка: мяса сто десять, риса пятьдесят, нарезанного кружочками лука — тридцать граммов, плюс — одна шестая часть лимона. Человеку с моим опытом в разные там рецептуры заглядывать ни к чему. Более того, я знаю и то, какую мне дадут порцию. Мяса будет меньше граммов на двадцать, лука — в зависимости от урожая нынешнего года — на одну треть или на половину, а лимонной дольки не будет вообще. В лучшем случае положат тонюсенький ломтик кожуры, который благодаря своей сочной желтизне смотрится весьма декоративно и даже как-то способствует выделению желудочного сока.

Мне ведомо и то, как именно провинившиеся лица будут оправдываться. Буфетчицы-блондинки обычно выливаются горючими слезами, и тушь течет-растекается с ресниц по напудренным щекам.

— Черт попутал, товарищ ревизор! Да что я могу поделывать, если эта жаровня раскаляется, как в аду, и шашлык на ней пережаривается? Дайте другой уголь, и пережарки не будет, и вес будет тютельница в тютельную! Может, вы думаете, что я мясо ташу или выкраиваю из него лишние порции? Как же, была охота! Я достаточно зарабатываю! И не все кусманчики так уж и пережарены, разрешите, я вам положу вот с этого шампурика... Небось дома ведь позавтракать не успели.

— А лук? — спрашиваю я возмущенно. — Лука тоже недовложение! Не станете же вы утверждать, что и тут виновата раскаленная жаровня!

Нет-нет, насчет лука — тут ее грех, ну вот как чувствовала. У нее в жизни трагедий было — раз, два, три. Значит, так — два предыдущих замужества и вот еще это горе луковое. Что, скажите на милость, она, бедно одетая беззащитная женщина, может сделать экспедитору, который привозит такой лук — больше половины гнилья. Положить такого луку людям на тарелки — да никогда, пусть идет прахом ее третье замужество, пусть начальство выговор ей вкатит, а только от этого лука и кабан прослезится! Едва мы касаемся лимонного вопроса, как буфетчица закричала во все горло будто я собираюсь ее придушить: «Соня — а-а!» Тут из какого-то закуточка выскакивает задрипанная старушка на кривых ногах и, размахивая руками с зажатой в них посудной тряпкой, принимается строчить, как из пулемета:

— Я пенсионерка, я тут работаю, потому как добрая, по своей воле пашу. А эти чертовы лимоны в свободное время нарезаю, потому как мне людей жалко! И что вы мне там шьете, это дудки, я тут не материально ответственное лицо! У меня образование всего два класса, дробей ваших не учила! Лимон на шесть частей, говорите? А что это — шестая часть, что за фитюлька? Половина будет, если его пополам разрезать, а если ту половину опять пополам, то выйдет четвертушка... Не дурите мне голову, сами режьте свой лимон на шесть частей, коли сможете. И вы меня не страшайте, я законы знаю, у меня зятек адвокат! Один такой стращал-стращал, а самого в каталажку уpek-

ли, и для вас местечко найдется! Видали, он меня учить будет!

Поглаживая бабусю по головке и всячески успокаивая, буфетчица выталкивает ее за дверь. И принимается долго и нудно разглагольствовать, по какой это такой причине ей взбрело на ум попросить помощи в резке лимонов. У самой, мол, времени не хватает, ей, понимаете, не хочется, чтобы люди часами в очереди простаивали, и так далее и тому подобное. Слышали бы вы эту речь, вас бы разобрало удивление — как же так, за лимон заплатили, его вам не дали, а на поверку вы же сами, оказывается, и в выигрыше!

Недоумевали бы вы, но никак не я. Я достаю из портфеля чистый бланк и начинаю составлять акт:

«Такого-то числа сего года в таком-то часу при производстве контрольной закупки в точке общепита номер такой-то установлено, что...» Следует подробный, обильно смоченный слезами буфетчицы перечень фактов, а это уже известная гарантия того, что по крайней мере в течение ближайшего месяца покупатели будут получать — ну, я не утопист, не то чтобы шестую, но восьмую, а то и седьмую часть лимона.

Извините, я отклонился от темы, но мне хотелось ознакомить вас с общим состоянием дел в нашей сфере, прежде чем мы вернемся к этому прожженному гангстеру Францу Фердинанду Жуку.

Итак, подошла моя очередь, и я попросил порцию шашлыка и бутылку лимонада. Сосчитал в уме стоимость заказа и потихоньку прикинул, на сколько копеек меня надуют: на десять или на двадцать. Не тут-то было — сдачу дали сполна! Видит, значит, что человек не с похмелья, подумал я.

Взял свою тарелку и пошел в дальний угол. Сел спиной к буфету, чтобы продавцу не сразу было видно, чем я тут занимаюсь. Достал из портфеля миниатюрные весы, на каких охотники обычно развешивают дробь. Установил. Открыл коробочку с гирьками.

Первым делом взвесил лук. В нем было аккуратно тридцать граммов. Тут вы, вероятно, поразились бы. Я удивляться не стал. Дело в том, что в наше время такие дураки, которые уменьшали бы общий вес порции, давно перевелись. Если вам полагается сто граммов мяса и пятьдесят граммов риса, будьте уверены — в порции окажется ровно сто пятьдесят граммов. Пятьдесят граммов мяса и сто граммов риса.

Далее я осмотрел лимонную дольку. Сердце у меня екнуло от дурного предчувствия — шестая часть. Провалиться мне на этом месте — одна шестая!

Мясо я взвешивал, уже заметно нервничая и потев. Сто десять граммов — точь-в-точь по калькуляции!

Мой многолетний опыт незамедлительно подсказал мне, где зарыта собака. Правда, догадка моя оказалась неверна, ибо тогда я еще ведать не ведал, что за птица этот Франц Фердинанд Жук, гангстер из гангстеров.

Он опознал меня, вполне разумно рассудил я, уплетая за обе щеки аппетитно поджаренные — этого не отнимешь — кусочки баранины. Узнал меня, значит, и уже воображает, что обвел вокруг пальца. Нет-нет, братец ты мой, не на такого напал! Придется тебе в скором времени признать, что твоя радость была преждевременной, что ревизор Иовс хитрее тебя!

Само собой, я и виду не подал, что разгадал его маневр, наоборот, притворился, что его удар достиг цели.

— Как позавтракали? — спросил этот громила, улыбаясь во весь рот, от уха до уха. — Довольны?

— Весьма, весьма, — улыбнулся я в ответ.

И пошел к выходу.

— Заходите почаще! — крикнул он мне вслед.

Это было явное оскорбление, и я решил взяться за разоблачение Жука самым энергичным образом.

В операцию против Франца Фердинанда Жука я вовлек своего родственника — студента. Он жил поблизости и за пару дней до стипендии был готов за дармовой обед проскакать на одной ножке от Риги аж до самой Елгавы.

— Слушай меня внимательно, — сказал я, вручая ему трешницу. — Одну порцию шашлыка съешь на месте, другую скинешь в полиэтиленовый мешочек и доставишь мне сюда. Ее ты слопаешь после того, как я это дело взвешу.

Получив инструкции, студент помчался в желтый павильон на улице Старпстуру, а я покамест установил на письменном столе свои весы. Ждать пришлось недолго, моему гонцу одной порции всегда было мало... Взвесил.

Мяса — сто десять граммов.

Лука — тридцать.

Лимона — одна шестая часть.

Я осмотрел гирьки. Поистерлись? Нет, в порядке. Вывод напрашивался сам собой: гангстер Франц Фердинанд Жук информирован много лучше, нежели я предполагал. Из Иовсов он знает не только ревизора, но и прочих членов рода.

К счастью, на следующий день в Ригу приехал наш родственник из Даугавпилса. Я поспешил растолковать ему, что для укрепления родственных уз неплохо бы организовать совместную трапезу, раздобыл авто, и мы впервые собрали вместе всех девяностолетних Иовсов. Как вы уже догадываетесь, обед был дан в желтом павильоне. В последний момент, сославшись на срочную работу, я попросил родственника приберечь для меня самую маленькую порцию.

Когда я появился в павильоне, убеленные сединами старцы уже лакомились компотом. Они искренне сожалели о моем остывшем шашлыке.

Я торжествующе посмотрел на Франца Фердинанда Жука и водрузил на стол весы.

Мяса — сто десять граммов.

Лука — тридцать.

Лимона — одна шестая часть.

— Как обед? — улыбнулся гангстер. — Заходите почаще!

Я сразу понял, что напрасно потратился на бесплатное угощение для прожорливого студента и совместную трапезу для почтенной родни. До меня вмиг дошло, что о простейшем обвесе в этом заведении не может быть и речи, порции действительно соответствуют установленным нормам, и афера здесь куда как более тонкая.

Я мог, конечно, устроить внезапную всеобъемлющую проверку, но разве она послужила бы утешением для меня, ревизора, ведь была задета моя профессиональная гордость! Нет. Нет! Я должен, обязан победить его в одиночку.

Тем же вечером я принялся разрабатывать конкретный план действий. Руководствуясь логикой, я задался одним-единственным вопросом: на чем этот Франц Фердинанд Жук делает деньги, если не на обвесе и обсчете посетителей?

Оказалось, таких возможностей в принципе предостаточно. Он может наживаться на левом товаре, то есть закупать мясо в магазине или на рынке, мариновать его в казенном соусе, поджаривать в казенном

мангале, подавать в казенной посуде, а разницу в выручке класть себе в карман, увиливая от уплаты подоходного налога. А может быть, он держит у себя дома в ванной комнате барашков и кормит их остающимися на тарелках хлебными корочками?

Допустим, порции шашлыка в самом деле безупречны... В таком случае сразу же напрашивается вопрос: почему они безупречны? Ответ может быть только один: камуфляж. Прикрытие каких-то темных делишек! В павильоне торгуют крепкими напитками, а это значит, что в подсобке или на кухне может быть установлен самогонный аппарат, который знай себе капда кап, да так вот и отравляет сивушными маслами здоровье трудящихся.

Чем больше я размышлял, тем сильнее волновался, нащупывая для гангстеров, орудующих под вывеской предприятий общественного питания, уйму возможностей грести денежки лопатой. По ночам павильон мог превращаться в тайный игорный дом, воровской притон, укрытие для душегубов, разыскиваемых милицией, или еще похлестче.

С туфлями в руках я на цыпочках прокрался в прихожую, чтобы не разбудить детей. Надел пальто, нахлобучил на голову старую измятую шляпу и машинально рассовал по карманам отвертки и плоскогубцы.

Моросил дождик. Небо было черным, как смола, улицы призрачно пусты, и желтый павильон заметен уже издалека. Я притаился в доме напротив, на лестничной клетке, и стал наблюдать в окно за разбойничьим притоном.

Наблюдал долго. И безуспешно. Может, я опоздал к началу сходки?

Пока я торчал на подоконнике, дождь усиливался. Переходя улицу, я ступил в лужу, изрядно промочив ноги.

Вокруг павильона я обошел несколько раз. Тишина. Прислушался. Изнутри не доносилось ни звука.

Обеденный зал был освещен. Ни души.

Слабое утешение! Гангстер Франц Фердинанд Жук со своей шайкой мог оккупировать кухню — там окон нет.

Я зашел с черного хода. На задней двери висел большущий замок. Вроде бы все приметы говорили о том, что внутри никого нет, но я хотел удостовериться в этом собственными глазами, так как явно имел дело с матерым преступником.

Неподалеку от павильона стоял массивный контейнер с надписью «Пищевые отходы», а над задней дверью я заметил сетку из тонкой проволоки. Она закрывала люк, через который из кухни выходит наружу пар, а внутрь проникает свежий воздух — в летнюю жару одной вентиляцией не обойтись.

Случалось ли вам видеть документальный фильм о том, как сажают рис в Индокитае или на острове Суматра? Случалось? Помните, как тощие волю бредут, утопая в грязи, по рисовому полю и тянут за собой огромные плуги? Вот и я тащил на себе этот проклятый контейнер, чтобы, встав на него, заглянуть в помещение через ржавую проволочную сетку.

На кухне — никого...

Я облегченно вздохнул, натянул поглубже на глаза промокшую шляпу и хотел было податься домой, как вдруг мне пришла в голову интересная мысль, заставившая меня буквально застыть на месте.

Разгадка тайны Франца Фердинанда Жука была, разумеется, именно на кухне. Проникни я туда, и ко мне в руки непременно попадут вещественные доказательства: припрятанное краденое барахло, комплекты крапленых игральных карт, самогонный аппарат, бочка браги, да мало ли какие улики! Удалось бы только попасть на кухню...

Задача не из легких, так как ни разу в жизни никуда еще я не вламывался подобным образом. Я решил, что проще всего будет убрать сетку. Несмотря на то, что у меня были с собой инструменты, провозиться пришлось целый час. Отверстие, которое я проделал, как на грех, оказалось довольно узким, и мне пришлось вытянуться в струнку, чтобы им воспользоваться. К тому же я совершил ошибку, залезая в люк головой вперед, и в результате упал и слегка ушибся.

Методически, начав с угла, я обыскал весь павильон. Усерднее, чем фокстерьер барсучью нору. Я ворошил мешки с крупой, вытаскивал из-под плиты кастрюли, копался в золе, отодрал парочку половиц в надежде найти тайник в подполе, но тщетно — уж на что я тертый калач, а Франц Фердинанд Жук оказался пройдохой из пройдох!

Вылезал я наружу ногами вперед и новых ушибов счастливо избежал. Зато потерял свою шляпу, так как слишком поздно сообразил, что ее надо было выкинуть в люк с самого начала. Зацепившись за что-то, она

сделал у меня с головы и упала на пол в кухне. Возвращаться за нею у меня не было сил.

Утром, идя на работу, я сделал крюк в сторону желтого павильона. Возле него стояла оперативная машина с синей полосой на боку. Франц Фердинанд Жук в окружении зевак собирался вешать на дверь табличку с надписью «Переучет». Он энергично жестикулировал, по всему симулируя глубокое отчаяние.

Вы думаете, на свете много завмагов, которые плачут в три ручья при виде сломанных замков или вышибленных дверей? Ошибаетесь! Как раз наоборот, эти-то в большинстве своем не нарадуются такому подарку судьбы. Те, кто половчее, тут же набивают мешки наиболее ценными вещами и волокут к себе на квартиру. И только тогда звонят в милицию. А прибранное к рукам барахлишко, естественно, списывают за счет грабителей. Редко кто из этой публики упустит такую блестящую возможность поживиться. Посмотрим, какую недостачу заявит этот гангстер!

Когда после обеда я зашел в кабинет к Михаилу Львовичу, его лицо выражало озабоченность.

— Слушай, — сказал он, — ночью кто-то взломал павильон Жука и оставил там старую шляпу. Что бы это могло значить?

Я ничего не ответил. Молча расстелил перед ним на столе акты с результатами проверки.

Мяса — сто десять граммов.

Лука — тридцать.

Лимона — одна шестая часть.

— Не может быть! — воскликнул Михаил Львович. — У тебя что-то с весами!

Я грустно помотал головой.

Погрузившись в раздумье, мы долго и мрачно молчали. Мы стояли перед лицом необъяснимого факта, и чем загадочнее он был, тем ужаснее казался. В любой момент этот факт с грохотом и треском мог обернуться чрезвычайным происшествием. А мы были не в состоянии предотвратить взрыв, поскольку не могли к нему подготовиться. Мы восседали на пороховой бочке, вокруг которой описывал круги гангстер Франц Фердинанд Жук с горящим факелом в руке.

— Он распродает инвентарь павильона! — вдруг воскликнул Михаил Львович.

— Еще сегодня утром стулья были на месте...

— Значит, он готовится к распродаже инвентаря!

В один прекрасный день распродаст его, приберет к рукам кассу и сбежит! Вот увидишь, Иовс!

Все говорило о том, что так оно и случится.

...Кто-то долго скребся у дверей нашего купе, затем дверь отворилась, и мы увидели долго отсутствовавшего инженера треста садов и парков. Он сообщил нам, что вагон-ресторан к составу прицеплен, почему и произошла, так сказать, вынужденная задержка на предмет выяснения, не отцепят ли его на одной из ближайших станций.

— Сбежал? — поинтересовался я у Иовса, заинтересованный развязкой этой истории.

— Не успел. Мы закрыли павильон как бы на капитальный ремонт, это дало нам возможность сократить штаты, и таким образом гангстер получил «волчий паспорт». И все же любопытно было бы узнать, на чем он наживался... Вот поэтому я и еду на повышение... квалификации. На курсах нас обычно знакомят со всякими жульническими методами в сфере общественного питания. Да уж, физиономии страшнее этой мне видеть не случалось...

— Если речь... это... о вывесках, мне такую довелось видеть рожу... брр... в жутком сне не приснится самому отъявленному грешнику, — сварливым тоном произнес специалист по зеленым насаждениям, укладываясь на боковую. — Я этого человека принимал на работу. Сгребать сухие листья. А вообще аккуратный, порядочный человек, на редкость. Один из лучших рабочих у меня. Вот. Зовут? Зовут его Франц Фердинанд Жук.

И, отвернувшись к стенке, инженер моментально уснул.

«Как делают деньги на сухих листьях? — лихорадочно соображал я. — В бескормицу, может быть, резон скармливать эти листья козам?..»

— В кучах прелых листьев водятся дождевые черви, — будто угадав мои мысли, многозначительно усмехнулся ревизор Иовс, — а их можно сбывать рыболовам...

— Пожалуй, нам следует его предостеречь, — кивнул я в сторону храпящего инженера.

— В сущности, это наш долг...

Стуча колесами на стыках и перегонах, поезд быстро мчался вперед.

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Плеханов
ВО ИМЯ ДОБРА

3

Владимир Соколовский
МУРАШОВ

Повесть

5

Михаил Черненко
ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Повесть

100

Валерий Гусев
...И ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ГОДА

Повесть в новеллах

198

Станислав Родионов
НЕОЖИДАННАЯ ВЕРСИЯ

Повесть

240

Андрис Колбергс
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ СИЛЬНЕЕ ЛЮДЕЙ

Повесть в новеллах

315

ИБ № 5061

ПРИКЛЮЧЕНИЯ, 1987

Зав. редакцией Л. Антипина

Редактор Н. Притулина

Рецензенты В. Свининников, Б. Михайлов

Художник Ю. Божанов

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор Г. Прохорова

Корректоры Е. Дмитриева, И. Ларина, Т. Песнова

Сдано в набор 27.05.87. Подписано в печать 19.10.87. А13182.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 2. Гарнитура
«Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр-
отт. 18,9. Учетно-изд. л. 19,7. Тираж 100 000 экз. Цена
1 р. 30 к. Заказ 1219.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-
полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Адрес ИПО: 103030, Москва, Суцневская ул., 21.

1 р. 30 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ